



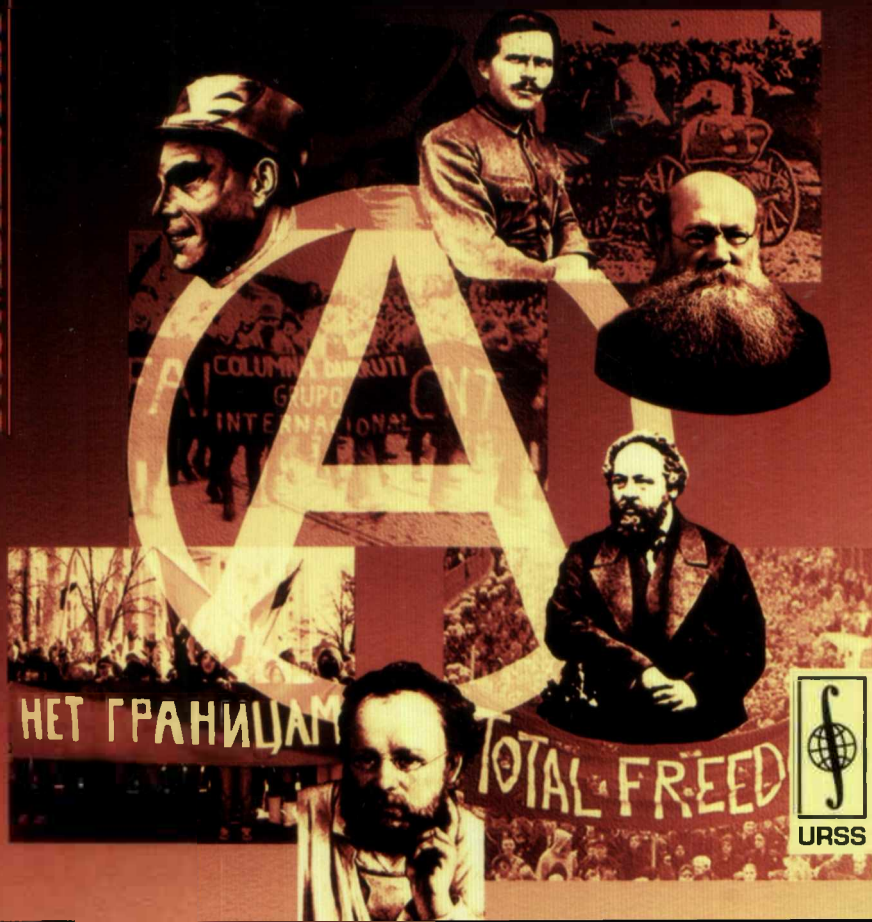
№ 33

В. Ф. Антонов

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АНАРХИЗМЕ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Общественный идеал АНАРХИСТА



В. Ф. Антонов

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Общественный идеал анархиста

Предисловие
кандидата философских наук
П. В. Рябова

Издание третье,
дополненное



URSS

МОСКВА

Антонов Василий Федорович

Н. Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста / Предисл.

П. В. Рябова. Изд. 3-е, доп. — М.: ЛЕНАНД, 2017. — 208 с.

(Размышляя об анархизме. № 33.)

В книге об общественном идеале русского писателя, критика и революционера Н. Г. Чернышевского читателя ждет встреча с деятелем, совершенно не похожим на тот его образ, который был создан советской литературой примерно с середины 1930-х годов. Реальный Чернышевский весьма необычен. Обращаясь к прошлому, он утверждал, что человечество уже в III–V вв. римской истории постепенно готовилось перейти к высшему этапу своего развития — социализму, но нашествие варваров сорвало тогда этот процесс и отбросило его на четырнадцать веков назад. Теперь же его передовые отряды вновь устремлены к социализму. В России в годы реформ он поддерживал царя и стоял за мирное разрешение крестьянского дела; ждал мирного же — при содействии просвещенного самодержавия — перехода России к социализму. Как анархист представлял будущую Россию самоуправляющейся федерацией областей, совершенно самостоятельных в своей внутренней жизни...

Книга рекомендуется историкам, политологам, философам, а также всем интересующимся наследием русской общественной мысли.

Формат 60×84/16. Печ. л. 13. Зак. № АХ-638.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».

117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978–5–9710–3334–9

© В. Ф. Антонов, 2000, 2016

© ЛЕНАНД, 2016

15281 ID 214053



9 785971 033349



Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

Оглавление

Неизвестный Николай Чернышевский: на пути к либертарному социализму? (П. В. Рябов)	4
Введение	11
Историческая концепция	52
Роль науки и знаний в истории	52
Роль закона в истории	56
Количественный фактор в истории	62
Теория циклов развития	64
Теория «расширения круга»	68
Теория «нарастания»	72
Социализм — теория трудящихся	118
«Новый экономический быт»	124
Путь передовых стран Запада к социализму	124
Общинный социализм	130
Мещанский социализм	143
Коммунизм	175
Самоуправляющаяся федеративная республика России	179
Итак...	198
Именной указатель	203

Неизвестный Николай Чернышевский: на пути к либертарному социализму?

Василий Федорович Антонов (1919–2014) — один из наиболее замечательных историков, в эпоху «оттепели» обратившихся к едва разрешенным в ту пору исследованиям народнического социализма, в котором им справедливо виделась гуманистическая альтернатива чудовищному «государственному социализму», воздвигнутому в СССР. Защитив в 1969 году докторскую диссертацию, посвященную историософским воззрениям Петра Лавровича Лаврова, Антонов в последующие три десятилетия создал ряд интересных исследований — как фундаментально-академических, так и учебно-популяризаторских — о крупнейших фигурах русского народничества: Германе Лопатине, Александре Герцене и Николае Чернышевском. Труды Василия Федоровича всегда отличали сочетание основательности ученого с увлеченностью полемиста и публициста, внутренняя свобода от любой конъюнктуры, способность к оригинальным трактовкам давно изученных, казалось бы, тем и умение ярко преподносить их читателю. Он защищал народников, с их идеалами свободы, солидарности и справедливости, и от официального марксизма-ленинизма 1960–1980-х годов, и от черносотенно-державной реакции 1990–2000-х.

В 1982–1990 годах Василий Федорович Антонов работал профессором на историческом факультете Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Когда в 1987 году там возник студенческий историко-политический клуб «Община» (вскоре давший начало возрождению анархического движения в СССР), Василий Федорович, чьими учениками были многие лидеры «Общины» (Андрей Исаев, Александр Шубин) оказывал молодым студентам, поднявшим знамя народнического социализма, всяческую поддержку. Он устно и письменно выступал в их защиту от травли со стороны комсомольских и партийных органов, доказывал актуальность и ценность идеалов либертарного социализма. Эта поддержка, как и знания талантливого историка, были неоценимой помощью для делавших первые шаги анархистов эпохи Перестройки. Доброжелательность, принципиальность, порядочность, свобода от ленинистских стереотипов, равнодушие как к прошлому, так и к настоящему, характерные для Антонова, запомнились всем, знавшим его людям.

Переиздаваемая книга о Чернышевском (ее первое издание увидело свет в 2000 году) является итогом многолетней работы историка над

наследием своего героя. Ей предшествовали монографии: Историческая концепция Н. Г. Чернышевского (М., 1983), Н. Г. Чернышевский о русской истории (М., 1984) и ряд статей, среди которых особенно важна: Анархизм по Чернышевскому (в журнале «Родина». № 3 за 1992 год).

* * *

В своей монографии Антонов ведет острую полемику с предшествующими трактовками идей Чернышевского и уделяет огромное место разбору мифов, окружающих это имя. Многие из них восходят еще к Марксу и Ленину и глубоко вошли в нашу культуру. Как известно, Карл Маркс в начале 1870-х годов противопоставляя Н. Г. Чернышевского своим недругам А. И. Герцену и М. А. Бакунину, выделял его как наиболее выдающегося русского мыслителя, ученого и близкого к себе деятеля российского освободительного движения, подлинного вождя русского социализма¹⁾. Он особо подчеркивал «экономизм» взглядов Чернышевского, его стремление к «научности», яркую антибуржуазность, игнорируя при этом то, что их резко разделяло: отсутствие у русского демократа классового подхода, его веру в общину как путь к социализму, реформистские апелляции к монархической власти, а не к революции, «идеалистический» просвещенческий взгляд на знание как на основной двигатель исторического процесса. Впрочем, возможно, Маркс просто не знал об этих особенностях воззрений Чернышевского, или не хотел знать. В его представлении, а затем в представлении Энгельса, Плеханова и Ленина, Чернышевский был русским «прото-марксистом». (При этом, замечу, «марксистом» в этом ортодоксальном смысле слова не был даже сам Маркс: вспомним его письмо к Вере Засулич о возможности для России пути к социализму через крестьянскую революцию и общину, или его исследования об «азиатском способе производства», засекреченные в СССР. Что уж говорить о Чернышевском!) Основоположник «научного социализма» не мог знать о том, что его заочная любовь к Чернышевскому была любовью без взаимности. Николай Гаврилович с оскорбительной ясностью охарактеризовал марксизм как «революцию в розовой водичке». Узнай Маркс о подобных оценках — не миновать и Чернышевскому, вместе с Бакуниным и Герценом, причисления к «мелкой буржуазии», а то и к «шпионам царизма».

Советская историография, возвращенная на марксистско-ленинских мифах о Чернышевском, фальсифицирующая и узурпирующая в большевистском духе историю освободительного движения в России, сделала облик мыслителя не только схематичным, выхолощенным и иска-

¹⁾ См. об этом: *Твардовская В. А., Итенберг Б. С.* Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? М., 2010, Сс. 87–92.

женным до неузнаваемости (причислив к унылому в своем однообразии и безликости ряду «революционных демократов, социалистов-утопистов»), но и невероятно скучным. Невыразительная икона советских лет имела своей оборотной стороной то злобно-карикатурные пассажи Владимира Набокова о Чернышевском, то полное безразличие к этой фигуре большинства современных историков и философов, увлеченных сочувственным исследованием различных аспектов и персоналий отечественного державного охранительства, и лишь изредка походя возрождающих жандармские слухи о нем, как подстрекателе поджогов в Петербурге.

Подробно рассмотрев в начале своей монографии огромный круг литературы о Чернышевском, В. Ф. Антонов приходит к обескураживающему (хотя, быть может, излишне категорическому) выводу: «Ни одна из работ в отдельности, ни в целом все вместе они так и не подошли к описанию Чернышевским социалистического строя будущего. И это естественно, так как углублению в сущность вопроса препятствовало само представление об общине как архаизме, совершенно несовместимом с высшими принципами “научного” социализма... Поставленная в рамки ленинской концепции, литература о Чернышевском сбилась с дороги, ушла в сторону и там погрязла в абстракциях, мифах о его революционности, готовности взбунтовать крестьянство России и повести его на штурм самодержавия с целью утверждения социализма... Пока литература совершенствовала аргументацию для обоснования ленинских установок, реальный Чернышевский уходил из ее поля зрения все дальше и дальше». Но теперь «под давлением фактов ленинская концепция деятельности Чернышевского неизбежно рушится».

Поправляя иконописный лик Чернышевского, монопольно присутствующий в советской историографии, историк относится к своему герою с уважением и симпатией, рисуя его весьма противоречивым, неоднозначным и потому — живым и привлекательным. Антонов настойчиво доказывает (вопреки господствовавшим полвека стереотипам), что в России 1859—1861 годов **не было** революционной ситуации, что Чернышевский **не был** автором единодушно приписываемой ему царскими жандармами и советскими историками революционной прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», что от его речей и статей вовсе **не «веет духом классовой борьбы»**, но духом мирного социализма и просветительского реформаторства, что он **не был** лидером будто бы существующей в России мощной подпольной организации, что он **не звал** Русь к топору, а напротив, поддерживал реформы царя, стремясь к их проведению в интересах крестьян, к давлению со стороны общества на власти, но не к бунту. Наконец, доказывает историк, «никакого отношения к научному социализму мировоззрение Чернышевского не имеет». Как не имеет и к либерализму, апологе-

тически воспринимающему пришествие капитализма в Россию, бодро радующемуся пролетаризации крестьянства и нередко ссылающемуся на марксовы идеи о необходимости «переварить отсталое крестьянство в фабричном котле». Портрет Чернышевского и круг его идей, представленный Антоновым, намного сложнее и интереснее всех старых схем — и подобострастно-иконописных, и злобно-карикатурных.

* * *

Книга Антонова о Чернышевском, при всей спорности, однобокости и полемической заостренности многих ее выводов, несомненно, написана ярко, живо, с опорой на широкий круг литературы и такие разнообразны источники, как статьи, романы, письма самого Николая Гавриловича, а также воспоминания о нем современников. Начав с обширного историографического введения, исследователь половину своей небольшой книги посвящает разбору историософских взглядов Чернышевского (видя в них ключ ко всему его мировоззрению), а затем переходит к анализу его социалистического идеала и путей к его осуществлению, оправданно отводя довольно значительное место рассмотрению романа «Что делать?» и некоторым оценкам личности и эволюции русского мыслителя.

Василий Федорович Антонов умеет по-новому, без клише, посмотреть на Чернышевского, стремясь «понять этого необычного человека, который обладал высокоразвитым интеллектом и был порой беспомощным в суждениях о практических делах». Исходя из этого портрета выявляются многочисленные противоречия, присущие воззрениям увлекающегося, пылкого просветителя, слепо верящего в неизбежность прогресса и торжество разума и прошедшего путь от стихийной юношеской революционности к эволюционизму и «постепеновщине» зрелых лет.

Историк деликатно, но откровенно отмечает и такую черту Чернышевского, «которая литературой постоянно обходилась — его непомерное самомнение», постоянное ощущение своей мессианской избранности (что, например, проявлялось в его настойчивых попытках изобрести вечный двигатель), в сочетании с его невостребованностью, нереализованностью, непонятостью современниками и потомками. Николай Гаврилович, всерьез писавший о себе: «буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» и считавший себя плохим писателем, но великим мыслителем, значительную часть жизни был обречен прожить в Сибири, не поняв и не приняв поколения героических народников-революционеров семидесятых годов.

Его пылкие и смутные грезы и порывы к бунту во многом угасли после женитьбы на Ольге Сократовне, констатирует В. Ф. Антонов:

«в горячем уме и сердце рождалось много добрых чувств и устремлений, и столько же противоречий, неустоявшегося, бродившего, просто мальчишеского». Но после свадьбы «с юношеским революционаризмом было покончено навсегда. Идеалы социализма, демократии, просвещения и служения народу, сложившиеся в годы юности, остались и получили вполне осознанное развитие, но уже в ином, реформистско-демократическом направлении, в духе теории “нарастания”», то есть эволюции, перехода количественных изменений в качественные.

Не став ни революционером, ни «научным социалистом», ни заговорщиком-поджигателем (по версии жандармов), ни тем пророком, кого «послал царь гнева и печали царям земли напомнить о Христе» (по каноническому панегирику Некрасова), Чернышевский сделал, тем не менее, немало: на переломе русской жизни смело возглавил радикальную оппозицию, критикующую крестьянскую реформу с позиций защиты крестьянства, написал роман «Что делать?», задавший жизненные парадигмы двум поколениям молодежи, боролся за эмансипацию женщины и развивал в России идеалы либертарного социализма.

Взгляды Чернышевского на историю вполне следовали в фарватере Просвещения: при внимании к экономическим факторам, принятие знания в качестве главного двигателя и мерила прогресса при «принципиальном отрицании им насилия как средства прогресса вообще», негативное отношение к любому «варварству», угрожающему «цивилизации» (так, по мнению мыслителя, варвары некогда сокрушили Рим, стоявший на пороге социализма и отбросили человечество на полторы тысячи лет назад; и так крестьянский бунт угрожает погубить цивилизацию в России), акцентирование важности прогрессивного законодательства и реформаторства, сочетание прогрессизма с циклическим взглядом на исторический процесс, постепенно включающий в себя в качестве субъектов все новые сословия, до того пребывавшие в социальной «спячке» и апатии и, с течением времени приобщающиеся к знаниям. Периоды зстоя и реакции сменяются периодами «усиленной работы», распространения знаний, реформ. И вот, на сцену истории должно выйти «четвертое сословие», угнетенные труженики. «Итак, *просветитель, демократ, социалист* — вот его идейно-политическое лицо», резюмирует Антонов свой анализ общих взглядов Чернышевского.

В применении к пореформенной России такая мировоззренческая позиция приводила Николая Чернышевского к проповеди мирного социализма, защите крестьянской общины и требованию освобождения крестьян с землей (под давлением общественности), распространению идей Просвещения, созданию трудовых кооперативов и освобождению женщин из-под гнета патриархальных отношений, соединению труда и собственности в одних руках. Через век-полтора Чернышевский ожидал перехода от социализма к коммунистическому обществу. При

всех противоречиях и наивных моментах, многие его установки оказались на редкость трезвыми и реалистическими. Так, комментирует В. Ф. Антонов: «Могла ли община устоять в реальной жизни перед натиском капитализма? Как показало пореформенное развитие страны, она устояла перед его естественным развитием, не поддавалась попыткам насильственно разрушить ее в период столыпинской реформы, отчаянно сопротивлялась сталинщине, но была ликвидирована в 1930 г.».

Как убедительно показывает автор книги о Чернышевском, его герой не был ни социалистом «научным» (в смысле марксизма, ибо считал двигателем истории идеи), ни социалистом революционным (ибо отрицал насилие и проповедовал мирные реформы), ни социалистом авторитарно-государственным. Само название книги: «Н. Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста» носит явно эпатажирующий и шокирующий характер (чем, вероятно, объясняется отсутствие реакции среди исследователей на ее первое издание). Но верно ли оно? Удалось ли Василию Федоровичу Антонову доказать анархизм Чернышевского? На мой взгляд, лишь отчасти.

Несомненно, из книги следует, что на идеи Чернышевского огромное влияние оказал анархизм П. Ж. Прудона, его критика централизации, бюрократии и защита федерализма. Подобно неистовому французскому трибуну, автору самоназвания «анархизм», Чернышевский, по справедливой констатации исследователя выступал за «самоуправляющуюся федеративную республику Россию». Он утверждал: «Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации», свободно и не принудительно сочетая части в едином целом. Его пугали перспективы партийной диктатуры, государственной казармы. Он требовал децентрализации общественной жизни и ее построения снизу вверх на принципах прямой демократии с правом немедленного отзыва делегатов областей и общин. Его социализм с широкой свободой для личности, акцентом на общинную автономию, кооперацию и горячей защитой женской независимости и равноправия, — носит отчетливо либертарный, антиавторитарный и антиэтатистский характер.

Как и все русское народничество, справедливо подчеркивает Антонов: ведь Герцен и Чернышевский «теоретически обосновали это движение как систему анархо-социализма... Таким образом, народничество возникло как мирное, реформистское анархо-социалистическое движение». Важно понимать, что анархизм был не просто одним из течений внутри русского народничества (пусть и представленным такими великими фигурами, как М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин). Народничество в целом, как этический, персоналистический, общинный социализм, во многом сформировавшийся под влиянием идей Прудона, рассматривающий всю историю России как борьбу деспотического государства с народом, выступающий за децентрализацию

и федерализацию жизни общества, — несомненно, было либертарно-социалистическим и полуанархическим, в том числе, в лице таких своих ключевых фигур, как А. И. Герцен, П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский, и в лице многих своих организаций (например, вторая «Земля и Воля» или «Черный, Передел») ²⁾. К числу таких либертарных социалистов, как показано в труде Антонова, по праву можно причислить и Николая Чернышевского.

Однако анархический «вектор» его мировоззрения еще не делает его анархистом в строгом и определенном смысле слова. И сам Антонов приводит более чем веские обоснования, которые заставляют пересмотреть его же оценку Чернышевского как «анархиста». Мирный просветитель, западник, реформист, ожидавший благих перемен от «просвещенного монарха» и верящий в благую силу хороших законов, поклонник, наряду с анархизмом Прудона, государственного социализма Луи Блана с его патерналистскими мероприятиями в духе современного «социального государства», мыслитель, активно и устойчиво использующий словосочетание «государственный человек» с положительными коннотациями, сторонник развития России в сторону таких федеративных государств, как Соединенные Штаты и Швейцария, Чернышевский, конечно, не был анархистом. Разумеется, федеративная децентрализованная демократическая республика, основанная на общинном землевладении, рабочей кооперации и широкой свободе личности — это огромный шаг к анархии от современного индустриального буржуазно-бюрократического государства. Но все же это еще далеко не анархическое общество всеобщего самоуправления и демонтажа властно-политических структур.

Однако не будем спорить о дефинициях и частностях. Несомненно, читателя книги В. Ф. Антонова ждет увлекательная встреча с оригинальным, незаурядным, казалось бы, известным со школьной скамьи и, при всем том, таким незнакомым Николаем Гавриловичем Чернышевским.

Кандидат философских наук, доцент П. В. Рябов

²⁾ Традиционное заблуждение, порожденное некогда авторитетом Г. В. Плеханова, до сих пор относит и тиражирует как общее место в учебниках, рассмотрение П. Н. Ткачева, как, будто бы, «одного из трех (наряду с Бакуниным и Лавровым) теоретиков народничества», а именно его «заговорщического» направления. Это досадная и чудовищная нелепость: во-первых, Ткачев вовсе не был столь значимой и авторитетной фигурой русского революционного движения, как Лавров и Бакунин, и имел лишь очень немногих последователей; во-вторых, и это главное, его социализм носил отчетливо бланкистский, антиэтический, антиперсоналистический, этатистский, а потому, конечно же, антинароднический характер! Давно пора историкам исправить это историческое недоразумение и исключить Ткачева из числа «народников», тем более, «теоретиков народничества».

*Светлой памяти брата,
Ивана Федоровича Антонова,
умершего от голода 23 января 1942 г.
в блокированном немецкими фашистами
Ленинграде, посвящаю*

Введение

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) был одним из самых ярких и выдающихся деятелей России эпохи крестьянской реформы. Он целиком посвятил себя разрешению вопросов освобождения крестьян от крепостного состояния, обустройства страны в настоящем и будущем и просветительству. В его руках для осуществления этих целей были исключительно перо и бумага, а родом деятельности — публицистика и литература. На этом поле борьбы он возглавил демократически настроенную интеллигенцию, превратил ее печатный орган «Современник» в один из самых читаемых журналов, а в крестьянском деле был открыт для союза с либерально настроенными славянофилами и западниками, полагая при этом, что дело освобождения крестьян есть дело всех образованных людей страны.

Арест Чернышевского 7 июля 1862 г. явился для общественности громом с ясного неба. По свидетельству либерального профессора и цензора А. В. Никитенко, мнение о невинности Чернышевского в петербургском обществе было всеобщим. «Как было судить его, — записал он в дневнике 25 мая 1864 г., — когда не было никаких юридических доказательств? Так говорят почти все, даже не красные» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. М., 1955). Долгие месяцы сенаторы, которым Александр II поручил решить судьбу Чернышевского, не находили улик для его осуждения и, наконец, при содействии III отделения пошли на прямой подлог и 5 февраля 1864 г. вынесли приговор к каторжным работам в Сибири на 14 лет (царь сократил срок вдвое) и вечное поселение там по отбытии срока наказания; 4 мая его ознакомили с приговором; 19 мая на Мытнинской площади над ним совершили обряд «гражданской казни», а на следующий день в сопровождении жандармов отправили в Сибирь. Так Чернышевский ушел в историю, в свое бессмертие.

«Государственный преступник». На долгие годы доброе слово о нем в печати стало запретным. Его историография, как и Герцена, не считая малосущественных для темы книги более ранних замечаний, берет начало с 1905 г., но широкое развитие получила только в советское время. В этой последовательности и познакомимся с ней.

Книги, написанные о Чернышевском до 1917 г. и имеющие значение для выяснения разбираемого здесь вопроса, удобно сгруппировать по принципу отрицания или утверждения его в них как революционера. К числу первых следует отнести работы Иванова-Разумника (Разумника Васильевича Иванова) (История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. Т. II. СПб., 1907); Н. Денисюка (Николай Гаврилович Чернышевский. Его время, жизнь и деятельность. М., 1908); М. И. Туган-Барановского (Общественно-экономические воззрения Н. Г. Чернышевского // Памяти Николая Гавриловича Чернышевского. Доклады и речи Н. Ф. Анненского, М. М. Антоновича, А. А. Корнилова, А. С. Постникова и М. И. Туган-Барановского. СПб., 1910). Вторую группу составят работы Ю. М. Стеклова (Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность (1828–1889). СПб., 1909); Г. В. Плеханова (Н. Г. Чернышевский. СПб., 1910); В. И. Ленина (Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1958–1965). Особое место, как единственная в своем роде, занимает небольшая книжка К. Пажитного (Н. Г. Чернышевский как первый теоретик кооперации в России. М., 1916), впоследствии советского историка, в силу чего она будет рассмотрена отдельно, вне указанных групп.

Иванов-Разумник, характеризуя эпоху 60-х гг. (у него это 1856 — примерно 1866–1868 гг.; 1861 г. делит ее на две половины), делает ряд общих выводов, которые вызывают возражения. Вот два из них: *«Начиная с шестидесятых годов русская интеллигенция становится в своем большинстве социалистической...»* и *«С этого времени русская интеллигенция становится внеклассовой и внесловной по своему составу»*, — писал Разумник, но ни социалистической в большинстве, ни внеклассовой она не была. Та ее часть, которая восприняла социалистический идеал, естественно, могла выражать лишь интересы трудового народа, другая, несравненно большая, занимала или явно реакционные, крепостнические позиции, или, преданная идее буржуазного прогресса, горячо отстаивала курс на реформирование страны.

Полагая основоположниками социализма в России Белинского и Герцена, автор указывал, что Чернышевский, таким образом, появился в лагере социализма на почве, подготовленной их проповедью и всем ходом русской общественной мысли (Иванов-Разумник. Указ. соч. С. 3). Но в то же время, Чернышевский представлялся ему социалистом несколько иного типа, который пошел дальше Герцена, придав народничеству, порожденному Герценом, «научную форму, освободил

его от тех субъективных надстроек, которые объяснялись личными переживаниями Герцена»; «утопическим социалистом Чернышевский не был никогда», — заключил это сравнение Разумник. Впрочем, Герцена после 1848 г. он также считал «смело вступившим своими теориями на путь социализма реального». Развитие народнического реализма он просматривал дальше «от Герцена через Чернышевского, Лаврова, Михайловского к современным нам социалистам-революционерам» (Там же. С. 8).

Чернышевский освободил русский народнический социализм Герцена от двух-трех черт утопизма — от «признания поголовного мещанства Европы и убеждения в анти-мещанстве крестьянского тулупа» и «что Европа своим путем идет к социализму и учиться ей у нас нечему» (Там же. С. 9, 26). К сожалению, автор часто при сравнении взглядов Герцена и Чернышевского впадает в ошибки, что объясняется слабым знанием первого. В действительности уже с 1857 г. Герцен стал сомневаться в своем «отлучении» от прогресса Европы после 1848 г., а в конце жизни уже определенно заявил, что новое обновление мира произойдет именно там. Продолжая развивать свою идею, Разумник заявлял, что пессимизм Герцена уступил место оптимизму Чернышевского, который верил в грядущие силы народов Европы. «Вот почему народничество Чернышевского представляет из себя большой шаг вперед в эволюции русского социализма, будучи окончательным переходом к социализму реальному» (Там же. С. 28).

Автор считал фундаментом мировоззрения Чернышевского признание им общей нормой «блага личности и принцип примата народного благосостояния над национальным богатством», следствием чего была борьба с либеральным доктринерством и фритредерством, признание примата распределения над производством и борьба за общинное начало, как соблюдающее интересы реальной личности и отвечающее примату благосостояния людей над национальным богатством. Отсюда и вера «в возможность для России миновать капиталистический фазис развития, вера в ее особый путь, в буквальном значении этого слова» (Там же. С. 30). Добавляя к сказанному «несомненные задатки “субъективизма”» и «социологический индивидуализм», Разумник полагал, что мы получим «явно очерченное народничество Чернышевского, являющееся продолжением народничества Герцена и введением к народничеству Михайловского».

Заключил Разумник свою характеристику Чернышевского — социалиста и народника — признанием его центральной фигурой 60-х гг., отцом русского социализма, ученым, сыгравшим огромную роль «в истории развития мировоззрения, в историю развития русской творческой мысли. Один Чернышевский — это целая эпоха, и именно эпоха шестидесятых годов» (Там же. С. 94).

Денисюк, упрекая тех из современных ему историков, кто относил Чернышевского к сторонникам подпольной борьбы революционеров с правительством, старался показать его человеком мирных намерений: «есть, — писал он, — полное основание утверждать, что Чернышевский никогда не был революционером в вульгарном смысле этого слова и, будучи пророком и вождем прогрессивной части русского общества, он никогда не вступал в ряды подпольных агитаторов». Да и к чему это, если он верил «в торжество разума», прошел школу утопистов, «придававших исключительное значение просвещению ума людей», испытывал «отвращение от всякого насилия, от всяких грубых форм борьбы», верил в «конечное торжество справедливости», был по своей натуре склонным «к исследованию и познанию», наконец, понимал, «что политически зрелый элемент в русском обществе слишком слаб и малочислен...». При всех этих обстоятельствах он не мог стать никем иным, «как только борцом в идейном смысле» (Денисюк Н. Указ. соч. С. 143, 144).

Будучи «сторонником общественного самоуправления и врагом бюрократической системы», он в то же время не считал русский народ, «еще не освободившийся от инстинктов рабства и рабовладения», готовым для «управления сложным государственным кораблем». Только прояснение ума широкой народной массы может привести к падению цепей политического рабства; «новый политический строй займет свое место только тогда, когда весь народ дойдет до сознания необходимости изменения существующего порядка вещей». То, что должен совершить народ, не способен сделать «весь интеллектуальный класс». Разве мыслят так революционеры, разве они ждут, «когда весь народ дойдет до ясного сознания необходимости изменения политических форм бытия»? Ни В. А. Обручев, осужденный по делу «Великорусса», ни хорошо знавший его П. Д. Баллод не признавали какого бы то ни было участия в нем Чернышевского (Там же. С. 145–147).

В этих оценках Денисюка ощущается некоторая двойственность или недоговоренность. Можно понять, что в момент, когда народ осознает необходимость изменения политического строя страны, он и совершит политическую революцию, но, с другой стороны, Чернышевский охарактеризован как человек, имеющий такую натуру и такие убеждения, которые исключают самую возможность признания им и подпольной деятельности, и мер всякого насилия, всяких грубых форм борьбы. И тогда остается вывод — он был сторонником мирного прогресса и бойцом лишь на поле идей.

В октябре 1909 г. состоялась конференция, посвященная памяти Чернышевского. В числе других на ней выступил с докладом и Туган-Барановский. Он начал его с отрицания принадлежности Николая Гавриловича, несмотря на признания его Марксом «великим ученым», к миру русской науки — там ему «не может быть особо выдающегося ме-

ста». По его мнению, он — «духовный вождь русской интеллигенции», имевший в то же время «громадное влияние на русскую общественную мысль» (Туган-Барановский М. И. Указ. соч. С. 1, 2).

И неожиданный вопрос — был ли Чернышевский социалистом? Говорят, что он фурьерист, но автор, кроме отражения идей Фурье в «Что делать?», фурьеристом его не считал, так как не находил родства аморалиста и чуждого подвижничеству Фурье с подвижником Чернышевским; их разъединяла и теория. Фурье защищал идею «увеличения общественного богатства», тогда как для Чернышевского главным было обеспечить «более равномерное распределение общественного распределения». Чернышевский, заключал автор, ученик не Фурье, а Оуэна и Луи Блана (Там же. С. 2–4).

Далее разбирался вопрос — можно ли отнести Чернышевского к социалистам-утопистам? — Да. Но и Маркс с Энгельсом тоже высказывались о будущем строе, значит, и они были «не менее утописты, чем Чернышевский». Отсюда последовало предложение объединить всех социалистов в одну школу утопического социализма (Там же. С. 4–6).

Докладчик заявлял, что увлечение Чернышевского идеей ассоциации было не глубоким и «не характерно для него». Поскольку-де утопический социализм враждебен политике, а Чернышевский был политиком, его соприкосновение «с утопическим социализмом нельзя считать существенным». Он рвался к политической борьбе и к политическим свободам и ради этого готов был поддержать и дворян в их конституционных стремлениях (Там же. С. 7, 8). Суждения эти более оригинальны, чем существенны. Конечно, Чернышевский не фурьерист, а теоретически более всех близки ему были Блан и Прудон; первый — идеей ассоциации, второй — федерализма и оба — расчетом на мирный путь общественного преобразования, в котором должно принять участие и государство. Да и на дворян Чернышевский стал рассчитывать в начале 1862 г. вовсе не из-за их конституционализма.

Авторами литературы второй группы были марксисты Стеклов, Плеханов и Ленин, но, как увидим, это не означало полного схождения оценок ими Чернышевского.

В своей большой работе Стеклов сосредоточил основное внимание на выяснении исторического мировоззрения Чернышевского и, со свойственной ему манерой приближать деятелей пореформенного движения к большевизму и марксизму, говорил о нем как о деятеле, который в «материалистическом смысле» разрешал вопрос «между идеалами и действительностью... применял материалистический метод и к толкованию истории... во многих отношениях близко подошел к современному материалистическому пониманию истории» (Стеклов Ю. М. Указ. соч. С. 132). И тут же называл его рационалистом, что, по его мнению, не мешало его историзму и объективизму. Так, он

говорил о необходимости истории института частной собственности, но та же сила, которая вызвала ее к жизни, на смену ей призывает третий фазис развития, основанный «на принципе ассоциации». Увлекаясь, Стеклов писал: «Этот рационалист определенно высказывал, что “рассудок чуть ли не совершенно бессилён в истории”» (Там же. С. 132, 134, 135). Уйдя столь далеко в одну сторону, автору уже и самому трудно было оставаться объективным и в оценке суждений Чернышевского о частных вопросах.

Диалектическое видение Чернышевским исторического процесса автор передавал как «разрушение, ведущее к более высоким формам жизни, — как бы восхождение по спирали». При этом оно совершается скачками, т. е. революционно, когда движущими силами истории выступали экономический фактор и борьба классов при решающей роли народных масс. Он недоволен указанием в литературе на туманное представление Чернышевского о пролетариате, так как он называл трудящихся города «простолюдинами». По Стеклову, это была цензурная уловка, «своеобразный русифицированный перевод слова “пролетариат”». Да. У Чернышевского встречается выражение «язва пролетарства», но оно применялось им «в полемике с буржуа-западниками, склонными усматривать в Западной Европе чуть ли не рай». Убежденный коммунист, Чернышевский «прекрасно понимал, что историю делают массы... что пролетариат является историческим носителем социализма» (Там же. С. 137, 138, 141, 150, 157, 158). Суммируя сказанное, Стеклов заключал, что мировоззрение Чернышевского отличалось от «системы основателей современного научного социализма... лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов». Единственно серьезным пробелом Чернышевского было то, что он «не указал определенно на решающее значение развития производительных сил как основного фактора исторического процесса. Но он подходил вплотную к этому...» (Там же. С. 176).

Поскольку историческое развитие капитализма ведет к социализму, возникал вопрос об общине, но Чернышевский будто рассматривал ее лишь как средство для облегчения перехода к социализму, а не как его базу, что было на самом деле. Социализм по Чернышевскому наступит не скоро, но как он придет? Тут Стеклов выдвигает два предположения: при благоприятных условиях исторического развития революционеры, при сочувствии и поддержке масс, берут власть, провозглашают «трудовую республику», и в этом случае «община даст возможность постепенно переходить к настоящему коллективному земледелию с применением машин». Если же этого не произойдет, тогда возможно будет применить нарисованный Чернышевским план перехода к созданию производственных сельскохозяйственных ассоциаций (Там же. С. 321, 335). «Вот, — полагал Стеклов, — программа, кото-

рую Чернышевский развивал перед своими современниками, вот путь, на который он толкал их своими сочинениями» (Там же. С. 382, 383).

Ставится вопрос — был ли он сам участником подпольной борьбы, но Стеклов отказывается дать на него утвердительный ответ! Сомневался, что Чернышевский принимал участие в «Великоруссе», темным осталось его отношение к прокламации «Молодому поколению», нет прямых указаний и на его авторство прокламации «К барским крестьянам...», так как «сходство слога и содержания ничего не доказывает», а к «кружку якобинцев Заичневского-Аргиропуло он относился отрицательно». По собственному внутреннему убеждению Стеклов не думал, чтоб Чернышевский, «по нерешительному и вялому складу своего характера, по своей непрактичности и книжности», принимал непосредственное участие в революционной борьбе, но знал о всех проявлениях ее и с ним совещались и считались революционеры (Там же. С. 383, 385, 387, 388, 389, 390, 391).

Конечно, Стеклов не мог не отметить и того, что не позволяло ему назвать Чернышевского марксистом. Прежде всего — это — «его стремление найти вечные экономические законы, одинаково присущие всем укладам хозяйственной жизни, что заставляло Чернышевского сходиться с исторической точки зрения»; хотя его нельзя назвать просто утопистом, но он не был свободен от некоторых элементов утопизма; скорее, он представитель «критически-утопического социализма». Утопические социалисты не признавали политики, тогда как Чернышевский «в области практических действий и методов политической борьбы... примыкал скорее к бланкистам и чартистам». Поэтому, как бы идя на уступку, Стеклов определял его место между утопическим и научным социализмом, «в большинстве случаев ближе к последнему» (Там же. С. 238, 320, 328, 332, 334).

На этом Стеклов не остановился. В 1928 г., когда развернулась дискуссия о Чернышевском, его книга вышла повторным изданием с некоторым усилением крайне левых выводов, но и это не шло ни в какое сравнение с тем, что им было опубликовано как сборник статей в 1930 г. под названием «Еще раз о Чернышевском. Мыслитель, революционер, человек» (М.—Л.). Он, конечно, «ближе всех подошел к современному коммунизму»; «возвел на трон материализм»; оказал революционное влияние на развитие философии, политэкономии, истории, эстетики; ...Правда, признал, что в истории, как более сложной науке, Чернышевский не всегда сводил «концы с концами», допускал «рецидивы исторического идеализма... рационализма и рассудочного объяснения исторических событий», но по комплексу взглядов все же сильно приближался к историческому материализму Маркса и Энгельса — установил, что в основе исторического процесса лежат экономические факторы, что процесс этот обусловлен развитием

производительных сил и в его основе лежит борьба классов. И тут же: по своему общему мировоззрению он больше всего приближался к школе коммунизма, которая связана с именем О. Бланки (Стеклов Ю. М. Указ. соч. 9–11, 13). Так что же, к марксизму или бланкизму шел Чернышевский? Такими противоречиями и искажениями его взглядов полон весь сборник.

Русская публика именно ему обязана первым знакомством с социализмом «как с целостной системой политических знаний, логически связанных и последовательно проведенных до своих крайних выводов»; именно после него социалистические воззрения получили «такое распространение, что... охватили широкие круги и все более укоренились до тех пор, пока на смену его взглядам не пришло учение Маркса» (Там же. С. 13).

Оказывается (хотя скорее в условной, некатегорической форме), будто Чернышевский первым установил, что после радикальной революции в России к власти приходит крайняя социалистическая партия, и это совпадет с пролетарской революцией на Западе, тогда с его политической и технической помощью, с использованием его опыта страна быстро пройдет промежуточный этап между капитализмом и коммунизмом. При этом он возлагал надежды на сохранившиеся в России остатки общинного землевладения. Маркс-де пришел к этой же идее позже, но признал правильность взглядов Чернышевского и ссылался на них (Там же. С. 17, 18). Чернышевский потому дорожил общиной, что она, во-первых, гарантировала от крайностей богатства и бедности; во-вторых, могла при известных условиях стать исходным пунктом коммунистического развития (Там же. С. 81).

Не раз Стеклов излагал несуществовавшие на деле варианты революций в России по Чернышевскому и, соответственно, приводил планы ее преобразования, один измышленнее другого (Там же. С. 17, 79, 81, 90).

Чернышевскому приписан грандиозный замысел создания, подобно черному Интернационалу господствующих классов, направленному против мировой революции, низшими классами своего Интернационала, чтобы с помощью его придать русской революции другой ход. Лишь через 2 года после идеи Чернышевского был создан I Интернационал. Вот каков наш Чернышевский! (Там же. С. 81).

Весьма своеобразная и, я бы сказал, вольная, размашистая концепция Чернышевского. Она неверна от начала до конца, в чем ниже читателю будет предоставлена возможность убедиться самому.

Суждения о Чернышевском Плеханова были совсем иными. Все объяснения им событий, происходивших в Римской империи III–V вв., он назвал просто идеализмом и вообще в исторических рассуждениях Чернышевского заметил частый переход «с идеалистической точки

зрения на материалистическую и наоборот» (Плеханов Г. В. Указ. соч. С. 163–170, 187).

Вырабатывая свои воззрения на социализм, Чернышевский «со всем не принимал в расчет **научного социализма**» и в целом на вопросы социализма также смотрел «с точки зрения **идеализма**». Плеханов даже утверждал, что Чернышевский категорически против выбора какого-нибудь из способов осуществления социалистического идеала (Там же. С. 275, 289, 300). В статье «Капитал и труд» он изложил план создания трудовых ассоциаций Л. Блана, но придал своему изложению «до последней степени отвлеченный характер» («Живи, где хочешь, живи, как хочешь»; «кто чем хочет, тот тем и занимается» — пояснял Плеханов). Эта критика несправедлива. На самом деле Чернышевский значительно конкретизировал довольно общий план Блана и нарисовал вполне ясную картину жизни и труда коллектива в нем.

Благодаря рассудительности его ума, он сочувствовал тем из великих основателей социализма, «которые меньше поддавались увлечениям фантазии», поэтому был ближе Оуэну, чем Фурье. На мысль о пользе, которую принесет крестьянину община, по мнению Плеханова, Чернышевского навело «то психологическое соображение, что община поддержит и воспитает дух ассоциации, необходимый для рациональной экономии будущего», а это привело его к сближению со славянофилами (Там же. С. 302, 303, 305). Далее Плеханов писал: «Чернышевскому следовало показать, что в русской общине есть именно та внутренняя логика», которая, по Гегелю, должна быть присуща всякому развитию и которая в данном случае «со временем должна привести ее от общего владения землей к общинной ее **обработке** и к общинному **пользованию** ее продуктами» И Плеханову казалось, что Чернышевский рассматривал общину лишь как средство, способное облегчить переход к социализму. Чернышевский вроде бы и не показал внутренние силы общины, которые должны были обеспечить ей указанное развитие и это, полагал Плеханов, произошло потому, что он вообще «приурочивал свои ожидания к субъективным, а не объективным факторам развития, к распространению знаний, а не ко внутренней логике общественных отношений». Он-де с 1858 г. вообще махнул рукой на общину и в дальнейшем, подобно Белинскому, «остался убежденным и дальновидным западником» (Там же. С. 309, 310, 317).

Плеханову было непонятно утверждение Чернышевского, что демократам, т. е. социалистам, непримиримо враждебны только аристократы, и не мог представить себе демократа, «который уживался бы с абсолютизмом». Неужели, спрашивал Плеханов, Чернышевский мог в 1858 г. грустить о гибели Бурбонов в 1830 г. из-за их союза с аристократами? Скорее всего, это было написано им с той целью, чтобы «показать русскому правительству, что оно сделает большую ошибку,

если отождествит интересы монархии с интересами дворянства, упорно защищавшего свои классовые интересы при отмене крепостного права» (Там же. С. 319, 321). Да, цель была эта, но и вера в монархию, как, по мнению Чернышевского, в естественную союзницу народа, о чем речь будет ниже, тоже была.

Обращаясь к оценке Чернышевским времени «усиленной работы» «лучших людей» народа, которое будто бы бывает редко, но зато «далеко продвигает вперед процесс общественного развития», Плеханов, давая тем дурной пример последующим поколениям исследователей, обошел стороной очевидные факты, свидетельствующие о совсем иной трактовке этого вопроса Чернышевским (Там же. С. 336, 337).

Наконец, о классовой борьбе. Как социалисты-утописты, а раньше просветители XVIII в., и Чернышевский, писал Плеханов, видел классовую борьбу, но, как и они, он лишь констатировал ее как факт; все они «не считали возможным опираться на него для осуществления своих планов» (Там же. С. 161, 162).

Оценки Чернышевского Стекловым и Плехановым будут долго, вплоть до середины 30-х гг., оказывать влияние на развитие историографии великого демократа. Полностью они не утратят своего влияния и после утверждения ленинской концепции Чернышевского. Суть ее в следующем.

В ленинской концепции эпохи крестьянской реформы и тенденций исторического развития пореформенной России Чернышевский определен стержневой фигурой, носителем заданных революционных идей и методов борьбы. В 1911 г. Ленин писал: «Либералы 1860-х годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию...» (В. И. Ленин. ПСС. Т. 20. С. 174). Это, писал он, была борьба за тот или другой, реформистский или революционный, способы разрешения крестьянского вопроса и перехода к капитализму. В то время, по его мнению, противостояли два враждебных лагеря — либерально-монархический, стоявший за реформы, и революционно-демократический. Главой этого последнего, естественно, должен быть революционер. Им и был представлен Чернышевский. Без наличия этих лагерей, их следовало выдумать, (революционно-демократического лагеря, как такового, тогда вовсе не было), иначе рушилась вся — с виду довольно стройная — концепция эпохи крестьянской реформы и пореформенного развития России.

В его образе Ленину виделся тип идеального революционера: «Величайшая заслуга Чернышевского, — писал он, — в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы долж-

ны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления» (В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1969. С. 655). Будучи «всероссийским демократом-революционером», Чернышевский, утверждал Ленин, «умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей» (ПСС. Т. 20. С. 175). Это положение сыграло крайне отрицательную роль в советской историографии. Принятое на полную веру, оно открыло простор для разгадывания и трактовки как имеющих революционный смысл подчас самых банальных выражений, лишь бы содержавших, скажем, слово «борьба». Такой будто бы была и тактика поведения Чернышевского во время реформы, против которой, казалось Ленину, он протестовал, которую он «проклинал, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов» (Там же. Т. 1. С. 292). От произведений Чернышевского на Ленина веяло «духом классовой борьбы» (Там же. Т. 25. С. 94).

По совокупности событий начала 60-х гг., замечу, неправомерно сгущенных («требование политических реформ всей (? — В. А.) печатью и всем (? — В. А.) дворянством»), Ленин заключал о полной возможности революционного взрыва и весьма серьезной тогда опасности крестьянского восстания (Там же. Т. 5. С. 30). Конечно, иначе он и не мог говорить, если представлял время с 1859 по 1861 год как состояние революционной ситуации в России. Однако позже (сказанное выше относится к 1901 г.) он уже говорил о ничтожности боровшихся общественных сил, о «крайне немногочисленных тогда революционерах», об «одиночках»-революционерах 1861 г., которые «потерпели, по-видимому, полное поражение» (Там же. Т. 20. С. 179). Эти определения, как видим, ничего не оставляли от его утверждения о наличии тогда в стране революционного лагеря, да и самой «революционной ситуации».

Неоднократно Ленин высказался о Чернышевском-философе или о его философских позициях. Он называл его действительно великим русским писателем, «который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников». Но тут же замечал, что он «не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» (Там же. Т. 18. С. 384). Критически Ленин высказался и об антропологизме Чернышевского (и Фейербаха, его учителя) — термин «антропологический принцип» в философии был назван узким. «И антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные, слабые описания *материализма*» (Там же. Т. 29. С. 64).

Значительное влияние на историографию оказало оценка Лениным Чернышевского как «великого социалиста домарковского периода» (Там же. Т. 41. С. 55). Этот тезис Ленина давал «основание» доказывать, что между Чернышевским и Плехановым оказался целый период упадка общественной мысли.

Признание Лениным Чернышевского «великим социалистом» не означало признания его идеала социализма. «Чернышевский, — писал Ленин, — был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину...» (Там же. Т. 20. С. 175). Известно, с какой настойчивостью и страстью Ленин — особенно в 90-е гг. — старался доказать полную несостоятельность народнического идеала общинного социализма, а между тем, одним его из основоположников называл и Чернышевского. Приведенное выше его высказывание о мечте Чернышевского перейти к социализму через крестьянскую общину представляет собой лишь спокойную констатацию факта. Чернышевский был его кумиром и потому то, что можно было сказать в адрес его последователей-социалистов, недопустимо было по отношению к нему самому. Да и время было другое, 1911 г., время столыпинской аграрной реформы, направленной на ликвидацию общины, чего, имея дальний прицел, Ленин теперь уже не хотел допустить.

Как увидим, в целом далекая от объективности, ленинская концепция Чернышевского-«революционера» тем не менее строго блюлась партийной цензурой. Выходившие после середины 30-х гг. книги о нем отличались объемом и содержанием, но не оценками, иначе они просто не появлялись бы в свет. Времена и обстоятельства жизни изменились, и теперь открыта возможность дать оценку Чернышевскому на основе независимого анализа его произведений, в силу чего под влиянием фактов ленинская концепция его деятельности неизбежно рушится, и Чернышевский предстает в своем реальном виде и значении просветителя-демократа, стремившегося к пропаганде того общественного идеала, раскрытию которого и посвящается настоящая книга.

Работа Пажитнова оказалась как бы в стороне от всей литературы о Чернышевском. Она посвящена весьма специфическому и конкретному вопросу о кооперации. К сожалению, автор придал слишком большое значение влиянию на «общественно-экономические взгляды» Чернышевского учения Фурье (Пажитнов К. Указ. соч. С. 10). Скорее можно согласиться с влиянием широко развитой в Западной Европе после 1848 г. пропаганды и попыток развития производственной кооперации. В таком случае Пажитнов справедливо остановился на изложении Чернышевским плана «общественных мастерских» своего учителя Л. Блана (Там же. С. 11–14).

Сама кооперация, писал Пажитнов, представлялась Чернышевскому «исключительно в виде производительных товариществ», а о других ее формах — «потребительных и ссудо-сберегательных обществах и т. д.» — «он никогда не говорил ни слова». Эти товарищества представлялись ему то как «промышленно-земледельческие товарищества, близкие к коммунам с целью обслуживания всех важнейших нужд своих членов, то производительных ассоциаций современного типа, состоящих из одной профессии» (Там же. С. 16).

Далее Пажитнов попытался показать, как Чернышевский мыслил строительство «кооперации» в России. Ссылаясь на Чернышевского, он справедливо писал, что русский социалист надеялся на образование в стране лет через 25–30 земледельческих товариществ для совместной обработки земли. Это совершится при развитии торговли, средств связи и промышленности (Там же. С. 17).

Было обращено внимание и на «Что делать?». Там у Чернышевского, «с учетом изменений в будущем всей жизни к лучшему, героями являются представители умственного пролетариата, так как город создает более благоприятные условия для влияния интеллигенции» (Там же. С. 18). После этого последовал рассказ о самих мастерских Веры Павловны.

Работа Пажитнова небольшая, поэтому выдвинутые им положения подаются скорее тезисно, обходятся многие важные подробности. Она интересна скорее как факт, как специальное обращение автора к важному вопросу социалистического творчества Чернышевского.

В своей совокупности литература до 1917 г. дала Чернышевскому весьма разноречивую оценку. Ее внимание было в основном сосредоточено на выяснении его общественно-политической роли и исторического места в общественном движении России рубежа 50–60-х гг. С другой стороны, четко определились усилиями марксистов то направление, которое будет придано развитию его историографии в советское время.

Советская историография Чернышевского ее первого периода (1917–1935) в основном была сконцентрирована на выяснении вопроса, кто он? Был ли он и в какой мере, если был, предтечей, подготовителем марксизма в России? Почти на середину периода (1928) приходился юбилей столетия Чернышевского, что также обостряло вопрос о его историческом значении.

Прямо или косвенно литература, уже в силу высказанного Стекловым и Плехановым в их пространных работах о Чернышевском, тоже оказывалась вынужденной пойти по оценочному пути. Эти обстоятельства да ее приверженность концепции Плеханова придали ей определенное однообразие, что, в свою очередь, позволяет рассказать о ней кратко и в хронологическом порядке выхода работ К. Н. Берковой (Н. Г. Чернышевский. Биографический очерк. 1828–1889. М., 1925);

Г. Ладохи (Исторические и социологические воззрения П. Л. Лаврова (Здесь же рассказано автором одновременно о Добролюбове, Писареве и Чернышевском. — В. А.) // Русская историческая литература в классическом освещении: Сборник статей. Т. 1. М., 1927); В. Голосова (Был ли Чернышевский социалистом-утопистом? // Под знаменем марксизма. 1928. № 11); Ив. Фролова (Николай Гаврилович Чернышевский. Его жизнь, революционная деятельность и научные взгляды. М.—Л., 1928); М. Н. Покровского (Н. Г. Чернышевский как историк // Избранные произведения. Кн. 4. М., 1967; впервые опубликована в журнале «Историк-марксист». 1928. № 8); Ф. Д. Корнилова (Право и государство в воззрениях Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1928); В. Кирпотина (Чернышевский и марксизм // Историк-марксист. 1928. № 8); А. Деборина (Философские взгляды Н. Г. Чернышевского // Летописи марксизма. М.—Л., 1928); Б. И. Горева (Н. Г. Чернышевский. Мыслитель и революционер. М., 1934); Л. Б. Каменева (Чернышевский. М.—Л., 1934). Это не вся литература периода, но в ней авторы высказались по проблеме полнее и обстоятельнее, чем в других работах, не взятых для обзора.

Беркова представляет всю публицистическую деятельность Чернышевского проникнутой революционным духом; и во всей его деятельности ей виделся «непримиримый революционер» В то же время он — просветитель, который «воспитывал *политическую мысль* общества, постоянно развивая и подталкивая ее в революционном направлении». Но он недооценивал политическую борьбу (Беркова К. Н. Указ. соч. С. 100, 101, 110, 112). Автор оценила его как «последовательного материалиста в области понимания природы», но «идеалистом в области истории» (Там же. С. 99).

Ладоха находил, что в исторических построениях Чернышевский порой «очень близко подходил к правильному материалистическому объяснению явлений общественной жизни, но в истолковании общей связи исторических явлений он делает шаг назад от Добролюбова, становясь на идеалистическую точку зрения». Автор заметил в его исторических взглядах две противоположные тенденции: «Когда он ставит вопросы истории в методологической плоскости, для него понятна узость идеалистического подхода к историческим фактам, необходимость материалистического объяснения явлений общественной жизни. Но, рассматривая процесс в целом, Чернышевский превращается в идеалиста, “просветителя”, ставящего в основу развития не факты, а идеи» (Ладоха Г. Указ. соч. С. 362). Он четко выражал мысль, что в основе «общественных отношений лежат производственные условия производства»; правильно разрешал вопрос о разделении общества на классы, видя причину этого расслоения в экономическом положении классов, а отсюда также ясно представлял основные пружины классовой борьбы, но выдержанной материалистической позиции не проявил, не поняв,

«что классовые противоречия ведут вперед и классовая борьба является могучей силой, которая преобразует современное буржуазное общество в общество социалистическое» (Там же. С. 365, 366).

В целом же историческую концепцию Чернышевского Ладоха считает идеалистической: «материалистические положения сталкиваются с идеалистическими, уступают им место»; сознание выступает причиной общественных изменений; миром правят мнения; основной движущей силой является наука. Наконец, Чернышевский пессимистически смотрел на народные массы. Лишь в будущем, в результате упорной работы людей науки, они станут деятелями истории (Там же. С. 367, 368, 369, 370). Это была «запевка», своеобразное открытие юбилейной дискуссии.

Голосов сразу обрушился на Стеклова, обнаружив в его суждениях о взглядах Чернышевского существенные противоречия — он у него то совсем близок к марксизму, то преувеличивает умственный фактор — роль идей и знаний в общественном развитии, является рационалистом (Голосов В. Указ. соч. С. 75, 76). Далее автор, продолжив критику Стеклова, обнаруживал расхождения выводов в первом и втором изданиях книги: в первом Стеклов винил Чернышевского за то, что тот не указал на решающее значение развитие производительных сил, а во втором, напротив, говорил уже о понимании им влияния развития производительных сил как главной движущей силы исторического процесса (Там же. С. 76). Сам же считал идеализм основным стержнем исторических взглядов Чернышевского, в то же время делавшего ставку на организацию самостоятельного движения революционных низов (Там же. С. 78, 79).

Фролов большее внимание сосредоточил на обнаружении противоречий во взглядах Чернышевского. Он, по его мнению, высказывал явно противоречившие друг другу взгляды, и создавалось впечатление, «будто их высказывали разные люди, принадлежащие к мировоззрениям, борющимся одно против другого». В частных вопросах он чаще материалист, в обобщениях — идеалист (Фролов Ив. Указ. соч. С. 139, 148).

По мнению Покровского, Чернышевский любил историю, и понимал прошлое как «нужно его понимать настоящему историку, т. е. историку-материалисту», однако тут же заявлял, что знакомство с коренными его работами (например, «О причинах падения Рима») совершенно опрокидывает это представление о нем. «Движением культуры вперед мы, — писал Покровский, — оказываемся обязаны исключительно накоплению и развитию знаний. От Маркса мы неожиданно оказываемся отброшенными на позиции Бокля...» И в конечном счете Чернышевский представлялся ему в образе «некоего двуликого Януса. С одной стороны, как будто совсем марксист, а с другой стороны, как будто совсем буржуа». В целом он согласился с Плехановым, что Черны-

шевский в исторических взглядах был идеалистом (Покровский М. Н. Указ. соч. С. 394, 395, 399, 400).

Корнилов пытался разобраться во взглядах Чернышевского с государственно-правовых позиций, прежде всего, о предназначении самого государства. По мнению автора, Чернышевский признавал необходимость и право вмешательства государства в жизнь людей, так как оно должно заботиться о материальном благе и просвещении масс. Здесь допущена ошибка в смешении понятий «вмешательства» и «заботы». Первого он не допускал ни при каких обстоятельствах (Корнилов Ф. Д. Указ. соч. С. 10, 13).

По его мнению, Туган-Барановский не прав, когда упрекал Чернышевского в невнимании к классовым противоречиям в обществе. Согласен, он не развил своей теории классовой борьбы и не поставил ее так, как это сделали основоположники научного социализма. Социальные условия жизни извиняли его. Однако, при внимательном рассмотрении, автор нашел, что Чернышевский тесно связывал проблему общественных отношений вообще с проблемой общественных отношений, так как в конечном счете у него государство и право оказываются окрашенными в «цвет классовых противоречий» и призваны защищать классовые интересы. Так, в частности, господствовавший класс использовал ссылку как метод расправы с классово опасными ему людьми (Там же. С. 20). Но, установив наличие в обществе классовых противоречий, он, вместо призыва угнетенных классов к революционной борьбе, провозгласил необходимость государственных реформ, который должны были обеспечить неимущим «безбедное существование»; призывает разрешать все «по совести и по здравому смыслу». Корнилов был едва ли не единственным, кто обратил внимание на обращение Чернышевского к имущим власть и капитал создавать благотворительные общества для оказания помощи бедным (Там же. С. 23, 24).

Принципу борьбы как средству упорядочения условий общественной жизни Чернышевский противопоставил рассудок; рассудок устанавливает законы, следовательно, и само право возникает под влиянием рассудка; «отводится большое место сознательному влиянию на изменение и человеческих нравов и даже материальных условий человеческой жизни» (Там же. С. 10). Последнее замечание также относится к крайне редким в историографии.

Наблюдательный исследователь в какой-то мере выступил со своего рода защитой Канта и Гегеля от Чернышевского, который заявлял, что принципы их философии верны и глубоки, а выводы мелки и ничтожны, и все это в значительной мере может быть обращено и на самого критика этой философии (Там же. С. 231).

Выступление Корнилова представляется мне одним из самых оригинальных и заслуживающих внимания в историографии периода.

Кирпотин в своей статье, начиная с указания на один путь его развития с Марксом, по многим конкретным вопросам мировоззрения Чернышевского, вплоть до определения «мнения правят миром», в целом следовал за выводами Плеханова и потому не раз обращался к критике Стеклова за то, что тот «привнес современную нам точку зрения в систему воззрений Чернышевского» (Кирпотин В. Я. Указ. соч. С. 32). Его покорило упрек Чернышевского в «барской мягкости» Ладохой, и он, горячася, без оснований заявил, что Чернышевский «был плебей с головы до пят, последовательный демократ и последовательный по тому времени социалист» (Там же. С. 27, 28), тогда как ни по рождению, а тем более по своему социальному положению (сам заносил себя в стан третьего сословия) плебеем он не был. Ссылаясь на Ленина, Кирпотин признал Чернышевский^х предшественником марксизма в России (Там же. С. 27, 5, 7).

Автор попытался объяснить противоречие в позиции Чернышевского, который, будто бы выступая за революцию масс, не понимал исторической роли классовой борьбы. «Очень просто, — заявил он, — тактически Чернышевский перерос рамки своей теории и ему, при его теоретическом уровне, было тесно в рамках утопизма» (Там же. С. 63). Надо заметить, что эта «находка» Кирпотина впоследствии нашла подражателей. Дальше следовало объяснение, почему тактика Чернышевского перерастала его теорию. Не поняв этого, не понять, считал автор, уговаривания Чернышевским Александра II и власть имущих разрешить крестьянский вопрос таким образом, чтобы удовлетворить интересы крестьян. Герцен делал то же, но в силу либеральной умеренности своей программы, своей дворянской психологии, идеализировавшей царя. Чернышевский же, понимая, что демократическая монархия есть миф, не сдавал основных положений своей радикальной программы и своим уговариванием давал понять, что если не дадите нужного крестьянству добром, народ возьмет его силой. Таким образом, «уговаривая», «он не столько надеялся на правительство, как Герцен, сколько хотел избежать насильственного развития, пути открытого столкновения классов, несущего с собой, согласно механистическому воззрению Чернышевского, слишком большие разрушения, слишком большие издержки». Кирпотин полагал, что этот утопизм во взглядах Чернышевского на классовую борьбу ярко выражен в «Письмах без адреса», где он, будто бы, делал ставку на новую путачевщину и в то же время, пока она не разразилась, «спешил очистить свою совесть, спешил в последний раз предупредить Александра II, хотя он и понимал тщетность своей попытки» (Там же. С. 64, 65). Старая утопическая теория говорила Чернышевскому, что борьба противоположных сил, классов, революционное их столкновение «является растратой общественных сил. Прогрессивным являлось бы мирное дей-

ствие по принципу сложения сил. Но так как последний путь не удастся, то плебейский инстинкт толкает Чернышевского, наперекор его теории, к революционному призыву, к революционным действиям» (Там же. С. 66). Надуманные, вычурные, полные противоречий, эти объяснения Кирпотина не помогали разобраться в мировоззрении Чернышевского.

Концепция Чернышевского по вопросу о перспективах социалистического переустройства России признана идеалистической. Роль общины он сводил к тому, что она «облегчала понимание и усвоение новых взглядов...» (Там же. С. 70, 71).

Деборин в своем докладе на юбилейном заседании в институте Маркса и Энгельса «Философские взгляды Н. Г. Чернышевского», обобщая высказанные во время дискуссии суждения о Чернышевском, заявил, что на мировоззрении Чернышевского отложилась печать переходной эпохи, в которую он жил. «Этим, — делал он вывод, — и объясняется то обстоятельство, что одни из исследователей готовы зачислить Чернышевского “по ведомству марксизма”, в то время как другие склонны видеть в нем только утописта и идеалиста». По его мнению, Чернышевский шел в сторону марксизма, диалектического материализма, но не дошел до него. «Диалектика его была проникнута идеалистическими элементами, а его материализм — элементами механистическими» (Деборин А. Указ. соч. С. 3, 21).

Горев, выступивший со своей работой в 1934 г., меньше колебался, давал оценки Чернышевскому с большей определенностью, но весьма часто повторялся. И не был свободен от противоречий. Он уже критически отнесся к оценкам Чернышевского Плехановым и Стекловым и подтверждал свои суждения цитированием Ленина. Особенно им подчеркивалась революционность Чернышевского, который, по его мнению, «впервые поставил проблему крестьянского вооруженного восстания как очередную и притом практическую задачу, требовавшую не только политической, но и военно-технической подготовки». Поэтому он был не только идейным вождем целого поколения революционеров (со ссылкой на Ленина — от его сочинений веяло духом классовой борьбы; подцензурными статьями он умел воспитывать настоящих революционеров), «не только готовил штаб будущей революции, но и сам обнаруживал, несомненно, задатки практического политического вождя» (Горев Б. И. Указ. соч. С. 100). В связи с этим становится непонятным его замечание о том, что сам он «вряд ли входил непосредственно, в качестве члена или руководителя, в какую-либо оформленную революционную организацию». Однако, испытывая на себе его огромное и общепризнанное идейное руководство, «отдельные революционеры и руководители революционных кружков, несомненно, в ряде случаев советовались с Чернышевским, обсуждали с ним те или иные планы и революционные перспективы» (Там же.

С. 29). Вот это «несомненно», как средство «доказательства», к сожалению, часто проявлялось у Горева.

Дальше оказывается, что социалист-революционер Чернышевский пекся не о социалистической, а буржуазно-демократической революции в России и потому не связывал ее с немедленными социалистическими переменами. В качестве доказательства автор ссылаясь на прокламацию «Барским крестьянам...», в которой не было «призыва к социализму и даже никаких упоминаний об общине» (Там же. С. 75, 76).

Горев полагал, что, рассматривая капитализм прогрессивным фактором в развитии России, Чернышевский, «по-видимому, считал (по крайней мере, по времени) и капитализм, и буржуазию возможными объективными факторами прогресса в борьбе с самодержавием, возможными объективными союзниками революционеров» (Там же. С. 76). Чернышевский, как увидим, действительно говорил об использовании капитализма в интересах развития страны, но отнюдь не как революционно-преобразующую силу.

В отличие от многих современников и историков последующих поколений, Горев утверждал, что «из всех элементов мировоззрения Чернышевского именно его экономика (и связанный с нею социализм) является наиболее устарелой в настоящее время, наиболее далекой от марксизма», хотя в 60–80-е гг. «именно эта часть мировоззрения... создала ему особую популярность у молодежи». В его экономических суждениях преобладали рационализм, рассудительность и распределительная точка зрения, в силу чего его «социалистический идеал в значительной мере просто логически **противополагался** капиталистическому строю, как выгодный для большинства и потому желательный, а не **выводился** из противоречий и особенностей самого капитализма, как это делал Маркс». Его заслугой Маркс признал лишь критику буржуазных аполитичных политэкономов (Там же. С. 59, 64, 67, 69).

Зато как историк Чернышевский признан автором выше экономиста Чернышевского. Его исторические работы он признал «наивысшим достижением немарксистской исторической мысли, наибольшим приближением ее к марксизму, какого достигли когда-либо демократические историки как на Западе, так и в России» (Там же. С. 57, 64). Чернышевский хорошо понимал значение «экономического фактора в истории»; развития промышленности в крушении феодализма в России и вообще как могучего фактора прогресса; был глубоко проникнут идеей закономерности исторического процесса. В то же время ему неясен был вопрос о производительных силах «как об основной движущей пружине общественного развития и исторического прогресса»; до конца не понимал он роли пролетариата в России, что сближало его с народниками; он испытывал определенный скептицизм в отношении народа (Там же. С. 6, 78, 90).

Автор замечал, что у Чернышевского не было строго продуманной политической программы, но он, по его мнению, будто бы стоял «за полное уничтожение помещичьего землевладения», полное «национальное самоопределение» раскрепощенных национальностей; «был решительным сторонником полного освобождения женщин» (Там же. С. 87, 88, 89).

Завершая книгу, автор в своих общих выводах (несмотря ни на что) назвал Чернышевского «первым великим русским материалистом и первым **настоящим** социалистом», который ближе всех по ряду вопросов подошел к научному социализму, обосновал революционный социализм. Еще большее значение имел его демократизм, непримиримость к самодержавию и дворянству. В целом «**великие** стороны его учения и деятельности, его материализм, его реализм в политике, его понимание классовой борьбы и законов революции с полным правом делают его предшественником русского марксизма» (Там же. С. 120, 121).

Работа Каменева была исправленным повторным изданием. По мнению автора, вся деятельность Чернышевского в Петербурге как революционного демократа и идеолога крестьянской революции «была лишь отражением подготовки и нарастания революционного кризиса», в силу чего «он открыл собой историю русского демократического движения... бросил вызов всей “реформе” и всему подготовлявшемуся к “реформе” русскому либерализму... он клал *принципиальную* грань между реформаторскими и революционными методами обновления страны, между “прусским” и “американским” типами ее развития» (Каменев Л. Б. Указ. соч. С. 50, 51, 54). В его крестьянской программе будто бы «и помину» не было о выкупе земли и будто он требовал полной экспроприации помещичьих земель. Под его непосредственным влиянием его ближайшие ученики основали общество «Земля и воля», первым в России он обратился «к барским крестьянам» (Там же. С. 56, 60, 61).

Однако от марковского понимания классовой борьбы он был далек, хотя и понимал, что мирного исторического развития не существует. Автор много раз цитирует высказывание Чернышевского о моментах «усиленной» исторической работы, «скачках», но старательно обходит те места, где ясно говорится, что Чернышевский под этой «усиленной» работой мыслил мирную созидательную работу, а не революцию.

Между тем автор заявлял, что целью Чернышевского было поднять крестьян на социалистическую революцию, а «основными камнями фундамента будущего социалистического строя Чернышевскому представлялись: полная экспроприация помещичьей земли и общественное пользование ею». В «Что делать?» он сказал, что строить свою жизнь надо так, чтобы «она способствовала построению социализма» (Там же. С. 66, 80, 165).

Каменев писал, что появление программы крестьянской революции Чернышевского в «социалистическом облачении» вызвало «резкое обострение политической борьбы»; эта программа и его литературная деятельность «резко двинули вперед процесс консолидации политических течений». Именно своей деятельностью он заставил «до конца обнажиться и размежеваться разнородные тенденции» (Там же. С. 130).

Совершенно необоснованно автор утверждал, что государственная власть «всегда являлась центром внимания Чернышевского», что вся его деятельность «сосредоточивалась вокруг вопросов государства» (Там же. С. 50).

И Каменев не удержался от противопоставления Герцену Чернышевского как реформатору революционера, который «в подготовке ее видел единственно достойное применение сил действительных сторонников освобождения крестьян» Однако тут же замечал, что если бы крестьяне осуществили программу Чернышевского, то это был бы не социалистический строй, а лишь предпосылка широкого развития буржуазной демократии (Там же. С. 142, 146).

Закончил свою работу Каменев часто повторявшимся тогда выводом об унаследовании слабых сторон учения Чернышевского мелкобуржуазными народниками, тогда как сильные стороны восприняла партия пролетариата, пропустившая их через Маркса (Там же. С. 200).

Литература этого периода, развивавшаяся в условиях свободной дискуссии, не пришла да и не могла придти к общепризнанным выводам, тем не менее она наметила пути исследования общественно-политических взглядов Чернышевского, что могло дать уже в ближайшее время ощутимые результаты. Но этого не случилось. Уже вскоре после дискуссии она получила другое направление, что и нашло свое выражение в работах Горева и Каменева. С этого момента литература стала выстраиваться во фронт, подчиненный ленинской концепции Чернышевского.

О том, какой она приняла характер, очень хорошо сказал А. Лебедев: «...новые переплеты, — писал он, — иногда стали оказываться едва ли не единственным свидетельством оригинальности только что появившегося исследования, даже тон большей части подобного рода книг и статей (в основном статей) делался поразительно единодушным. Судя по ним, могло показаться, что изучение наследия Чернышевского вступило у нас под знак какого-то непрекращающегося юбилея» (Герои Чернышевского. М., 1962. С. 6). Он указал и на конкретные особенности литературы: — у исследователей складывалось впечатление о Чернышевском «как главе весьма значительной подпольной организации, охватившей всю Российскую империю и планомерно готовившей революционный взрыв в стране. Представляется, однако, что часть исследователей, увлекаясь изысканиями в области подпольной деятельности Чернышевского, заходят слишком далеко... порывают

с принципами историзма в анализе фактов» и ссылаясь на В. Н. Шульгина, М. В. Нечкину и Р. А. Таубина (Там же. С. 27).

Однообразие литературы делает необходимым группировать ее по проблемам — общее мировоззрение Чернышевского, его взгляд на исторический процесс и социализм.

Литература первой группы характерна однообразием и обсуждаемых в ней вопросов, и оценками этих вопросов. Если их сгруппировать и изобразить графически, то получим вектор оценок, идущий вверх и показывающий, по каким вопросам Чернышевский шел к марксизму, приближался к нему и на чем останавливался перед ним. Затем, когда речь заходила о его взглядах на общественное развитие, вектор-показатель шел вниз, фиксируя идеализм этих взглядов. И так из книги в книгу (См.: Бельчиков Н. Николай Гаврилович Чернышевский, критико-биографический очерк. М., 1946; Розенталь М. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. М., 1948; Иовчук М. Т. Мировоззрение Н. Г. Чернышевского. М.: Знание, 1954. Сер. II, № 3; Водолазов Г. Г. От Чернышевского к Плеханову. М.: МГУ, 1969; Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973; Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский. Становление и эволюция мировоззрения. Минск, 1972; Волк С. С., Никоненко В. С. Материализм Н. Г. Чернышевского. Л., 1979; Нечкина М. В. Встреча двух поколений. М., 1980; Никоненко В. С. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Л.: ЛГУ, 1983; Он же. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева: Автореф. Л.: ЛГУ, 1985; и др.).

Вторая группа литературы по оценкам в принципе не отличается от первой, но в ней в основном речь шла об истории. Чернышевский в этой литературе неизменно представлялся как революционный демократ, который глубоко верил в решающую историческую роль народных масс в истории и в крестьянскую революцию. Идею этой революции он проповедовал в своих произведениях и полагал, что народная революция ликвидирует феодально-крепостнический строй и самодержавие в России. Чернышевский «обосновал революционно-демократическую концепцию исторического процесса»; «значительное внимание он уделял рассмотрению первобытного, рабовладельческого, феодального и капиталистического общества, считая их основными этапами развития человеческой истории», но, правда, «был еще далек от научного понимания истории общества как истории развития и смены общественно-экономических формаций».

Делалась попытка исследовать историческую концепцию Чернышевского. Ее предпринял в 1953 г. Н. Е. Иллерицкий (Историческая концепция Н. Г. Чернышевского. М., 1953). В автореферате кандидатской диссертации он, следуя сложившейся традиции освещения взглядов Чернышевского, сначала стал выявлять в них элементы ма-

териализма, а заключил признанием идеалистичности трактовки им исторического процесса и, таким образом, цели своей не достиг. В той или другой форме, в большей или меньшей мере, но вся литература и этого рода не выходила за рамки установившихся суждений о Чернышевском (Панкратова А. М. Чернышевский и крестьянская реформа 1861 г. // Н. Г. Чернышевский: Сб. ст. к 50-летию со дня смерти великого революционного демократа. Саратов, 1939; Шапиро А. Л. Вопросы русской истории в произведениях Чернышевского // Там же; Бушуев С. Русская история в освещении революционных демократов (В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов) // Историк марксист. 1940. № 8; Новиков М. И. Философия истории Н. Г. Чернышевского. Харьков, 1940; Хало В. Н. Исторические взгляды Н. Г. Чернышевского: Автореферат. Киев, 1951; Бергер-Тартаковская Е. Е. Н. Г. Чернышевский об историческом процессе: Автореферат. Л., 1954; Тупикин В. М. Проблемы истории средних веков в освещении Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова: Автореферат. Воронеж, 1954; Тулин М. А. Н. Г. Чернышевский о движущих силах развития общества. Л., 1959; Тулин М. А. Н. Г. Чернышевский об основных этапах развития общества. Л., 1960; Коган Л. А. «Я остался верен моим убеждениям» (К проблеме революции у Н. Г. Чернышевского. 70–80-е годы // Вопросы философии. 1982. № 12; Приленский В. И. Некоторые вопросы философии истории Н. Г. Чернышевского // Дискуссионные проблемы исследования наследия Н. Г. Чернышевского. М., 1984).

В литературе третьей группы рассматриваются в основном вопросы общинного социализма и будущего строя управления страной. Первому из них посвятили свои работы В. Е. Иллерицкий (Н. Г. Чернышевский о русской общине // Н. Г. Чернышевский: Сб. ст. к 50-летию со дня смерти великого русского революционера-демократа. Саратов, 1939); Ш. М. Левин (К вопросу об исторических особенностях русского утопического социализма // Исторические записки. М., 1948. Т. 26); Э. Л. Ефременко (Роман Н. Г. Чернышевского «Отблески сияния»: Автореферат. Л., 1953); М. А. Тулин (Н. Г. Чернышевский о социализме как неизбежном результате развития общества (из диссертации). Л., 1957); В. Г. Трофимов (Социалистическое учение Н. Г. Чернышевского. Л., 1957); Г. Г. Водолазова (Община и революция у Чернышевского // Вестник Московского университета. Сер. XI, Журналистика. № 3. Май-июнь. М., 1966); М. Воробьева (Аграрный вопрос в работах Н. Г. Чернышевского // Ученые записки кафедры политической экономии Высшей партийной школы. Политическая экономия. Вып. VII. М., 1966); В. Б. Смирнов (Общинная теория Н. Г. Чернышевского и публицистика «Отечественных записок» // Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971); Х. С. Гуревич (Об эволюции взглядов Н. Г. Чернышевского на общину // Вопросы истории. 1975. № 7);

Е. М. Филатова (Слияние демократических и социалистических ^А идей в учении Чернышевского // Чернышевский и его эпоха. Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1979); М. А. Филина («Что делать?» Н. Г. Чернышевского и социально-философский утопический роман: Автореферат. Тбилиси, 1979); С. К. Соколовский (Социалистическое учение Н. Г. Чернышевского: Автореферат. М., 1982); Н. В. Хессин (Н. Г. Чернышевский в борьбе за социалистическое будущее России. М., 1982); А. И. Морозов (Социалистический общественный идеал Н. Г. Чернышевского // Н. Г. Чернышевский. История, философия, литература. Саратов, 1982); Павел Непомнящих (Певец общинного лада. Уроки Чернышевского и перестройка // Наш современник. 1989. № 12).

Характеризуя высказывания Чернышевского о русской общине, В. Е. Иллерицкий писал: «В его взглядах на будущую роль общинного землевладения имеются лишь отдельные наброски, а не детали, общие принципы, а не стройная система» (Иллерицкий В. Е. Указ. соч. С. 99). Такой вывод о Чернышевском неверен, но он очень точно характеризует состояние литературы о его социализме. Стандартные наборы вопросов, которых касался Чернышевский, и столь же стандартные оценки их в духе — утопия, непонимание и т. п. Лишь в специальных работах Трофимова и Морозова, соответственно, о «Социалистическом учении Н. Г. Чернышевского» и «Социалистическом общественном идеале Н. Г. Чернышевского», а отчасти у Иллерицкого и Тулина отмечаются попытки конструктивных поисков, наметки отдельных элементов общественного идеала Чернышевского.

Трофимов, указав на веру Чернышевского в возможность для России миновать путь капиталистического развития, отметил наличие для этого двух предпосылок. Экономической основой первой из них он назвал видоизменяющуюся путем технического вооружения и увеличения размеров земли общину, которая вводит новые агрикультуры, устанавливает распределение доходов по количеству труда, демократизирует внутренний общинный строй, соединяет земледелие с промышленной деятельностью и т. п. Вторая предпосылка — крестьянская революция, которая для постепенного перехода к социализму создаст народно-демократическое правительство во главе с «земледельцами + поденщиками + рабочими» (Трофимов В. Г. Указ. соч. С. 33, 34). Если в России не произойдет революции, то, полагал автор, в течение 20–25 лет капитализм займет господствующее положение (Там же. С. 36). Чернышевский это понимал и поэтому ставил задачу революционно ликвидировать самодержавно-крепостнический строй и «прекратить дальнейшее развитие капитализма в стране мероприятиями экономической политики будущего революционного правительства народно-демократической республики». Таким образом победит коллективно-общинное хозяйство, и люди, движимые мотивом материального благосостояния,

по-новому преобразуют природу (Там же. С. 37, 38). Далее цитируется описание свободного труда из «Что делать?». Все это, от начала до конца, навеяно воображением автора. Во всяком случае — так был понят им Чернышевский.

Поскольку движение к социализму — общий закон прогресса, то базой, писал Морозов, Чернышевский считал общину. Россия, благодаря крестьянской революции, минует капитализм и построит социализм, Морозов увидел в этом ограниченность и утопизм взглядов Чернышевского, но далее увлеченно стал рассказывать о его романтизированном общественном идеале, воплощенном в 4 сне Веры Павловны из «Что делать?». «Идеи Чернышевского, — заключал автор, — зримо воплотились в советском обществе — обществе развитого социализма, высшем достижении социального прогресса» (Морозов А. И. Указ. соч. С. 177–180).

Иллерицкий и Тулин обратили внимание на трехэтапную периодизацию Чернышевским процесса построения коммунизма в стране с указанием принципов этих этапов, но, к сожалению, в своих рассказах о социализме Чернышевского авторы не пошли по этому пути изложения. Более того, Иллерицкий старался показать, что Чернышевский «никогда не был слепым поклонником русской общины» и что вопрос о будущем общины для него был второстепенным (Иллерицкий В. Е. Указ. соч. С. 93, 99). И тем не менее автор полагал, что Чернышевский все же надеялся на общину как на базу социализма, которая поможет миновать капитализм (Там же. С. 99). Самые большие надежды, писал автор, Чернышевский возлагал на крестьянскую революцию, которую он будто бы стал готовить еще до революции (Там же. С. 102). Иллерицкий и Тулин отметили признание Чернышевским необходимости факта сосуществования двух систем, но не поняли, что Чернышевский имел при этом в виду длительный период, а не 20–25 «переходных» лет.

Ни одна из работ в отдельности, ни в целом все вместе они так и не подошли к описанию Чернышевским социалистического строя будущего. И это естественно, так как углублению в сущность вопроса препятствовало само представление об общине как архаизме, совершенно несовместимом с высокими принципами «научного» социализма. Литература поэтому была нацелена на критику заблуждений Чернышевского насчет спасительности общины. При этом часто подчеркивалось, что будто сам Чернышевский смотрел на общину лишь как на средство перехода к строительству социализма, а не как на его естественную базу.

Более обстоятельно о будущем управлении страной высказались С. П. Покровский (Политические и правовые взгляды Чернышевского и Добролюбова. М., 1952); капитан юстиции С. С. Иванов (Государственно-правовые воззрения Н. Г. Чернышевского: Автореферат. М.,

1952); В. Я. Зевин (Политические взгляды и политическая программа Н. Г. Чернышевского. М., 1953); И. М. Шмаков (Социологические взгляды Н. Г. Чернышевского. 1954); А. И. Володин (Будущее в социологической концепции Н. Г. Чернышевского // Социологические исследования. М., 1975. № 1) и др.

Как и все в ту пору, исходным в строительстве социализма в стране по Чернышевскому Покровский считал крестьянскую революцию, в результате которой народ овладеет властью, конфискует помещичьи земли в пользу крестьян; отдельные семьи, используя машинную технику, станут переходить к крупному союзному товарищескому производству. Автору осталось неясным, что будет с предприятиями капиталистов. Допускалось установление в первое время, в известных пределах, развития капитализма (Покровский С. П. Указ. соч. С. 307, 308).

Осуществить свои цели — свободно рассуждал автор от имени Чернышевского — трудящиеся смогут лишь при использовании государства в качестве могучего рычага перестройки общественных отношений. Оно должно иметь демократическую форму, строиться на началах выборности при тайном голосовании и полном политическом равенстве всех, в том числе женщин и национальных меньшинств. Депутаты подотчетны избравшему их народу. Мешая свое и чужое, автор далее уже от себя писал, что избранное народом правительство должно идти впереди его, руководить им, направлять его действия, а не плестись в хвосте его отсталых элементов. И, не смущаясь только что сказанным, продолжал: в государстве трудящихся правительство будет выполнять их волю, всецело выражать их интересы (Там же. С. 318–320). Все в духе партотократии — государство разом и направляет действия народа, и выражает его волю.

По мнению Иванова, Чернышевский, учитывая опыт Запада и России, «пришел к мысли, что революционные массы, свергая существующий режим, должны создать революционную диктатуру» и с ее помощью перейти к новому социалистическому строю. Его идеалом была народно-демократическая федеративная республика с выборными снизу доверху подконтрольными и действующими в интересах народа властями. Это должно быть правление народное: «земледельцы + поденщики + рабочие» (Иванов С. С. Указ. соч. С. 28). Однако Чернышевский, к неудовольствию автора, не показал пути отмирания государства и права и что строительство социализма будет проходить в ожесточенной классовой борьбе (Там же. С. 29).

Зевин выступил с наиболее крайними оценками взглядов Чернышевского. Его идеи представлялись ему вершиной революционной мысли домарковского периода; он-де проклинал бесплодное реформаторское прожектерство европейских социалистов-утопистов, сделал вывод о неизбежности и закономерности классовой борьбы, обосновал

идею революционного насилия; будто бы говорил, что для него социализм, исключаящий революцию, — пустая мечта и «восторженная забава» (Зевин В. Я. Указ. соч. С. 109–112). Поэтому его тактика всегда «определяла задачу подготовки крестьянской революции» с целью свержения самодержавно-помещичьего строя.

Чернышевский, писал автор, понимал, что центральным вопросом революции является вопрос о государственной власти, поэтому результатом революции желал видеть установление «красной республики», сосредоточения власти «в руках самого низшего и многочисленного класса — земледельцы + поденщики + рабочие» (Там же. С. 60, 164). Установление новой «социальной демократии» будет означать реорганизацию всей системы управления. Вся власть окажется сосредоточенной в руках «народного собрания, парламента, составленного из людей, правильно выбранных, которые действительно могут быть названы представителями народа». Массы таким образом ~~будут~~ осуществляют законодательную власть. Правительство ответственно перед народом в лице народного собрания. Наконец, Чернышевский будто бы признавал необходимым осуществление контроля законодательной власти над исполнительной (Там же. С. 191).

При такой оценке значения государства трудно было ожидать разговора о самоуправлении, однако автор на него решился. Источник его он увидел в общине, которая еще при крепостном праве выработала умение управлять своими делами (Там же. С. 192). Чернышевский полагал, что село, город, область будут сами распоряжаться своими делами, но в то же время, по мнению автора, он не считал, что они будут самостоятельными и независимыми государствами, объединенными лишь федеративной связью. Нет, — утверждал автор, — «Чернышевский был сторонником единого сильного государства, в котором решающая роль в деле социального преобразования принадлежала бы центральной власти»; он «отстаивал идею демократического устройства власти сверху донизу в руках единой демократической республики» (Там же. С. 192, 194). Замечу, что изложенные автором принципы управления страной были совершенно чужды Чернышевскому.

Кратко свою точку зрения на «государство» Чернышевского высказал Шмаков. По его мнению, Чернышевский стремился к ликвидации самодержавного строя и замене его республикански-федеративным союзом областей как «государства трудящихся». Его основными чертами должны быть: суверенитет народа, развитое общественное самоуправление, выборность должностных лиц и право их отзыва народом, широкая политическая свобода, свобода слова, равенство всех перед законом, обеспечение культуры и просвещения для народа, предоставление самостоятельности национальностям и национальным окраинам (Шмаков И. М. Указ. соч. С. 15). Здесь схвачены положения,

которые, за исключением последнего, получили в творчестве Чернышевского довольно широкое развитие.

Поставив вопрос о роли государства при социализме по Чернышевскому, Володин оказался единственным из исследователей, кто правильно указал на характер этого «государства». Володин пишет: «...политическая власть, правительство Чернышевский рассматривает лишь как одну из форм “коллективного управления”, “общественной силы и деятельности”. Чернышевский, действительно, был против употребления слова “правительство” применительно к будущему управлению. Задача правительства по Чернышевскому — “содействовать самостоятельному действию людей» и не ограничивать свободы экономической деятельности”; в целом речь идет “об изменении самих «принципов» государственной деятельности»» (Володин А. И. Указ. соч. С. 142, 143). Именно эти положения и определяют понимание Чернышевским сущности функций и значения будущего управления страной.

Обзор литературы самого длительного по времени периода, несмотря на специальные названия отдельных работ, не обнаружил ни одной попытки перейти к систематическому изложению общественного идеала Чернышевского, его экономической и политической сторон. От литературы власти ждали осуждения общины. Не пользовалось поощрением и товарищество мастерских Веры Павловны. Прославлялись лишь новые люди романа, будто бы представленные Чернышевским как революционеры. Литература менее всего занималась будущим политическим строем России по Чернышевскому, но в то же время, действуя от его имени, она допустила и больше всего ошибок в оценке этого строя. Поставленная в рамки ленинской концепции, литература о Чернышевском сбилась с дороги, ушла в сторону и там погрязла в абстракциях, мифах о его революционности, готовности взбунтовать крестьянство России и повести его на штурм самодержавия с целью утверждения в стране социализма... Да тут выяснялось, что и крестьянин-то не социалист, и сам социализм не социализм. Все, что задумал Чернышевский о будущем страны — сплошная утопия. Как ни крути, дело завершалось тем же капитализмом, от которого он будто бы хотел избавить Россию. Пока литература совершенствовала аргументацию для обоснования ленинских установок, реальный Чернышевский уходил из ее поля зрения все дальше и дальше. Доктрина отвлекла громадные силы исследователей на выполнение совершенно ненужной работы по ее обслуживанию.

Литература последнего периода — 1991–2000 гг. — почти ничем не представлена. Специальных работ пока еще нет; случайные разрозненные высказывания о Чернышевском не позволяют определить тенденции ее развития.

По проблеме книги мною опубликованы работы: Историческая концепция Н. Г. Чернышевского. М., 1983; Н. Г. Чернышевский о русской истории. М., 1984; Н. Г. Чернышевский о пореформенной России // История СССР. 1989. № 2; Н. Г. Чернышевский о преобразовании России // Из истории общественно-политической мысли России XIX века. М., 1990; Народничество в России: утопия или отвергнутая возможность? // Вопросы истории. 1991. № 1; Анархизм по Чернышевскому // Родина. 1992. № 3; Звал ли Чернышевский народ к топору? // Преподавание истории в школе. 1995. № 5.

Многочисленные публикации творческого наследия Чернышевского, в том числе и последнее Полное собрание сочинений, вышедшее в свет в 1939–1953 гг., представляют собой исчерпывающую документальную базу, позволяющую вполне разобраться, кем был Чернышевский, каковы были его истинные взгляды на прошлое, современное и будущее мира; каков, в частности, был его общественный идеал.

Особенность задач настоящей книги, посвященной исключительно Чернышевскому, требует остановиться на описании одного лишь источника — воспоминаний о нем, так как они проливают свет и на некоторые острые мировоззренческие проблемы, и в то же время открывают читателю просто оригинальный физический образ исторического деятеля.

Прежде всего, это люди, знавшие Чернышевского с начала 60-х гг. — М. М. Антонович (Памяти Н. Г. Чернышевского // Вестник Европы. 1909. Февраль); В. А. Обручев (Из пережитого // Вестник Европы. 1907. Май); Н. В. Рейнгардт (Н. Г. Чернышевский // Русская старина. 1905. Февраль) или посещавшие его после возвращения из Сибири — Н. Ф. Скориков (Н. Г. Чернышевский в Астрахани // Исторический Вестник. 1905. Май; По поводу воспоминаний о Н. Г. Чернышевском // Исторический вестник. 1905. Июль); Н. Ф. Хованский (Н. Г. Чернышевский в 1886–1889 годах // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959), а также находившийся вместе с ним в сибирском заключении П. Ф. Николаев (Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге (В Александровском заводе). 1867–1872 гг. М., 1906); С. Г. Стахевич (Среди политических преступников // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959); В. Н. Шаганов (Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и ссылке. Воспоминания. СПб., 1907).

Люди, лично знавшие Чернышевского, рассказывают о нем как о политическом деятеле, мыслителе и просто человеке, притом весьма необычном, своеобразном. Вот каким он представился Антоновичу, работавшему с ним бок о бок в «Современнике». «Это, — писал он, — был ум повелительный, властный, действовавший на читателя неотразимо и неотвратимо». В то же время в обыденном общении «речь его пере-

сыпалась шутками, прибаутками, остротами, анекдотами и все время сопровождалась смехом, даже хохотом... Это был какой-то странный каприз, нежелание сразу переходить на серьезный тон»; и вообще он «был человек в высшей степени необщительный, раскрывавший свою душу, свои интимные задушевные мысли и чувства только перед самыми близкими к нему людьми, да и то очень редко...» (Антонович М. М. Указ. соч. С. 86, 88). Оказывается, и в зрелые годы он сохранил студенческую манеру самобичевания в той же форме и теми же словами. Посещая Антоновича дома и обсудив за чаем житейские и журнальные дела, он вдруг «разражался самообличениями, что у него бездна недостатков, нет твердости в характере, что он очень податлив, что ему недостает мужества, что он делает много глупостей... Эти самообличения обыкновенно сопровождались панегириками Добролюбову, у которого нет этих недостатков, он всегда тверд и непоколебим, как скала, что у него завидные и обширные познания и т. д.» И когда ему возражали, он вспыхивал и почти с криком продолжал это доказывать, снова обличал себя (Там же. С. 91). Он любил стихи классических поэтов России и Германии, французские демократические песни. При декламировании стихотворений с политическим оттенком, например, Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах появлялись слезы... В его груди «должна быть очень чувствительная эстетическая жилка, что бы ни говорила нам его диссертация», — с иронией заключил не разделявший ее идеи Антонович (Там же. С. 92).

Антонович оставил ценное указание на состояние политической атмосферы в обществе начала 60-х гг. Ежедневно у Чернышевских «собиралось самое разнообразное и блестящее интеллигентное общество; тут, — писал Антонович, — были литераторы, молодые и старые, патентованные ученые-академики и простые ученые, профессора университета, военной академии и других высших учреждений, врачи и др., люди всевозможных настроений и направлений» (Там же. С. 90). Это свидетельство Антоновича весьма ценно. В литературе мелькали высказывания о характере встреч интеллигенции у Чернышевских как весьма конспиративных и имевших целью обсуждение революционных планов. Ничего подобного там и быть не могло при встрече людей «всевозможных направлений и настроений».

Однако по мере завершения подготовки Положений реформы, а особенно со времени ее провозглашения, окружение Чернышевского постепенно менялось. «Тогда (1860), — продолжал Антонович, — реакция еще только начиналась, почти незаметно, и общество еще не дифференцировалось. И не разбилось на два враждебных лагеря, — прогрессистов и реакционеров, опасных нигилистов и благонадежных патриотов. Но уже в следующем году, из прежних посетителей журфиксов Н. Г. являлись к нему очень немногие, а большинство сторонилось

от него, как от опасного человека, одного из тайных главарей нигилизма» (Там же. С. 90). Поскольку, по его мнению, реформа должна была открыть России путь к преобразованию на иных началах, а этого не случилось, он был глубоко разочарован в ней, не вошел в хор ликующей по поводу реформы либеральной прессы, стал печатать работы, которые шли в полный разрез с мнениями образованных людей всего либерального лагеря. С другой стороны, с начала 60-х гг. им была развернута открытая пропаганда социализма — «Капитал и труд», примечания и комментарии к переводимым им «Основам политической экономии» Д. С. Милля (1860), «О причинах падения Рима» (1861). Итак, реформу не поддержал, восторженных ею либералов поставил в один ряд с остальным обществом и открыто заявил свою приверженность социализму. Все это сделало его изгоем «общества» и вызвало гнев и ненависть не только крепостников, но теперь и либералов. Последовали доносы, один нелепее другого, в которых Чернышевский обвинялся и в организации поджога Петербурга, и в коноводстве ужасными нигилистами, и т. п. тяжких грехах. При этом требовалось арестовать его и тем самым избавить «общество» от страха. К сожалению, историография отнеслась к подобным выходкам реакции как к «доказательству его революционно-организующей роли в те годы».

Наконец, об «утопизме» Чернышевского. В этом, писал Антонович, его обвиняют покаявшиеся марксисты, которых обуяли религиозные искания, но, продолжал он, «утопия, особенно еще как мера и орудие публицистики... может действовать в некоторых случаях гораздо сильнее, больше возбуждать ум и скорее вызывать энтузиазм в сердцах, чем трезвенные, строго научные сюжеты. В "Что делать?" есть утопии, но они производили и производят такое сильное действие, и такое возбуждение, какого ни в каком случае не произведут утопии наших научных социалистов. Судить правильно об экономической стороне крестьянской реформы Н-ю Г-чу нисколько не помешало то, что он погряз в утопии и не возвысился до идей научных социалистов...» (Там же. С. 85). Видя силу утопии Чернышевского в силе ее эмоционального воздействия на читателя, Антонович именно это и считал преимуществом своего друга над суждениями представителей научного социализма. Действительно, никакого отношения к научному социализму мировоззрение Чернышевского не имело, но в то же время Антонович был глубоко не прав, когда подменял свойственный Чернышевскому рационализм чувственностью.

Таков образ Николая Гавриловича по Антоновичу, но есть и другой человек, тоже весьма близко стоявший к нему, Обручев, который в своих воспоминаниях чем-то дополнит Антоновича, что-то уточнит для нас. Прежде всего, о «таинственности» собраний у Чернышевского, будто бы происходивших «большей частью в ночное время», о чем

писал в своей записке шеф жандармов А. Л. Потапов, которую Обручев прочитал в мартовском номере «Былого» за 1906 г. По поводу этих слов Потапова, сказал, что, хотя его в доме Чернышевского «принимали дружески и Н. Г. разговаривал со мной доверчиво, мне ни разу не пришлось услышать ни малейшего намека на подобные таинственные, ночные собрания» Что касается самих собраний, то у него сложилось впечатление, что «организовывала их скорее О(льга) С(ократовна), чем Н(иколай) Г(аврилович). Сходилась человек десять—двенадцать, сидели в гостиной, получали в свое время чай и попозже телятину или блюдо котлет и все вообще как будто отбывали повинность... Чаще других спорил сам Н. Г., с своим деланным, неприятным смехом» (Обручев В. А. Указ. соч. С. 124, 132).

А вот его первое впечатление от личной встречи с ним: «Ко мне вышел худенький человек среднего роста, в сером пиджачке, с серьезным бледным лицом и утомленным взглядом несколько выпуклых, близоруких глаз в сильных очках, с юношески-красивыми, довольно длинными русыми волосами. Он говорил со мной довольно долго, участливо». Когда в Петербург приехали мать и сестра Обручева, Чернышевский навестил их и обворожил «своей нежностью и евангельской чистотой, одухотворявшей его личность» (Там же. С. 128, 132).

Обручев отметил громадную работоспособность Чернышевского. Заходить в его кабинет «без особенной надобности или вести с ним разговоры не полагалось». Что касается его трудов, то, признавался Обручев, вообще они были для него «трудноваты, а некоторые из них я, — писал он, — даже не покушался читать». Однако «Полемические красоты» его восхитили (Там же. С. 134).

В историографии прокламации «Великорусс» особо важная роль в ее подготовке отводится и В. А. Обручеву, тогда как сам он в воспоминаниях, писавшихся во время, когда ему ничто уже не грозило, и он мог быть вполне откровенным, говорил о совершенно случайном участии в деле как распространитель документа: «Своему участию в деле я, — писал он, — не придаю никакого значения». Теперь он желал положить «предел странной настойчивости, с какой архивные искатели стараются связать ничтожное мое имя и листок, прежде всего школьный, повторявший давно сказанное другими, с светлым именем глубокого мыслителя, руководителя современного ему общественного движения (речь идет о Чернышевском. — В. А.). Даже следственная и сенатская прокуратуры не нашли возможности вести атаку с этой стороны...» (Там же. С. 123). Вот обстоятельства, при которых Обручев, вообще настроенный «быть полезным», стал «деятелем» комитета «Великорусс» и революционного движения начала 60-х гг. Возвратившийся из деревни Некрасов в разговоре с Добролюбовым сказал ему, что, по его впечатлениям, там «ничего не будет», Добролюбов поде-

лился этим с Обручевым. Несколькими днями спустя, «мне, — писал Обручев, — было предложено участвовать в рассылке листка “Великорусс” (№ 2). Даже теперь, по прошествии сорока пяти лет, я не назову лицо, через которое это предложение последовало... Неожиданный посетитель передал мне довольно толстую пачку листов и конверты, которые мне предлагалось заадресовать по списку, где значилось, сколько экземпляров, куда класть... Я не колебался нисколько; напротив, даже гордился данным мне поручением» Потом очень жалел, что не принял во внимание слов Некрасова «ничего не будет» (Там же. С. 135, 136). В октябре 1861 г. он был арестован и оказался в Сибири.

Н. В. Рейнгардт, один из самых активных участников студенческих выступлений осенью 1861 г., впервые увидел Чернышевского на похоронах Добролюбова в ноябре 1861 г. и с тех пор, вплоть до посещения его в 1884 г. в Астрахани, проявлял к нему живой интерес. В его воспоминаниях Чернышевский представлен как человек, весьма далекий от революционных устремлений. Так, когда на вечере, устроенном Серно-Соловьевичем по поводу проводов пяти высылаемых из Петербурга студентов, где был и Чернышевский, один из студентов «высказал несколько мыслей довольно радикального характера». Чернышевский с горечью сказал: «Эх, господа, господа — вы точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли... Ни тюрьма, ни ссылка не научают вас!» «На эти слова, — писал Рейнгардт, — кто-то из присутствующих сказал, что может быть и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловской крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкой ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается...» (Рейнгардт Н. В. Указ. соч. С. 454).

Рейнгардт был убежден, что «Чернышевский не только не был политическим агитатором, коноводом какой бы то ни было социально-демократической партии, но, собственно, и не мог быть таковым по своей натуре, по своим склонностям. Конечно, как последователь Роберта Оуена и Фурье, он не мог не думать о перевороте в обществе, который должен был совершиться не в одной России, но во всем мире, притом, конечно, не скоро, а в более или менее отдаленном будущем, силою исторического прогресса, в котором он мог считать себя одним из деятельных участников, как распространитель прогрессивных идей... Чернышевский не мог никогда принимать участия в каком-нибудь насильственном перевороте потому, что он не верил в успех грубой физической силы, а хранил глубокую веру в торжество нравственности...» (Там же. С. 458, 459). При этом Рейнгардт уверял, что и все его поколение было убеждено в невинности Чернышевского и неучастии его в чем-либо с целью ниспровержения государственного порядка (Там же. С. 462).

Автора возмущали многочисленные анонимные письма и доносы генерал-губернатору, начальнику III отделения и министру внутренних дел и др., в которых Чернышевский изображался главой крайне революционной партии и крайним социалистом; высказывалась просьба немедленно удалить его как человека чрезвычайно вредного и опасного. В одном доносе он именовался главой «бешеных демагогов». «Вышлите Чернышевского куда угодно, иначе прольется кровь», — говорилось в нем (Там же. С. 455).

Антонович, Обручев и Рейнгардт, близко, особенно два первых, знавшие, чем занимался и о чем думал Чернышевский, не дают оснований относить его к людям крайнего направления. Это же впечатление сложилось и у тех, кто посетил его после возвращения из Сибири. Самые ценные материалы дал Скориков, но, поскольку они шли вразрез с установившимся взглядом на Чернышевского, в историографии они отмечены как недостоверные. Мною его воспоминания подробно разобраны ниже в тексте работы. Хованский, навещая Чернышевского в Саратове, воспринял его как человека ушедшей поры. «Он смотрел за кулисы истории, и своего собеседника заставлял смотреть туда же». У него сложилось мнение, что Чернышевскому был чужд и современный мир, и современные интересы, и это его всего более поразило. Он даже усомнился, читал ли Чернышевский современные газеты и журналы. Хованскому явно что-то помешало ближе узнать Чернышевского. Нет, он не был столь равнодушен к настоящему, хотя, конечно, мысли его были в прошлом. А вот его краткая запись о том, что Николай Гаврилович развивал перед ним свою «старую теорию о федеративном устройстве России, поляков, армян, финляндцев и пр.» весьма важна. Автору только не запомнилось, «разделял ли он эту теорию, или лишь знакомил меня с нею» (Хованский Н. Ф. Указ. соч. С. 283). Забегая вперед, скажу — разделял.

Авторы воспоминаний, разделившие с Чернышевским судьбу заключенных в Сибири, высказались о нем довольно пространно и подчас довольно разноречиво. Первым из троих указанных соизнिकाх Чернышевского свои воспоминания опубликовал Николаев. Он провел с ним в Александровском заводе 5 лет — с 1867 по 1872 г. Они знали, что у них должен появиться Чернышевский, их кумир, образ которого был для них освещен «ареалом мысли и страдания». И вот они «увидели самое обыкновенное лицо, бледное, с тонкими чертами, с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белокурой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами... в своем неизменном халатике на белом барашке, с которым он расставлялся только в сильные жары; в мягких валенках, в маленькой черной барашковой шапке, которую редко снимал даже тогда, когда писал или обедал; с своим визгливым голосом, с нервной, пошатывающейся походкой,

с неуклюжими размахивающими руками. Николай Гаврилович отнюдь не походил на героя» (Николаев П. Ф. Указ. соч. С. 6, 7). Простой человек, но в этой-то простоте, говорил Николаев, и заключалась его притягательная сила. И еще штрих к портрету: они работали — пилили, тесали, строгали — и, глядя на них, Чернышевский делал попытки тоже что-то делать, но, писал Николаев, не помогал, а мешал, так и гляди, что от неловкости покалечится; «частенько приходилось насильно отнимать у него режущие и колющие инструменты и дружелюбно выталкивать». Однажды он взялся помогать дворнику носить дрова и всю вязанку рассыпал (Там же. С. 15).

Первые два года Чернышевский жил в отдельной комнате, разделенной перегородкой на две половины, первая из которых представляла собой небольшую переднюю. Во второй половине во всю стену были установлены очень широкие подмостки, «нечто вроде помоста или эстрады»; на них стояла кровать и небольшой столик. Там он писал и оттуда беседовал с посетителями. «Придешь, бывало, к нему, сядешь на нары, а он в своей черной шапочке, которую постоянно нервно двигал на голове, с быстрыми движениями всего туловища на стуле или кровати, говорит. Говорит так, что слушаешь и не наслушаешься». Случалось, это длилось непрерывно до пяти часов. «Это был блестящий фейерверк идей и образов. Были и разговоры “с горы” или “с нар”». Но не простые: они будили мысль, заставляли искать ответы. Спорили. Он никогда не горячился, не был резким, не забивал противника массой своих знаний... Резкий в журнальной и милый в личной полемике, и потому побитым в личном споре с ним быть было приятно. Сильное возбуждение мысли, жажда знаний и охота спорить еще. Он, полагал Николаев, был бы идеальным профессором, в чем и было его настоящее призвание» (Там же. С. 13–15).

Николаев утверждал, что Чернышевский предвидел и франко-прусскую войну, и победу Германии, и Парижскую Коммуну, и конечное торжество буржуазии (Там же. С. 17, 18). «Его могучий аналитический ум не был обманут поверхностными явлениями жизни, хотя все европейские революционеры того времени (до Маркса включительно) были обмануты», — заключил Николаев.

Николаев долго и упорно, не имея на то веских оснований, доказывал принадлежность Чернышевского к бланкизму, но в то же время утверждал, что Чернышевский не верил в близость «катастрофы», хотя, будто бы, и желал ее (Там же. С. 20–22). Рядом с этим у Николаева стоит вопрос и о знакомстве Чернышевского с марксизмом. «Капитала» до ареста Чернышевского еще не было, «Коммунистический манифест» имел даже в Европе слабое распространение, а вот о самих Марксе и Энгельсе Чернышевский, по свидетельству Николаева, «он часто упоминал», Маркса называл замечательным сотрудником

газеты и «отзывался о нем всегда с большой похвалой, как о последовательном и крайнем ученике Фейербаха». Но вот появилась книга Маркса "Zur Kritik" «Я увидел книгу уже после прочтения ее Н. Г. и, к своему удивлению, нашел на книге его собственноручную надпись: "революция в розовой водиче"». Спросить об этом у Чернышевского не удалось, но теперь автор полагал, что «Чернышевскому, как защитнику интересов всего пролетариата и пролетаризуемого крестьянства, именно эволюция-то и закономерность развития капитализма, неизбежно приводящее к Zusammenbrudig и представлялось розовой водичей революции» (Там же. С. 22).

Много и интересно Николаев рассказал о литературном творчестве Чернышевского. «Писать для Николая Гавриловича значило то же, что для рыбы плавать, для птицы летать, писать для него — значило жить»; его творческая фантазия, особенно, когда он просто рассказывал, была просто изумительной. Стоили его попросить, и он тут же начинал творить «историйку»: «Ровно шла его речь, без перерывов развивалась интрига, часто довольно сложная, появлялась сеть лиц, часто тонко задуманных, излагался психологический анализ, иногда довольно сложный. И все это без обдумывания, без приготовления, ...посредством какого-то необыкновенного вдохновения» (Там же. С. 24, 39).

Другая, может быть, более глубокая страсть, история, осталась невостребованной, но она постоянно занимала Чернышевского. По словам Николаева, «ему хотелось писать исторические этюды». Хотя книг у них было достаточно, «но было мало для справок, для собирания исторического материала: Шлоссер, Мотлей, Циммерман да Энциклопедический словарь Брокгауза — вот и все» (Там же. С. 47). Любимыми темами, о которых он часто говорил им и о которых хотел писать, были эпохи «возрождения, реформации и первых времен христианства». Николаев прибавлял к ним еще и «изучение начатков конституционализма на континенте Европы». Его интересовала главным образом «мирная жизнь мелких общин, где уже культура и философское образование были развиты среди населения. Таковы мелкие греческие общины в первые века нашей эры, итальянское городское, и отчасти свободные республики — города Германии в эпоху возрождения и реформации». Чернышевский делал попытки в полубеллетристической, полунаучной форме воссоздать картины общинной жизни Греции: «Изображено было мирное пиршество, братчина в небольшом греческом городке в честь богини мудрости... Толпа поселян, грубая, дикообразная ворвалась в город под предводительством страшного, полусумасшедшего фанатика — Пустынника...». На этом рассказ оборвался.

Николаев свидетельствует, что исторические симпатии Чернышевского были «на стороне культуры, на стороне мирных трудящихся классов и на стороне интеллигенции, даже, если хотите, умствен-

ной аристократии». Частое проявление «грубой силы невежественной массы» прерывало развитие интеллигенции, и это сокрушало его, и он говорил, «что в старых, погибших цивилизациях было накоплено столько культурных приобретений, столько знаний, что правильное развитие и сохранение этих сокровищ поставило бы человечество неизмеримо выше, чем оно стоит теперь». При этом противоположный взгляд на историю он считал «ничем не оправдываемой идеализацией».

История — это борьба при известном соотношении «экономических сил и классовых интересов», причем борющиеся классы, часто имеющие противоположные экономические интересы, пользовались нуждой масс в своих целях. Сказав это, Николаев поспешил оговориться, что он не причисляет Чернышевского к русским инициаторам экономического материализма. Его, писал он, у него было не больше, чем у Сен-Симона или Луи Блана. «Признавая экономический фактор самым важным в истории человечества, Николай Гаврилович признавал вместе с тем и творческую деятельность интеллекта, и роль личности как создающей исторический прогресс. Личности и интеллекту он отводил даже первенствующую роль». Для него «только интеллект и его воздействие на интеллект имели значение» (Там же. С. 47–50).

Экскурс Николаева в область исторических исканий Чернышевского чрезвычайно интересен и важен. Он и в сибирской тюрьме продолжал развивать идею о начальных веках Греции и Рима как времени, когда история готовилась к переходу на высший этап развития, что дополняет материал, использованный для рассказа об этом в книге. Что касается соотношения роли экономического и нравственного факторов в истории, представляется, Николаеву не удалось уловить гонкости суждений об этом Чернышевского. У него так и остался «экономический фактор самым важным в истории человечества» и рядом «творческая деятельность интеллекта, и роль личности как создающей исторический прогресс».

В воспоминаниях Стахевича, которого Чернышевский отличал от других как человека наиболее основательного, затронут довольно широкий круг вопросов, ответы на которые он нередко старался получить от своего кумира самостоятельно. Среди них наибольший интерес представляют вопросы о земле, ассоциациях, земстве и суде, о «топоре» и компромиссах, политической борьбе и Марксе, наконец, о значении Китая.

Как-то Стахевич стал допытываться у Чернышевского ответа на вопрос о ситуации такого рода — если бы в России нашелся деятель вроде Петра Великого и произвел бы «переворот в земельных отношениях на пользу массы населения, выражаясь проще — отдал бы помещичью землю крестьянам без всякого выкупа, что последовало бы дальше? Устоял бы новый порядок или нет?» В первый момент, отвечал Чер-

нышевский, помещики в ужасе притаились бы, затем, «считая себя обиженными, стали бы составлять заговоры против царя-грабителя», распространять среди крестьян желание царя «повернуть все по-старому», а то зачислить их в военные поселяне или поселить на турецкую и даже китайскую границы; могли бы посеять раздор между селениями крестьян распространением слухов о неравном выделении им земли. Все это, по мнению Чернышевского, могло вызвать «значительную взволнованность населения», но о дальнейших последствиях он не мог говорить из-за неизвестности обстоятельств, которые могли сложиться (Стахович С. Г. Указ. соч. С. 76, 77).

Производственные ассоциации продолжали занимать Чернышевского и в это время. Европейские социалисты в свое время думали, что, произойди сегодня переворот, завтра наступит всеобщее благосостояние. Теперь видно, что привычки и понятия людей меняются туго. Но он верил, что доживет до времени, когда этих ассоциаций будет столько же, как теперь типографий. Сейчас им трудно появляться, так как своих сбережений у рабочих нет, правительство им не помогает, но когда произведенный трудящимися продукт станет поступать в их распоряжение, «хоть и медленно, а все же рабочие приобретут кое-какое имущество показистей теперешнего, при лучшем имуществе образования у них станет побольше и их политическое значение увеличится» (Там же. С. 83).

Из реформ 60-х гг. Чернышевский обратил внимание на две — земскую и судебную, но разбор их целиком переносится в текст книги.

Под словом «борьба» наша историография многие десятилетия понимала у Чернышевского призыв к применению классового насилия. Вот Стахович перед всеми нарисовал картину бессмысленности борьбы с дурманом — хоть весь его вырви, ветер нанесет новых семян, и он вновь разрастется. Что же делать, спросили его, опустить руки? «Совсем нет, — ответил он. — Надо действовать на почву всеми средствами — механическими, физическими и химическими в таком направлении, что она сделается непригодной для дурмана и благоприятной для растений других пород. Как говорил Козьма Прутков, надо смотреть в корень вещей». Слушавший все это молча, Чернышевский, одобрив последние слова, сказал: «Действовать на почву непременно следует; это хорошо, полезно, необходимо; главное, не надо поддаваться квиетизму, — все, делается силами природы и истории, от нас не требуется никаких усилий и борьбы. Как это можно! Без усилий и без борьбы не получим никогда ничего». Стахович не мог сказать, какие формы политической борьбы имел здесь в виду Чернышевский, но хорошо знал, что он «не одобрял тактики прямолинейной», бескомпромиссной, какой, по его словам, следовал бывший с ними в Александровской тюрьме революционер М. Д. Муравский (Там же. С. 109). «Жизнь, —

пояснял Чернышевский, — меняет человека, приучает его обращать внимание на обстоятельства, на соотношение общественных сил. Знаю, что вот это и это — хорошо; что из этого? Необходимо соображать: это и это достижимо ли при данных условиях? Я, например, смолodu разве так думал о надельных землях? Вся земля должна быть крестьянская, и никаких разговоров о выкупах и т. п. Ну, пришло время писать, вижу — нельзя так писать, недостижимо, ничего не выйдет... Пошли и ход усадьбы, наделы, выкуры...» (Там же. С. 94).

Сам Стахевич, приводя эти слова или указывая на шалости Чернышевского с некоторыми товарищами, которые ходили с ним на встречи либеральной интеллигенции у Кавелина, и для потехи «любили, — говорил он, — упоминать о топорах; нечего греха таить: частенько-таки напоминали... Смешно, право, как подумаешь...» (Там же. С. 89), все же склонен был относить Чернышевского к людям радикальных взглядов и настроений. «Я, — писал он, — лично вполне убежден, что имя Николая Гавриловича должно занимать место не только в синодике наших литературных деятелей, рядом с именами Радищева, Новикова, Белинского, Добролюбова, Писарева и многих других, но также и в синодике наших политических деятелей, рядом с именами Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола и множества других» (Там же. С. 102). Однако существенных подтверждений этому выводу не приводил. Так, последние слова Чернышевского по поводу «его тирады» о топорах — «Смешно, право, как подумаешь» — он понял так: «смешно было грозить тою силою (готовыми взбунтоваться крестьянами), которые если и существовали, то далеко не в таких внушительных размерах, как тогда казалось ему...» (Там же. С. 89). Или, тоже без серьезных оснований, утверждал, что некоторые листки «Великорусса» «были написаны действительно им» (Там же. С. 96).

В то же время в воспоминаниях приводится обстоятельное высказывание о преимуществах политического строя Англии и ее мирного прогресса, в силу чего, говорил Чернышевский, она «стоит далеко впереди всех народов... другие нации не скоро догонят ее» (Там же. С. 80, 81); а в ссылке на разговоры о произведениях Маркса Чернышевский представлен равнодушным, безразличным (Там же. С. 84).

В. Н. Шаганов в своих кратких воспоминаниях затрагивает ряд интересных вопросов — о общественных интересах общества начала 60-х гг. и самом Чернышевском — его личности, взглядах на крестьянство и ход исторического процесса; наконец, об отношении к «Капиталу» Маркса.

Прежде всего он отметил большой интерес в обществе к журналам и полемике, которая велась в то время между ними. Поднятые ими вопросы всюду, во всех его слоях возбуждали «ожесточенные состязания», каких, по его мнению, «уже не было никогда после». Ему казалось, что

тогда все образованные люди хотели и освобождения крестьян, и конституции. Возможно, он прав. Этот вопрос до сих пор остается неисследованным. Было просто: одни хотели революции, другие — по доброй воле или под давлением снизу — реформы. А настоящее положение дел было много сложнее. Вот и П. Л. Лавров во время осенних студенческих волнений 1861 г. был взволнован ожиданием свершения чего-то важного. Шаганов, утверждая, что все образованные люди хотели одного и того же, в то же время замечал, что «более верхние слои этого общества хотели освобождения крестьян полегче и конституции поуже, для собственного употребления. Другой слой желал и освобождения крестьян пошире, и конституции пошире, для общего употребления». Но в том же обществе был и еще один, хотя и немногочисленный, слой людей, «которые видели, что желания этого общества до некоторой степени очень платоничны; что если его желания и искренни, то само оно не организовано в такой степени, чтобы из этих желаний могло что-нибудь выйти; что, наконец, и желания-то его далеко недостаточны для того, чтобы из них вышло что-нибудь полезное, будь они и осуществлены. И эти люди заявили и свои желания, и свои меры к их осуществлению». Кто они? Шаганов сослался на героев Чернышевского в «Прологе» Левицкого (Добролюбов) и Соколовского (Сераковский), людей радикальных настроений (Шаганов В. Н. Указ. соч. С. 20, 21).

Как видим, Чернышевский к ним не отнесен. И неслучайно. Шаганов глубже своих друзей понял его. «Он, — писал Шаганов, — никого не призывал к бунту или восстанию, но он слишком ярко и неотразимо объяснял положение общества и слишком много давал материала для разоблачения людской глупости — с одной и подлости — с другой стороны. Во всех вопросах он неуклонно стоял на экономической их стороне, не упоминая о политической форме. Но кто хотел бы подумать о логическом продолжении его принципов или спросить его лично, тот, несомненно, получил бы ответ, что людские дела делаются, конечно, людьми, а от различной группировки элементов власти будет зависеть и то, что они именно сделают. Единственная вина Чернышевского в том, что это человек с выдающимся умом» (Там же. С. 8).

Память Шаганова сохранила весьма ценные и более пространственные рассуждения Чернышевского об исторической ситуации времени последних веков Рима, которые он изложил в работе «О причинах падения Рима».

Столь же интересен экскурс рассказчика и в русскую историю, ко временам царицы Анны Ивановны. «Чернышевский, — писал Шаганов, — еще прежде говорил, что не так бы пошла история нашей родины, если бы, при воцарении Анны, партия верховников восторжествовала. Ни одна партия не может не делиться ради своего же собственного спасения...» (Там же. С. 135).

Совокупность имеющихся источников позволяет, прежде всего, подробно изложить историческую концепцию Чернышевского, без знания которой, в чем читателю будет предоставлена возможность убедиться самому, просто невозможно понять его общественный идеал; затем идет рассказ об историческом месте и значении социализма в общечеловеческом прогрессе. При переходе от общего к конкретному оказалось необходимым представить учение Чернышевского о социализме как «теорию трудящихся», после чего изложены основные положения идеала: «Новый экономический быт» (экономическая его сторона) и «Самостоятельная федеративная республика» (политико-административная его форма). В кратком заключении большее внимание уделяется выяснению вопроса о степени реализма в общественном идеале Чернышевского.

Своеобразие представления Чернышевского об общественном идеале как результате общечеловеческого развития обязывает начинать книгу с описания его взглядов на это развитие, т. е. сначала познакомить читателя с его исторической концепцией, ибо, как увидим, без знакомства с ней невозможно будет разобраться и в самом его мировоззрении...

Историческая концепция

Основными составляющими концепции являются его взгляды на роль знаний, законов и количественного фактора в истории, а также воспринятые им теории «циклов развития», «расширения круга» и «нарастания». В этой последовательности и познакомимся с ними.

Роль науки и знаний в истории

Чернышевский рано проникся убежденностью во всеислие знаний. Будучи семинаристом, он, благодаря самостоятельному чтению, еще до поступления в университет накопил огромный и разнообразный запас знаний. В семинарском сочинении «Образование человечества зависит от образования молодого поколения» он писал: «Знание это неисчерпаемый рудник, который доставляет владельцам своим тем большие сокровища, чем глубже будет разработан... необразованность молодых поколений во время и после разрушения Западной Римской империи на много веков замедлила успехи образования» (XVI. 382, 383. — Здесь и ниже цитируется полное собрание сочинений В. Г. Чернышевского (М., 1939–1953). Римской цифрой показан том, арабской — страница). И в 1888 г., через многие десятилетия, он вновь писал, что «основной силой, возвышающей человеческий быт и производящей прогресс в жизни народов, является умственное развитие людей» (X. 909). Выясним, как, по Чернышевскому, знания оказывали воздействие на ход общественного развития.

Сторонники признания материалистических истоков его мировоззрения, естественно, прежде всего обращали внимание на представление им человека как части природы с присущими ему определенными врожденными потребностями и в первую очередь с потребностями дышать, есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой (VII. 241, 266; XVI. 535; и др.). Потребности же нравственные — думать, чувствовать, желать (VII. 241, 242), стремиться к улучшению своей жизни и проявлять любознательность (X. 920), тоже врожденные, считались как производные от материальных (См.: Волк С. С., Никоненко В. С. Материализм Чернышевского. Л.: ЛГУ, 1979; Никоненко В. С. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Л.: ЛГУ, 1983; Он же. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева: Автореф. ... д-ра филос. наук. Л. 1985; Бочкарев Н. И., Маслин М. А., Федоркин Н. С. Революционная демократия и марксизм. История, методология исследования и современность. М.: МГУ, 1989; и др.). Однако сам Чернышевский, говоря

о взаимодействии этих потребностей, на первое место ставил нравственные. «Сам по себе человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и умения пользоваться силами неразумной природы и врожденными, не зависимыми от человека качествами человеческой натуры» (III. 228). Врожденное стремление к улучшению жизни и врожденную любознательность он и называл двумя первыми «из основных сил, производящих прогресс» (X. 920). В жизни существовала дисгармония между «устройством» природы и потребностями человека, что выражалось в недостаточности у нее средств для удовлетворения его потребностей. Отсюда возникла «вражда между людьми». Для ликвидации этой дисгармонии потребовалось вмешательство рассудка (V. 606, 607). Под воздействием разума природа и стала постепенно подчиняться человеку. Побуждаемый врожденной любознательностью, он все более познавал ее и только благодаря этому выжил в борьбе с ее грозными силами. По мнению Чернышевского, справедливо утверждение, «что умение взять в руки камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить большее развитие умственных способностей». Он всегда считал нравственный и материальный прогресс результатом «улучшения умственных и нравственных сил». Обратим внимание на отмеченную им взаимозависимость ума, который помогает человеку улучшить свое материальное положение, и последнего, в свою очередь становящегося условием дальнейшего умственного развития (X. 441). «Всякий результат, — писал он по этому поводу, — имеет свойство становиться в свою очередь действующею силою, каждое последствие бывает причиною новых последствий» (IX. 627). Итак, чтобы жить и развиваться, человек должен мыслить, познавать, открывать. Причина улучшения положения народа в последние столетия имела, говорил он, коренным источником «развитие знаний и улучшение понятий» (IX. 628). Ум и знания обеспечат и дальнейший прогресс человечества.

Сказанное не оставляет никаких сомнений в приверженности Чернышевского не материальному, а нравственному приоритету как в развитии самого человека, так и общества. В таком случае уместно поставить вопрос: на чем основываются сторонники противоположного вывода? Обычно, ссылаясь на его согласие с Боклем, «что история движется развитием знаний», указывают на сделанное им тут же дополнение этого верного понятия «политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни». После этого делался вывод: «развитие двигалось успехами знаний, которые преимущественно обуславливались развитием трудовой жизни и средств материального существования» (X. 441). В другой раз Чернышевский сетовал, что о «ма-

териальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений и в других, высших сферах жизни, едва упоминается» в исторических трудах (III. 357). Есть у него замечания и о том, что «политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории...» (IV. 6).

Создается противоречивое представление об истинной позиции Чернышевского в суждении о приоритете нравственного или материального в развитии человечества. Однако это только кажущееся противоречие, подчеркивание лишь недооценки материального в жизни людей. И не более. Послушаем, как он сам «освобождался» от этого «противоречия». Наука, писал он, чернорабочий, однако ее трудами «живет все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенные знанием стремления человека получают характер, совместный с общим и частным благом, силы человека производят полезные действия» (IV. 5, 6). Несмотря на свое скромное положение в жизни и в истории, наука творит тихо и медленно, но «творит все: создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям... Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни» (IV. 5–6). В одной из главных своих мировоззренческих работ «О причинах падения Рима» он показал «механизм» воздействия знаний на производственную деятельность людей. Отметив, что прогресс «основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний», Чернышевский далее писал: «Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, заключал он, основная сила прогресса наука, успехи прогресса соразмерны степени

совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс результат знаний» (VII. 645).

Ум, помогая создавать материальные ценности, одновременно улучшает и материальные условия для своего развития. Как первобытный человек, проявляя любознательность, усилиями ума добывал первые крупницы познания природы и тем самым становился сильнее в борьбе за существование, так и человек развитого общества, создавая машину, значительно улучшает свой материальный быт и условия нравственного развития.

С другой стороны, недостаток знаний, например, в вопросах сельского хозяйства, по мнению Чернышевского, объяснял отставание этого производства от промышленного. Если же теперь, при «нынешнем состоянии знаний», когда механика и химия дают сельскому хозяйству необходимые средства для производства изобилия продовольствия, когда люди научились легко и быстро создавать новые породы домашних животных, прогресс земледелия совершается медленнее фабричного, то это, говорил он, происходит лишь потому, «что знания и силы людей слишком мало заняты этою задачей». Следовательно, надо, «чтобы люди сознали возможность и надобность энергически устремиться к этой цели». Сами же землевладельцы, живущие рентой, не заинтересованы в экономических улучшениях (IX. 879; VII. 266, 267).

Критическая мысль, по Чернышевскому, определяет смену и политических режимов и политических направлений. Умственная история общества, говорил он, состоит из постоянной смены, чередования умеренно-либерального, радикального и реакционного «настроений» людей. Подробнее о воздействии мысли на смену «настроений» будет рассказано несколько ниже.

Причины июньских кровавых событий 1848 г. в Париже Чернышевский объяснял господством отсталой экономической теории. «Народные массы, — читаем у него, — были взволнованы и оказалось, что нечем укротить их, кроме физической силы». Это произошло потому, «что для удовлетворения их требований нужно было энергическое вмешательство западных правительств в экономические отношения, а теория отсталой экономической школы, господствовавшая в образованных классах, не допускала этого вмешательства» (V. 592). И теперь (1859), продолжал Чернышевский, эта теория «отсталой экономической школы», представителями которой во Франции были резко критиковавшие социалистические учения Ф. Бастиа и Ж. Б. Сэ, «ведет к подавлению личности, к заменению законного порядка произвольными мерами, к превращению всей законодательной и административной силы в полицейский и военный надзор для усмирения и наказания» (V. 592). Теория, по Чернышевскому, способствует или затрудняет развитие даже поэзии. Прежде, чем ввести в поэзию жизнь, по его мнению, надо

было также «теоретически разрушить теоретические представления, сбивавшие с толку поэтов», создать «ясную теорию поэзии» (I. 151).

Обращаясь и к другим областям жизни, каждую из них он оценивал с точки зрения разумности ее устройства. Словом: «Никакая важная новость, писал он, не может утвердиться в обществе без предварительной теории... Нет ни одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без теоретического объяснения...» (VII. 45). Теория, таким образом, представляется им венцом деятельности человеческого разума и силой, предопределяющей всякое изменение в общественной жизни людей. И в то же время в каждой новой теории, а отсюда и в каждом новом шаге общественного развития, он видел не отрицание, не отвержение всего старого, но развитие их лучших, еще сохранявших свое значение сторон. В связи с этим он писал, что «в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречившие ему понятия, несообразность которых не замечались прежнею теориею» (VII. 49). Этот принцип полнее будет раскрыт при знакомстве с «теорией нарастания», о чем речь пойдет ниже.

Итак, все успехи народной жизни обуславливаются воздействием на нее ума, знаний, воплощающихся в разумных теориях, «поэтому, делал вывод Чернышевский, — только просвещенный народ может работать успешно» (V. 695). Это относится и к отдельному человеку. «Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны... три качества: обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова» (III. 311, 312). Значит, только образованные люди могут активно и сознательно участвовать в общественном прогрессе и обеспечивать его. Человек, общественное сословие, класс и в целом народ, не будучи просвещенными, остаются вне сознательного участия в истории. Этот вывод составляет одно из главнейших положений исторической концепции Чернышевского.

Роль закона в истории

Наука же, мысль руководят утверждением в обществе разумных и гуманных законов. Надобность в них диктовалась необходимостью регулировать отношения людей, нарушенные нехваткой средств, «представляемых природой для удовлетворения» их потребностей. Именно нехватка этих средств и вызвала в свое время вражду между людьми, «расстройство лежащего в человеческой природе взаимного доброжелательства»: каждый любит себя «более всего на свете» и потому прежде всего думает о себе. Но разум «предписал» устранить эту «неполную сообразность устройства природы с потребностями человека». Тогда,

«с общего согласия» и установились правила, которые определили отношения между людьми в разных сферах их деятельности. Так, в духе общественного договора Ж. Ж. Руссо, Чернышевский объяснял причины образования государства, которое, следовательно, создавалось «только для блага частных лиц», для пользы людям (V. 606). Поскольку в каждом обществе «необходимы правила для государственного устройства, для отношений между частными людьми, для ограждения тех и других правил», постепенно возникли «законы политические, гражданские и уголовные». «Дух и размеры этих законов могут быть при различных состояниях общества чрезвычайно различны: но, — говорил Чернышевский, — без законов, в том или другом духе, в том или другом размере устанавливаемых рассудком и изменяющихся сообразно с обстоятельствами, не может обойтись общество, пока существует несоразмерность между средствами удовлетворения человеческих потребностей и самими потребностями» (V. 606–607). При этом считалось необходимым иметь особые, отдельные законы для каждой сферы общественной жизни. Законы, определяющие отношения отдельных людей по их политическим правам, говорил он, неудовлетворительны для семейного быта; должны быть законы «для развития умственной жизни» (о воспитании и преподавании); о правах личности и о степени ее участия в государственной жизни; о государственных учреждениях, формах законодательства и администрации (V. 606, 607)... Поклоняясь закону и законности, поборник свободы личности, Чернышевский, кажется, хотел обусловить каждый шаг ее соответствующим правилом. Вот как он объяснял эту необходимость: безуспешность законодательных мер, вызванная тем, что правительство «еще не успело привести другие свои действия в соответствие с своею заботой о прекращении контрабанды... что оно действует не последовательно. Вот в этом обстоятельстве и заключается истинная причина безуспешности законодательных мер, которая порождает мнение, что будто бы нельзя вести общество вперед законодательными мерами, будто успешны они могут быть лишь тогда, когда принимаются лишь вследствие продолжительных требований со стороны общественного мнения, так как принимаются очень поздно» (IX. 815). Значит, роль закона — вести общество вперед, предугадывать его потребности, выступать организатором жизни. Закон — сила создающая. Изменение характера нации, писал Чернышевский, напрасно искать «в чем-нибудь другом, кроме законодательства, которое одно может произвести ее» (IV. 492).

Особое внимание уделялось рассмотрению значения закона в экономической жизни. Этот вопрос обострился полемикой, которую Чернышевский начал с представителями «отсталой экономической школы» в России: В. П. Безобразовым, Н. Х. Бунге, И. В. Вернадским и др. — специальной статьей «Экономическая деятельность и законодатель-

ство» (1859). В ней он с одинаковой решительностью выступил как против основного положения «отсталой экономической школы» о невмешательстве государства в экономическую жизнь — «Общество не имеет права налагать на нее никаких стеснений», государство не может заниматься той деятельностью, которая может быть осуществлена отдельным лицом; оно существует лишь «для ограждения безопасности частных лиц и для отвращения стеснений, которые могли бы мешать полнейшему развитию частной деятельности», так и против государственной регламентации.

В полемике, по своему обыкновению, для доказательства своей точки зрения или опровержения чужой, Чернышевский прибегал к житейским или, смотря по обстоятельствам, иным примерам. Вот и теперь, касаясь первого положения, он сослался на необходимость для мореходства составления каталога звезд. Чтобы выполнить эту работу, потребуется «много голов», но, как труд весьма специальный, он выйдет в небольшом количестве экземпляров и, таким образом, принесет «страшный недочет... Ясно, что государство обязано дать средства для этого труда». Другой пример: мальчику или страдающему умопомешательством достался дом. Родственников у них нет. Следовательно, «кто не способен оберегать свои выгоды, выгоды того должны оберегаться обществом», т. е. дом этот должен быть взят государством в опеку. И еще один пример: «каждый частный человек должен платить налоги и подвергаться пошлинам, какие установит государственная власть. Надобно ли говорить, в какую великую зависимость от государства ставится через это имущество каждого частного человека и вся его экономическая деятельность?» Так, опираясь на эти и другие примеры, Чернышевский опровергал первый тезис представителей «отсталой экономической школы» о невмешательстве государства в экономическую жизнь (V. 587, 588, 601).

Не достигает своей цели и государственная регламентация. Она, писал Чернышевский, «опутывает жизнь мелочным надзором и развивает качества, делающие нужным усиление административного контроля... она обременяет администрацию и убыточна для казны» (V. 613). Для доказательства он ссылался на правила протекционизма и кредита. Политика протекционизма проводится с целью защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции и пополнения бюджета страны. Но это ослабляет торговые связи с границей, что, как указывал Чернышевский, ведет к невыгодным последствиям для внутренней торговли, так как лишает ее «возбуждения в заграничном сбыте» и «вместо того, чтобы поднимать родную промышленность, протекционизм ослабляет и портит ее». Из-за неминуемого сокращения торговли уменьшаются таможенные доходы. Таким образом, в том и другом случаях протекционизм приводит к обратным результатам.

Более того, увеличивая расходы на усиление пограничной стражи, он увеличивает и финансовое бремя казны. Развивается и контрабанда, которая порождает склонность «обманывать правительство, потому что обман легок». С другой стороны, «частные люди вследствие таможенного надзора подвергаются стеснительным обыскам» (V. 611).

И в политике повышения процентов на кредитные займы он видел проявление тех же черт: «1. Вместо того, чтобы удерживать проценты на низкой норме, он (неразумный закон. — В. А.) поднимает ее, затрудняя сделки между людьми, ищущими денег и дающими; 2. Вводит хлопотливый надзор, обременяет полицию и судебные места делами, расходы казны возрастают; 3. Частные люди подвергаются стеснению; 4. Обман легок: нужно только приписывать проценты к капиталу; в народе развивается склонность обходить законы и обманывать правительство» (V. 612).

Эти рассуждения позволяли Чернышевскому делать вывод о необходимости и для экономических отношений, как и, других сфер общественных отношений, «положительных законов». Экономисты же «отсталой школы» лишь мешали «возникновению разумного законодательства» в этой области (V. 614); они «не заметили разницы между регламентацией, то есть нелепостью, и между законом, достойным своего имени, то есть ограждающим и развивающим свободу, которую давит регламентация» (V. 611).

Итак, для создания нормальных экономических отношений нужны «положительные законы». Их должно издавать государство, но не вообще всякое государство, а лишь разумно устроенное. Разумные законы будут вести к тому же, «что безуспешно хотела и не умела делать регламентация». Например, запретить питейным заведениям принимать в залог вещи и, полагал он, «соблазн предаваться пьянству и соединенному с ним буйству сократится», следовательно, уменьшатся хлопоты полиции и государственные расходы сократятся; эта мера найдет поддержку в народе, общий голос которого будет указывать полиции, где нарушается этот закон. «При уменьшении развратного пьянства уменьшается число поводов к буйству, воровству, беспорядкам, уменьшается число поводов к семейным неприятностям и возникающим из них делам»; предотвращаются сотни уголовных дел (V. 612, 613).

Если взять действие основного закона об акционерном обществе: «участники общества отвечают только теми деньгами, которые заплатили за акции». Если общество обанкротится, никто не будет отвечать за это остальным своим имуществом. Это правило предупреждает много неприятностей и тяжб, развивает предупредительность и рассудительность в тех людях, которые имеют дело с акционерным обществом. С другой стороны, акционеры имеют контроль над обществом. Администрация освобождена от многих лишних хлопот (V. 615).

Произвол и беспорядки, свойственные конкуренции, по мнению Чернышевского, уже «после Адама Смита» были бы прекращены, если бы этот факт общественной жизни регулировался разумным законом (V. 613). Да и в целом «система наемного труда», говорил он, получила бы свое оформление законом. «Из различных систем распределения продукта в нынешнем цивилизованном обществе владычествует система частной собственности», хотя, писал он, и возникла она не «из соображений о полезности ее для общества, а из факта владения предметом». Нарушать этот факт «нет причины и который, следовательно, нет надобности и отвергать: а впоследствии времени этот признанный факт вошел в закон» (IX. 339). В дальнейшем же, будет создана теория четвертого сословия и, следовательно, заключал Чернышевский, «если теория, созданная средним сословием, не будет перестроена сообразно потребностям нового, простонародного элемента жизни и мысли, она будет отвергнута прогрессом, уже начавшим быть во вражде с нею» (IX. 36). О том, как это произойдет на деле, будет рассказано при характеристике «теории нарастания».

Переходя от вопросов экономических к государственно-политическим, Чернышевский говорил, что история еще не знала разумного правления. Упадок Испании, думал он, связан был почти исключительно с дурным управлением. Ее история со времени Филиппа II (1556—1598) — это «плачевная история, продолжавшаяся около трехсот лет, вся передается одним словом: произвол, безграничный и вместе бессильный произвол тяготел над несчастною странюю во все течение этого долгого периода». Он истощил силы народа, в нации была утрачена привычка трудиться (IV. 233). «Невежество вот коренная язва Испании» (IV. 244). И только в современном состоянии страны он видел признаки возрождения ее, в чем убеждало его «постепенное распространение просвещения, заметное усиление умственной деятельности в нации, столь долго дремавшей» (IV. 235).

Государственное управление, будь оно при неограниченном монархе или конституционном парламенте, должно, писал Чернышевский, основываться на разумном законодательстве. Вот почему, следует заметить, российские императоры и интересовали-то его главным образом одной стороной своей деятельности — *законотворческой*. И он находил у каждого из них в этом отношении важное и разумное. «Царствования Петра III и Екатерины II, Александра I и Николая I были, писал он, ознаменованы многими благодетельными для государства мерами чрезвычайной важности: жалованная грамота дворянству, устройство областного управления, организация центрального правительства учреждением министерств и государственного совета, создание Свода законов, каждый из этих правительственных актов был великим шагом вперед и принес неисчислимые блага государству... без сомнения,

могущественным образом улучшавшие нашу государственную жизнь...» И лишь один упрек: все их благие деяния не касались, отчасти, за исключением деятельности Александра I и Николая I, корня, из которого «возникали почти все наши бедствия» — крепостного права. Что же касается Александра II, то он за рескрипты конца 1857 г. о начале подготовки крестьянской реформы был вознесен им на большую историческую высоту. В сравнении с этим его деянием, писал Чернышевский, «маловажными кажутся все реформы и улучшения, совершенные со времен Петра... одно только дело уничтожения крепостного права благославляет времена Александра II славой, высочайшей в мире... увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы» (V. 65, 69–70). «Благороднейший Иосиф II сделал только “первый шаг к освобождению своих подданных”; в Пруссии Фридриху II принадлежит честь многих законодательных мер, венцом которых было окончательное уничтожение феодальных отношений при Фридрихе-Вильгельме III. В русской истории вся эта слава будет сосредоточиваться на одной главе Александра II; его рескрипты и полагают теперь начало величайшему из внутренних преобразований и определяют постепенный ход (подчеркнуто мной. — В. А.) до самого конца» (V. 79). Чернышевский считал этот шаг Александра II «по своему величию и благотворности» сравнимым только с реформой Петра Великого. «С царствования Александра II начинается для России новый период, как с царствования Петра». Он будет так же разительно отличаться от всего предшествовавшего ему, как история страны с Петра Великого от прежних времен. «Новая жизнь, для нас теперь начинающаяся, будет, — веря в открывающуюся возможность осуществления своих общинно-социалистических идей, восторженно писал Чернышевский, — настолько же прекраснее, благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько сто пятьдесят последних лет были выше XVII столетия в России» (V. 69, 70). И, выражая надежду и пожелание, заявлял: «да свершит Александр II дело, начатое Александром I и Николаем I» (IV. 347).

Следует обратить внимание на то важное обстоятельство, что Чернышевский никогда не отзывался отрицательно об указанных им императорах. И о Павле I тоже. Во-первых, потому, что принадлежащую им власть он считал законной (династия, как известно, была избрана представителями сословий), во-вторых, глядя на их деяния, останавливал внимание лишь, с его точки зрения, на главном в них: какие меры принимали они для улучшения управления страной, а это воплощалось в издававшихся ими законах, которые считались им вехами исторического прогресса России XVIII–XIX вв. Таким образом, в законе, естественно, разумном, виделось ему не только достижение мысли, но и проявление мудрости правителей страны. Забегая вперед, позволительно поставить вопрос, мог ли общественный деятель, отмечая заслуги царей, занятых

положительным законотворчеством, требовать насильственного ниспровержения их с трона? И особенно Александра II, занятия которого освобождением крестьян он так восторженно воспел?

Количественный фактор в истории

При накоплении во всяком старом элементов нового происходят изменения и перемены. Решающее воздействие, обуславливающее их, по Чернышевскому связано количественно с воздействием большего на меньшее. Еще Плеханов заметил, что в формуле прогресса Чернышевского все «дело сводится к количеству и распространению знаний». Общее значение количества в общественной жизни Чернышевский выразил так: «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация... составляет только применение геометрических аксиом "целое больше части", "большее количество больше меньшего количества" к общественным вопросам» (VII. 286).

Так, поскольку количество земель и цивилизованных людей в Греции и Риме было ничтожно, варвары победили их массой. Теперь, говорил он, положение решительно изменилось: «Соразмерно тому, как увеличилось пространство цивилизованных земель, уменьшилось пространство земель, откуда может устремиться в них поток варварства... Если считать силу по числу рук, перевес силы уже на стороне Западной Европы», где преобладает цивилизованное большинство (VII. 668).

Для своего освобождения от власти турок балканские славяне не нуждаются в помощи: «Ведь турок в Европе только два миллиона, а славян семь или восемь миллионов... Им нужна только уверенность, что другие державы не станут мешать их освобождению: остальное все сделают они для себя сами». Западные же державы опасаются, что, освободившись от турок, славяне Балкан попадут под власть России. Значит, надо России убедить их, что она не намерена присоединять к себе Балканы. То же и об австрийских славянах. Их раза в три больше, чем немцев. Что же это за племена, если они в этих условиях «не в силах освободиться из под ига врагов...?» (VII. 838).

Чернышевский упрекал итальянских правителей в том, что они в борьбе с австрийской агрессией в 1859 г. прибегли к помощи не своего народа, а французских войск, в то время как земли Италии имели 15 миллионов человек. Ему казалось, что если бы послали против них и миллионную армию, «тысячи человек из этого миллиона не возвратятся на родину, все будут сокрушены силою народного ополчения» (VI. 370). Нам не раз еще будут встречаться подобные странные или

наивные размышления или заключения Чернышевского, но от них никуда не уйдешь, если желаешь понять этого необычного человека, который обладал высокоразвитым интеллектом и был порой беспомощным в суждениях о практических делах.

Во всякой перемене в народной жизни Чернышевский видел сумму «перемен в жизни отдельных людей, составляющих нацию» (X. 910). Суммарными величинами определялись им качества народов, их физиологическое состояние и умственное развитие. «Качество какой бы то ни было группы людей, совокупность качеств отдельных людей, из которых она состоит. Поэтому, — писал он, — знания о качествах этой группы только совокупность знаний об индивидуальных качествах людей, составляющих ее. Таким образом, наши знания о качествах народов не могут быть ничем иным, как соединением наших знаний о качествах отдельных людей, составляющих этот народ» (X. 866).

Или вот рассуждения по поводу рождения испорченными организациями испорченного потомства, вследствие чего через ряд поколений «размер результата увеличивается», так как он будет суммой порч «прежних поколений, у каждого из которых приращенная испорченность увеличивалась порчею, производимую бедствиями собственной жизни» (X. 770). Все перемены, происходящие в физическом или умственном состоянии народа есть «сумма перемен, происходящих в состоянии отдельных людей» (X. 882).

Формально-логические приемы и количественные мерки он использовал и в оценке качества труда на производстве, и качества производимого продукта. Успех производства он ставил в зависимость от произведения двух факторов: степени совершенства производительного процесса и качества труда, квалификации работника (XI. 220, 221). И т. д.

Порой, как в последнем случае, наблюдения Чернышевского верны, но, как правило, они далеко не полны, не охватывают многих других обстоятельств, влиявших, скажем, на причины, которые сначала привели к победе варваров над Римом, а затем избавили цивилизованные народы Запада от опасности нового «потока варварства» и т. п., о чем говорилось выше.

Знания, разумное законодательство и количественные изменения, по Чернышевскому, оказывают на общественную жизнь постоянное влияние. Но, помимо них, на нее время от времени действуют случайные причины, явления природы, войны, кризисы и многое другое, а в «историческую минуту» и выдающиеся личности, которые порождают характер этой минуты, но которые, однако, не диктуют времени новые идеи, а являются лишь будить массы, просвещать их и вести к осуществлению идей, сложившихся до их призыва (VI. 417; III. 183).

Теперь обратимся к теориям, объясняющим, по Чернышевскому, сам ход исторического процесса.

Теория циклов развития

Теория эта представляет собой своеобразную периодизацию Чернышевским истории человечества. В советской историографии ее обобщили и, как увидим, если не отступать от Маркса, то имели как бы на это основание. «Помогал» в этом и сам Чернышевский, так как в его работах всяк мог найти рассуждения о первобытности, рабстве, феодализме, капитализме («системе наемного труда») и социализме — полном наборе тех общественных систем, которые и составляют марксово учение о формационности исторического процесса. Однако в вопросе о периодизации истории сам он стоял на совершенно противоположных марксизму позициях, при этом оперируя понятиями не о социально-экономических формациях, а циклах развития, не схожих с формациями.

Его периодизация подчинена требованиям триады развития Шеллинга—Гегеля. «Мы, — писал Чернышевский, — не последователи Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития. Основным результатом этих открытий выражается следующею аксиомою: “По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого она отправляется”... подробнее раскрыта она Гегелем, у которого вся система состоит в проведении этого основного принципа чрез все явления мировой жизни от ее самых общих состояний до мельчайших подробностей каждой отдельной сферы бытия» (V. 363—364). Для Чернышевского особенно важной была мысль философов о том, что «высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития» и что «при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале...» (V. 368). Многими примерами из жизни минерального, растительного, животного миров и из общественной жизни Чернышевский в каждом случае показывал начало развития, среднюю его степень, или ускорение развития, и высшее развитие (V. 364—376).

Однако, заимствовав принцип, Чернышевский—социалист по-своему применил его к оценке хода исторического процесса в целом и объяснению своих представлений об экономических и политических формах общественного устройства будущего общества в частности.

Начнем с общечеловеческого процесса. Согласно принятой формулы, он расчленил его на три цикла: начало — развития первобытно-общинная эпоха, ускорение развития — греко-римская цивилизация и высший цикл развития, являющийся «по форме возвращением к первобытному началу развития», но по содержанию «безмерно богаче и выше» первоначального, т. е. первобытно-общинный коммунизм.

Нет необходимости останавливаться на характеристике Чернышевским первобытного общества и греко-римской истории. Это задача

специальной работы. Для целей книги важнее всего обратить внимание на причины, которые помешали человечеству перейти к социализму сразу после греко-римского цикла ускорения развития. Надо заметить, что объяснения эти делались не впечатлительным студентом, в голове которого после прочтения каждой исторической книги возникали и рушились представления о целых мирах истории, а человеком, находившемся в зените развития (1861), когда он обосновывал свой взгляд на историю в работе «О причинах падения Рима».

Что же, по Чернышевскому, нарушило естественный ход исторического развития? Обращая свой взор на историю Греции и Рима, он справедливо представлял их центрами общечеловеческого прогресса времени. По его схеме, они находились в состоянии ускоренного развития, цивилизовали громадную периферию и создавали базу для перехода человечества к высшему циклу развития. Потому-то конец Римской империи виделся ему не упадком, а расцветом, зарождением элементов высшего цикла истории.

Вот его доказательства. Если римский император Диоклетиан (284–305) разделил империю «на четыре префектуры» (4 тетрархии), то, по Чернышевскому, это означало, что «побежденные народы успели подняться настолько, что уже не осталось прежнего чрезмерного расстояния между ними и бывшими их завоевателями» (VII. 653). Формы управления, думал он, становились менее стеснительными и готовы были замениться лучшими: «Мы знаем, что право римского гражданства постепенно предоставлялось одной провинции за другой и, наконец, было распространено на всю Римскую империю... само правительство увидело надобность призвать выборный элемент к участию в делах. Градское и сельское управление мало-помалу было передаваемо в руки самого общества... начали появляться императорские декреты об учреждении чего-то похожего на провинциальные сеймы» (VII. 654–655). Правда, говорил Чернышевский, уступки были формальными, «но вначале ведь всегда так бывает».

Рабство, продолжал он, «довольно быстро смягчалось, заменялось крепостным состоянием, и крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав (VII. 655). Если в Афинах отмечалось им “почти исключительное преобладание чисто политического элемента: эвпатриды и демос спорят почти только из-за допущения или недопущения демоса к политическим правам”, то в Риме является уже гораздо сильнейшая примесь экономических вопросов: спор о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею для всех имеющих на нее право идет рядом с борьбой за участие в политических правах и наполняет собою всю римскую историю до самого конца республики. Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре» (VII. 31). Все это давало Чернышевскому основание заключить, что

«во всех отраслях цивилизованной жизни Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях распространялось; национальности шли к приобретению независимого существования; в управлении стал являться выборный элемент; права массы расширялись... Внутренние силы Римской республики, конечно, были в самом энергическом процветании...» (VII. 655).

Доктрина обязывала, и в процессе разложения империи Чернышевскому виделись признаки ее демократизации и процветания. По его представлению, старое не исчезает с появлением нового, а своими лучшими сторонами образует его базис. Поэтому он искренне негодовал против историков, которые говорили об истощении Рима, зарождении в нем смерти «от внутреннего изнурения». Признание же ими завоевания Рима варварами как акта, оказавшего мощное влияние на весь исторический процесс развития, совсем выводило его из себя, так как гибель Римской империи вследствие этого завоевания он сравнивал с геологической катастрофой. «Варварскими нашествиями, — говорил он, — почти все существовавшее хорошее было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад...» (VII. 655).

В такой оценке событий III–V вв. сказалось и представление Чернышевского о знаниях как решающем факторе общественного развития. Варвары же были невежественны и грубы. «По завоевании римских провинций, — продолжал Чернышевский, — каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы... эту особенность мы видим и у печенегов, и у половцев, и у татар, завоевавших Русь...» (VII. 659). Варвар, «погрязший в глубочайшем невежестве» и занимающий «середину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума», едва ли, по мнению Чернышевского, не был ближе к дикому зверю. «Какая же, спрашивал он, тут может быть польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь образованные заменятся людьми, еще не вышедшими из животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук людей сколько-нибудь развитых, переходит в руки невежд?.. Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, заменяются животными обычаями?» (VII. 646).

Из этой-то дикости, делал вывод Чернышевский, и вышел феодализм, тот особый элемент, который внесен «в жизнь цивилизованных стран варварами» (VII. 660). Казалось, делая это заявление, он становился на позиции формационности. Но не станем торопиться. Чернышевский давал феодализму свою трактовку и по-своему определял его роль

и место в истории. По его мнению, феодализм «ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему, междоусобица, подведенная под правила...» В феодализме, утверждал он, «не было решительно ничего способного к развитию... Ничего не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием для нее» (VII. 660).

Но он, однако, не мог не признать, что форма эта являлась у всех народов и в этом суть понимания им исторического места и роли феодализма «в период перехода от полнейшей дикости к низшим ступеням порядка, сколько-нибудь законного» (VII. 661). Здесь стороннику логических построений отказывала сама логика: читатель оказывается в затруднении решить, являлся ли феодализм закономерным промежутком при переходе от начала развития к циклу его ускорения, раз он был свойствен всем народам, или же это был всегда отскок истории назад, как только она подходила к началу высшего развития, что, по его мнению, и случилось в эпоху Рима III–V вв. Но другого подобного случая в истории Чернышевский не называл.

Европейский феодализм имел длительную историю, и конец его наступил с торжеством третьего сословия. В Англии это произошло в XVII в., во Франции в конце XVIII в., в целом же в континентальной Европе — в середине XVIII в. (VII. 655). В другой раз конец феодализма связывался им с заменой его в XVII в. «централизованной бюрократией» (VII. 661), которая, писал Чернышевский, «господствовала» в Римской империи в III в. Значит, заключал он, «целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами... передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости...» (VII. 661).

Поскольку, по Чернышевскому, Европа к XVII–XVIII вв. уже пережила переходный период (феодализм), в ее жизни с этого времени наступил цикл ускоренного развития, соответствовавший уровню греко-римской цивилизации. Разумеется, он не мог не отметить и новых, не свойственных Риму явлений жизни. Несомненно, писал он, «что сущность исторического развития в новом мире служит как бы повторением того самого процесса, который шел в Афинах и в Риме; только повторяется он в гораздо обширнейших размерах и имеет более глубокое содержание» (VII. 31). В появлении новых демократических институтов управления в Европе, в расширяющемся образовании, которое начинало захватывать и народные массы, ему виделись признаки, необходимые, как это было и в истории Рима, для перехода Европы к высшему циклу развития. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Изложенное дает основание (используя формационную терминологию) представить периодизацию Чернышевским исторического процесса в таком виде: **первобытно-общинный строй** (начало развития), **фе-**

одализм (переходный период), капитализм (система наемного труда — как значительно более широкое и богатое развитие, но повторявшее историю греко-римской цивилизации) его времени (цикл ускорения развития) и социализм (высший цикл развития), к которому Европа, как в свое время Рим, теперь уже вплотную и подошла. Эта видимая графическая похожесть на формационность и соблазняла некоторых исследователей (Покровский С. П. Политические и правовые взгляды Чернышевского и Добролюбова. М., 1952. С. 152; Тулин М. А. Н. Г. Чернышевский об основных этапах развития общества. Л. 1960. С. 2; и др.) причислять Чернышевского к сторонникам марксистской периодизации исторического процесса. Естественно, сама трактовка Чернышевским циклов развития не анализировалась.

Теория «расширения круга»

Эта теория позволяла Чернышевскому объяснить, как под влиянием знаний и распространением просвещения происходил процесс общественного развития, показать роль общественных сословий в истории.

Естественно, начальный цикл истории, т. е. первобытная общинность, о чем уже сказано выше, характеризовался им как царство «полнейшей дикости», но в нем сформировался тот тип общественных отношений, в котором и воплотилась идея начального развития человечества. Признаки же развития, как начало познания природы и начало «исторической жизни», отмечались им лишь в переходное время при феодализме. То было время господства «исключительно одних только феодалов и рыцарей», которые и составили первый исторический круг образованных людей. Тогда лишь «они одни распоряжались судьбою стран... не допуская других сословий ровно ни к чему». Они создавали учреждения, какие им хотелось, «воевали, судили, управляли и поживали себе, как сами думали...» (VII. 665). Высшее сословие аристократии представляло собой земельных собственников, которые приобретали богатства «посредством насилия»: обогащались войнами за счет чужих народов, а «в своей собственной стране посредством права владельца на собственных людей, населяющих его землю...» (VII. 31–32).

Сущность феодализма, возникшего, по Чернышевскому, в результате завоевания и насилия, выражалась в том, что человеку свободному (кем по-настоящему был тогда только феодал) не следовало заниматься производством, а быть лишь потребителем. Масса соотечественников и все остальные народы существовали только с целью производства предметов потребления для него, а не для себя (VII. 32). Система эта не допускала «высокого экономического развития, потому и экономическая наука была мало развита». Развитие получала лишь одна ее часть — меркантильная теория, требовавшая «брать у других, не давая

им ничего взамен», поэтому «накоплением драгоценных металлов дорожили тогда точно так же, как ныне дорожат упрочением и возвышением кредита» (VII. 32).

Феодалы захватили все, что можно было взять из произведенного трудом. «Спрашивается теперь, — писал Чернышевский, — каким же образом могли быть благоприятны прогрессу эти формы?» Они держали трудящихся в полной зависимости, ослабляли энергию труда, захватывали все больше и больше богатств, производимых трудом, а сам труд постоянно прерывали всякого рода насилием. Поэтому сельское население стало чуждо прогрессу. Лишь горожане, да и то не всегда, защищались за своими стенами, что и их отвлекало от труда. Если же в период феодализма развивались труд и знания, то вопреки ему. Столь медленное «вылезание» человечества из бездны, куда оно будто бы было низвергнуто варварами, Чернышевский и объяснял безжизненностью «порожденного» варварами феодализма, в котором, по его мнению, «не было решительно ничего способного к развитию, что он был лишь смягченной формой предшествовавшей ему полнейшей анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных учреждений, как только могла справиться с ними» (VII. 477, 660).

В этом, переходном, состоянии Чернышевский находил и Россию, которая, по его мнению, также исторической жизнью еще не жила и своим прошлым его восторгов не вызывала. Круг образованных людей в ней даже во второй половине XVIII в. был весьма узким: «Новиков, Радищев, еще, быть может, несколько человек одни только имели тогда то, что называется ныне убеждением или образом мыслей» (VII. 484). Особо выделялся им заслугами перед наукой и страной только М. В. Ломоносов; первое широкое влияние литературы и науки на общество он отмечал лишь со времени Н. М. Карамзина (II. 793).

В оценке феодализма вообще, как и российского, в частности, Чернышевский, как видим, не был справедливым. Раздражение против историков, признававших положительное значение для исторического прогресса завоевания Рима варварами и, таким образом, разрушавших принятую им периодизацию исторического процесса, мешало ему быть объективным в оценке хода истории после V в. Чернышевский впадал в явное противоречие сам с собой: если феодалы, благодаря овладению знаниями, стали передовым общественным сословием, начавшим историческое движение человечества, то как можно с этим согласиться, если при феодализме, писал он же, «не было решительно ничего способного к развитию» и что цивилизация «ничего не могла взять... из этой формы, служившей только препятствием для нее»? Далее. Признавая начало движения человечества лишь со времени феодализма, он исключал из процесса развития эпоху, как время

«полной дикости», первобытного коммунизма и, следовательно, лишал формулу Шеллинга—Гегеля ее основы и самого смысла. Противоречие это рождалось столкновением принципов нравственности и науки, которым одновременно следовал Чернышевский, но которые сам же не мог согласовать в одной и той же концепции. В данном случае в нем не уживались публицист-просветитель и обязанный объективно анализировать исторические обстоятельства ученый.

Следуя формуле: историческое движение начинается «с передовых классов общества и достигает низших слоев народа», Чернышевский писал, что с течением времени образование стало проникать в ряды третьего сословия, которое получило таким образом возможность принимать «участие в государственных правах и по своей многочисленности, конечно, ...преобладать над высшим, лишь только было допущено к разделению власти» (VII. 32). Вот так, просто получив знания, благодаря лишь количественному превосходству третье сословие отесняет от власти аристократию и начинает само «руководить историей», все переделывать в ней на свой лад. Выход на арену общественной жизни третьего сословия, по его мнению, означал огромный шаг истории вперед. Поскольку, — писал он, — это сословие «только недавно стало руководить историей... и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать... силы среднего сословия, — продолжал он, — все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент...» (VII. 618). С его торжеством он связывал и зарождение «новой экономической теории», созданной Адамом Смитом. Чернышевский относился к ней с почтением, называя ее теорией разума и прогресса. «Против средневековых учреждений разум, писал он, был для школы Адама Смита превосходным орудием...» (VII. 981).

Принцип свободного предпринимательства представлялся Чернышевскому во многих случаях «благотворным», само промышленное развитие считалось им «разумнее, нежели тенденции многих прошлых лет...» Он называл это стремление «дельным» и более всего приносящим добра. «Из него выходит и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость; из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное обращение капиталов и людей». Но, разумеется, не все в «промышленном направлении» могло удовлетворять человека, выступавшего за интересы трудящихся. Во «владычестве конкуренции», «разорительной междоусобице производителей, занимающихся одним делом» виделась ему кризисы, гибель значительной части произведенных ценностей и разорительное влияние машин «на общественное

хозяйство и на положение работников» (IV. 860, 861; VII. 34; IX. 735). Поэтому-то, делал он вывод, в дальнейшем для цивилизации и стали нужны «новые опоры».

Ими должно было стать новое четвертое сословие и соответствующая его интересам и потребностям теория. Расширяясь, круг образованности со временем повсеместно охватит и его. Чернышевский не раз подчеркивал, что масса народа «до сих пор почти вовсе еще не жила историческою жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном...» (VII. 665); она «привыкла жить рутиною, привыкла быть апатична, привыкла доверять господствующим над нею людям». Обычно она безучастна к событиям, «никогда не имеет колебимых и ясных политических убеждений; она следует впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и отдельными важными мерами». Обращаясь к современности, Чернышевский находил, что «...темная, почти немая, почти мертвая в обыкновенные времена масса не играет роли в нынешних итальянских событиях, как не играет и в большей части других политических дел Западной Европы» (VII. 155; V. 44; VI. 369). Будучи необразованной, она остается политически инертной, безынициативной, но в то же время в ней таится громадная и непреодолимая сила, пока безучастная в «стремлении к реформам». Не видя своего интереса в делах реформаторов, масса не только остается равнодушна к ним, но может охотно передаваться «в руки реакционеров, которые, по крайней мере, обещаются сохранять внешний порядок, дающий массе насущный скудный хлеб ежедневным трудом» (VI. 369, 370).

Лишь к середине XIX в., благодаря постепенному распространению образования и знаний в среде народа передовых стран Запада, этот «новый элемент, безмерно различный от прежних», стал «готовиться войти в историю» (VII. 618). Залог неотвратимости торжества масс Чернышевский видел «в неотразимости силы распространяющегося просвещения», благодаря чему народ «постепенно привыкает понимать свое человеческое достоинство, распознавать невыгодные для него вещи и учреждения от выгодных и обдумывать свои надобности» (IX. 833). Став же образованным и абсолютно превосходя численно вместе аристократию и буржуазию, народ постепенно оттеснит их от управления.

Первую попытку самостоятельного выхода на историческую арену народ, говорил Чернышевский, совершил в 1848 г. Он имел в виду движение чартистов в Англии и выступление парижских рабочих «в начавшейся вековой борьбе за социализм», т.е. за переход в высший цикл общечеловеческого развития.

Обе первые битвы народом проиграны и, по мнению Чернышевского, «выигрыш не только первый, который и сам когда-то еще будет, но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не дает окончательного торжества», потому что интересы, охраняющие старое, еще «страшно сильны» (IX. 833). Ведь и Рим не сразу был разрушен.

Далее Чернышевский показывал, как и какими средствами осуществлялся исторический прогресс, который представлялся ему просто законом «нарастания».

Теория «нарастания»

Она объясняла, так сказать, «технологию» прогресса и так же, как две предшествующие, не получила в историографии адекватного освещения. Абсолютным большинством историков и иных специалистов она просто обходилась, а если кем и затрагивалась (хотя и не как теория), то подавалась в крайне искаженном виде, чтобы придать доказательству революционности Чернышевского большую убедительность. Сам же он говорил об историческом процессе как о «чисто физической необходимости» и четко определял его как «просто закон нарастания» (VI. 12), тем самым подчеркивая свою приверженность эволюционизму.

Впрочем, дадим слово высказаться по этому поводу самому Чернышевскому. Вот стержневое положение его эволюционной поступательности хода исторического процесса: «в истории общества каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека» (VII. 49). Речь идет, что надо особенно подчеркнуть, не об **уничтожении** в последующий фазис истории **сущности** предшествующего, а о его **развитии**. Ничто в истории, говорил он, не остается без следа. Каждый исторический шаг оставляет после себя наследие. Это может быть оставленное старшими новому поколению деятелей прогресса «обычное учреждение, смягчающее своим существованием суровое действие силы наследственности и других сил, действующих заодно с нею». Они не должны разрушать его, а «заботиться о сохранении этого обычного учреждения» и даже о «его развитии»; выяснить, существуют ли «выставленные» в нем недостатки «и трудно ли их исправить» (IX. 402, 403). В данном случае идея нарастания выражалась стремлением сохранить хорошее старое, улучшить его и, таким образом, приспособить к новым потребностям людей. Или старое откроет «возможность для другого процесса, которому нельзя было бы произойти без помощи этого удобрения, и который, следовательно, принадлежит уже к высшему порядку, нежели прежний». Но, конечно, при этом не исключалось появления и новых учреждений, требуемых обстоятельствами времени, и новых идей.

Другая особенность прогресса по Чернышевскому состояла в том, что он «всегда и везде происходил очень медленно; сопровождаемая целою тучею самых неблагоприятных обстоятельств и случаев, беспрестанно прерываясь видимым господством реакции или, по крайней

мере, застоєм...» Он совершался «так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона» (VI. 11, 12). Поэтому, писал он, чтобы убедиться в неизменности прогресса, надо брать ход истории за относительно продолжительное время. В таком случае, несмотря на общий мрачный и тяжелый ход истории Франции за последние 150 лет, можно увидеть, что ее современные законы и учреждения весьма существенно и выгодно отличаются от законов и учреждений 1700 г. То же произошло и в Англии. Конечно, в истории были остановки развития, регресс или даже гибель отдельных цивилизаций, однако целое человечество, говорил он, всегда шло путем прогресса.

Та разница понятий и учреждений, на которую указывал Чернышевский в истории Франции последних 150 лет, подготавливалась постоянно и постепенно лучшими людьми **каждого** поколения страны. Находя жизнь страны своего времени тяжелой, лучшие, критически мыслящие люди данного поколения мало-помалу доводили свои мысли до сознания большинства населения и через какое-то время при стечении счастливых обстоятельств «общество полгода, год, много три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей» (VI. 12). Но эта работа, говорил Чернышевский, никогда не была вполне успешной из-за того, что уже на половине дела «истощалось усердие, изнемогала сила общества», наступал период застоя. Лучшие люди, видя далеко не осуществленными свои желания, переживали неудачу. Такое, по Чернышевскому, происходило просто вследствие естественного закона, по которому за напряжением сил следует усталость, когда стремительный порыв масс быстро сменяется обычной для них дремотой. Однако «в короткий период благородного порыва многое было переделано». Правда, делалось все спешно, некогда было думать «об изяществе новых пристроек... о subtilных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками». Построенное здание вступало в период застоя «со множеством мелких несообразностей» (VI. 12).

Пока ленивое общество занималось устранением мелких «несообразностей и некрасивостей» предшествующей работы, новые лучшие люди доказывали ему, что постройка недокончена, что старые части здания ветшают и что, следовательно, необходимо «вновь приняться за дело в широких размерах». Сначала их не хотят слушать, затем, по мере восстановления сил, становятся внимательнее к их словам и, наконец, соглашаются с «необходимостью новой перестройки» и при первом благоприятном случае, «умудренные прежним опытом», с жаром берутся за работу, но снова не довершают ее, впадают в дремоту, пробуждаются, работают. «Таков общий вид истории: ускоренное движение и вследствие его застои... но с тем вместе. И укрепление сил

для нового движения, и за новым движением новый застой и потом опять движение и такая очередь до бесконечности». Подобная точка зрения на ход прогресса, с одной стороны, говорил Чернышевский, не позволяет обольщаться «излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной исторической работы», так как за подъемом последует упадок общественных сил, но и, с другой стороны, не унывать в тяжелые периоды реакции, зная, что из нее «по необходимости возникает движение вперед, что сама реакция приготовляет и потребность, и средства для движения», что за мрачной, серой и холодной ночью последует рассвет. Исторический оптимист, Чернышевский советовал в это время с твердой уверенностью и спокойно всматриваться «в положение созвездий, считая, сколько именно часов осталось до появления зари» — новой возможности работать (VI. 13, 14). Именно в минуты исторических всплесков, кратких периодов «усиленной работы», совершалось девять десятых частей того, что составляет прогресс. Двигаясь медленно, история «все свое движение производит скачок за скачком, будто молоденький воробушек, еще не оперившийся для полета, еще не получивший крепости в ногах, так что после каждого скачка падает, бедняжка, и долго копошится, чтобы снова стать на ноги, и снова прыгнуть, — чтобы опять-таки упасть» (VI. 13). Свою образную аллерию общественной перестройки Чернышевский завершал выражением твердой уверенности в возрастании сил воробушка, который с каждым прыжком учится прыгать все лучше, а тем временем растет и крепнет «и со временем будет прыгать прекрасно»; когда же оперится, станет легко и плавно летать. Судя «по нашим временам» (1859), писал он, ей не скоро придется летать, но время это придет (VI. 13). Под воробушком здесь имелось в виду пробуждающееся к исторической жизни четвертое сословие, трудящиеся массы.

Итак, суть «усиленной работы» по Чернышевскому ясна. Теперь важно узнать, как продолжительны периоды застоя и, следовательно, как часты периоды «усиленной работы». «Чтобы, — писал он, — совершилось в обществе что-нибудь важное, новое, нужно большинству общества составиться из новых людей, силы которых не изнурены участием в прежних событиях, мысли которых сложились уже на основании достигнутого их предшественниками результата, надежды которых еще не обрезаны опытом». Чернышевский полагал, что по «простому арифметическому закону физической смены поколений» деятели предшествующего периода в среднем через 15–16 лет или вымрут, или одряхлеют и на смену им придут люди, бывшие «при начале периода юношами или детьми». Как видим, ставка в свершении исторического прогресса Чернышевским делалась на молодежь (VI. 15, 16). Она-то через **каждые** (в среднем) 15–16 лет и принималась за реализацию почему-либо сорванного их предшественниками преобразования или выходила со своими идеями. При благоприятных обстоятельствах она

могла оказать решающее влияние на ход дел через 10 лет, при неблагоприятных — через 20, при обычных же — в указанный средний срок 15–16 лет. Эта периодичность была, полагал Чернышевский, свойственна всем странам, так как подчинялась действию единого для всех психо-физиологического закона смены поколений.

Чернышевский говорил, что указанная им «периодичность замечена всеми в событиях новой французской истории, но она также видна во всех тех веках и странах, которые особенно важны были для прогресса». Как это происходило в жизни, он показывал примером из исторической жизни последних десятилетий двух передовых стран Западной Европы — Франции и Англии. Причем признаки «либерализма» он замечал и в Пруссии, Испании, Италии (VI. 14, 15), но обстоятельно описал этот процесс в истории лишь указанных двух стран. В истории Франции он брал самое важное для ее прогресса время — с 1789 по 1848 г. — и отмечал, что за эти 59 лет она «пережила четыре смены внутренней жизни: революцию, империю Наполеона I, реставрацию и Орлеанскую монархию. В эти 59 лет, продолжал он, — отжили свой век два поколения и четыре раза сменялось большинство взрослых людей. Период, соответствующий силе каждого большинства, приблизительно соответствует одному из четырех периодов государственной жизни». И далее приводил их:

«1789 г. Большая революция	11 лет
1800 г. Наполеон I	14 лет
1814 г. Бурбоны	16 лет
1830 г. Орлеанская монархия (до 1848 г.)	18 лет

4 периода государственной жизни в общей продолжительности 59 лет».

«Эти цифры, замеченные всеми, — заключал он, — служили обыкновенно только для каббалистической игры праздным острякам, не понимавшим их. Но они приобретают смысл, когда мы сообразим их связь с физическим законом смены поколений» (VI. 16).

Тот же средний срок смены поколений отмечен им в истории Англии, но взятой за время с 1815 по 1859–1860 г. Вот хронология смены поколений в Англии:

«1815 г. Окончание революционных войн	17 лет
1832 г. Парламентская реформа	14 лет
1846 г. Отмена хлебных законов (до 1859 г. или 1860 г.)	13 или 14 лет

3 периода государственной жизни в 44 или 45 лет».

«Опять, — пояснял Чернышевский, — видим тот же средний срок, около 15 лет, для смены одного характера государственной жизни

другим, срок, в который прежнее большинство общества заменяется другим большинством из нового поколения» (VI. 16, 17).

Приведенные примеры Чернышевский использовал не только для обоснования усвоенного им порядка общественной истории вообще, но и в целях объяснения переживаемого человечеством состояния в данное, ему современное время, в частности. А оно (1859) виделось ему исключительно благоприятным для начала нового периода «усиленной работы». С 1848 г. во Франции прошло 11 лет, в Англии с 1846 г. — 13 лет. Движение в Англии за реформы, шедшее под руководством Дж. Брайта, воспринималось. «Теперь все видят, что не дальше как в следующем году, а по всей вероятности, в нынешнем, совершится новая парламентская реформа, и можно уже определить продолжительность периода, доживаемого теперь Англиею, государственная жизнь которой изменится с исполнением дела, руководимого Брайтом». Действительно, Чернышевский, казалось, имел основание так думать, так как в 1859 г. в Англии был поставлен вопрос о новой парламентской реформе, но осуществлена она была только в 1867 г. Он замечал, что приближается кризис и для французских учреждений — в стране заговорили о свободе печати, независимости министров; 1859 г., как известно, был решающим в итальянском объединительном движении. Весьма важным этот год в связи с началом работы Редакционной комиссии был и в судьбе крестьянской реформы в России. Все, таким образом, говорило, что человечество вступает в новый цикл «усиленной работы». Полночь, писал Чернышевский, прошла. «Все приметы, которые были перед прошлым утром, появляются вновь, какие мы видели пятнадцать или двадцать лет тому назад» (VI. 14, 16, 26, 32).

В историографии, несмотря на четкое определение Чернышевским их периодичности в среднем через каждые 15–16 лет, моменты этой «усиленной работы» новых поколений оценивались как революции. Выражения Чернышевского, характеризовавшие это событие, «Периоды благотворного порыва», «Краткие периоды усиленной работы», «Минуты отважных» или «Героических» решений, «Скачки», «Одушевленная историческая работа», «появление зари» и т. п. считались «цензурными выражениями для обозначения революций» как «единственных серьезных двигателей прогресса» (VI. 510). Настроенная ленинским камертоном, историография в поисках революционности Чернышевского обходила сущностное, подменяя его формально-терминологическим, оторванным от контекста. Чернышевский говорит лишь о прибавлении к старому нового, замене им только отживших учреждений старого в периоды «усиленной работы»; называет этот процесс не революцией, а нарастанием; определяет его периодичность в среднем 15–16 годами, но все это не анализировалось и не подвергалось критике.

По Чернышевскому же прогресс не нуждался в средствах насилия. Чтобы старое перестало существовать, его надо «перестать поддерживать», не раз писал он. Эту мысль он подробно обосновал в работе «О причинах падения Рима», опубликованной в бурную весну 1861 г. в майском номере «Современника». «Факт, — писал он там, — существует только постоянной поддержкою от силы, которая произвела его. Чтобы он исчез, слишком много будет, если сила прямо обратится на его разрушение; довольно будет, если она перестанет поддерживать его, он сам собою падет...» (VII. 648). Например, дерево укореняется только до известной поры, затем начинает ветшеть. Чтобы оно упало, не нужно «ни бурь, ни наводнений: довольно того, что растительная сила, поддерживавшая это дерево, начинает покидать его, что свежие соки из почвы перестают с любовью втягиваться в него, устремляются к чему-нибудь другому». То же самое, говорил он, происходит и в обществе: «...общество почва, на которой вырастают формы общественной жизни; вырастают они из свежих соков этой почвы; пока они привлекают к себе эти свежие соки, они растут, укрепляются; когда свежим сокам перестало быть привлекательно устремляться в эти формы, когда они стали привлекаться к чему-нибудь другому, укоренившиеся формы, как бы глубоко ни укоренились, начинают слабеть, искореняться, и на место их возникают новые формы, с которыми потом будет то же» (VII. 648). Скажут, в обществе нет свежих сил. Есть! — отвечал Чернышевский: «...истощается отдельный человек, а не общество... количество свежих сил в обществе никогда не только исчезать, но и уменьшаться не может». В самой себе жизнь общества не имеет «конца от истощения сил; напротив, чем дальше длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для ее продолжения в формах, все совершеннейших» (VII. 648–649).

Именно поэтому он обосновывал не умирание, а пробуждение к прогрессу свежих сил в Древнем Риме. Такая точка зрения, по его мнению, приложима к объяснению «истории всех наций и всех эпох»: «...форма держится, пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная беспомощность для общества» (V. 8). Так, «чистые республиканцы» после февральской революции 1848 г. во Франции «вообразили, что слово “республика” само по себе чрезвычайно привлекательно для французской нации»; они хлопотали о форме, не заботясь об удовлетворении нужд народа, который, думали они, будет защищать форму ради самой формы. И форма, не поддержанная народом, упала (V. 7, 8).

Противник и даже враг социального насилия, Чернышевский, между тем, не представлял себе общественное развитие процессом бесконфликтным. По Ленину «от его сочинений веяло духом классовой борьбы», на деле же от них веяло борьбой идейной. Каждое новое поколение, как правило, выходило на совершенствование общественных учреждений со своей идеей, то близкой, а то и совершенно противоположной идее предшественников. Они выражали настроения разных социальных сил образованных слоев общества. Эту борьбу идей Чернышевский и показывал на примере французской истории с 1789 г.

Там с этого времени боролись три ведущие общественные силы, состоявшие из партий модернистов-либералов, радикалов-революционеров и консерваторов-реакционеров. «Умственная история общества, писал Чернышевский, — состоит в постоянной смене этих трех расположений». Собственно, борьбу ведут между собою только две из трех партий, более сильные, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уже потом разделаться между собою. Вообще-то, замечал он, борьба требует двух лагерей, так как все европейское общество «по выгодам» делится на две половины: одна, подавляющая его часть, живет своим трудом и бедствует, — другая чужим и блаженствует. Разумеется, есть люди из образованной среды, умственное и нравственное развитие которых при виде несправедливости разделения общества и распределения материальных средств заставляет испытывать мучения. Их мало, но, желая благосостояния спящей массе, они стараются растолковать ей, как она может изменить свое материальное положение и ищут в ней опоры для себя.

Они обращаются к народу, а это вызывает тревогу живущих чужим трудом консерваторов, кровно заинтересованных в сохранении существующих порядков. В этих целях консерваторы для пресечения связи реформаторов с массами прибегают к «стеснительным мерам», что превращает их «в реакционеров и обскурантов». В таких условиях реформаторы, «смотря по различию темпераментов, привязанности к своим идеям и проницательности, разделяются на две партии». Большинство их, чувствуя себя способными управлять общественными делами, стремится убедить реакционеров в общественной пользе своих идей и склонить их к проведению реформ. Другие уверены, что ни красноречие, ни правда — ничто не способно обратить консерваторов в друзей прогресса и потому призывают занять по отношению к ним позицию непримиримой вражды. Большинству это не нравится, они видят в этом главную причину восстановления реакционеров против реформ; оно начинает преследовать своих вчерашних товарищей «как людей, вредных для реформ», проповедовать «вражду против них».

Одновременно борьбу за свои интересы вели и консерваторы. Народные же массы, над которыми шла борьба партий, в зависимости

от обстоятельств, поочередно меняли свое расположение к ним. Чернышевский наблюдал четкую закономерность «в постоянной смене этих трех расположений». Вот как это происходило. «Недостатки существующего, — писал он, — вызывают критику; она сначала обращается лишь на недостатки, замеченные с первого взгляда; это пора умеренных либералов; но критическая мысль, развиваясь далее, находит, что под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат причины, на которых построен весь общественный порядок», без устранения которых нельзя устранить и второстепенных явлений. В это время «умеренно-либеральная критика переходит в радикальную; так за Монтескье явился Руссо; за Мирабо Робеспьер». Если массе отвечало требование либералов устранить видимые недостатки, то в действиях революционеров она усматривала уже стремление ликвидировать и те вещи, которыми она очень дорожила, поэтому посчитала эти действия «злодейством или безумием» и отвернулась от революционеров. Вновь на первый план выступили либералы, т. е. большинство реформаторов: «за конвентом следует директория и консульство».

Развитие мысли, породившее переход от радикализма к умеренному либерализму, заставляет общество думать, что второстепенные-то явления «неразлучны с основными причинами», но уничтожение их приведет к нежелательному подрыву и последних. Значит, пусть уж все остается без изменений. «Это период крайней реакции». Наполеон ликвидирует остатки конституционного порядка, наступает время «полного абсолютизма империи». Снова следует пора умеренного либерализма, раздаются голоса Бенжамена Констана и Лафайэта. Франция живет конституционной хартией 1814 г. Критика идет дальше. За реформацией следует июльская монархия, затем наступает февральская революция 1848 г., за ней либерализм Кавеньяка и снова реакция — «абсолютизм новой империи» Наполеона III. «Такова, — говорил в итоге своих суждений о смене трех «расположений» Чернышевский, — вечная смена господствующих настроений общественного мнения: реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм» — к революционному радикализму и т. д. (VI. 377, 378; IX. 252–254).

Как видим, в теории «нарастания» Чернышевского нет места классовой борьбе. Речь в ней идет о борьбе, но, как уже сказано, борьбе идейной, причем народные массы оказывались невосприимчивы к «настроениям» революционеров, зато благосклонно относились к реформаторам-либералам, если они добивались реформ, улучшавших материальное положение, и предпочитали, перед угрозой полной перестройки

общественных отношений революционерам и, остаться с консерваторами, при которых сохранялись и дорогие массам «вещи» их быта.

В процессе идейно-политических баталий партий масса оставалась равнодушной «к понятиям реакции, либерализма и политического революционерства», несла в себе «только недовольство чисто материальными отношениями известного порядка вещей». В силу необразованности она оставалась немой и глухой к идеям «друзей реформ в образованных сословиях», если не находила в их программах отражения своих нужд «аграрных законов и перемены в отношениях труда и капитала». Более того, либералы и революционеры, говорил Чернышевский, обыкновенно даже и «не знают о существовании таких стремлений в массе, по крайней мере, не понимают, что одни они, одни перевороты в материальных отношениях по владению землею, по зависимости труда от капитала драгоценны для массы». Поэтому-то «масса остается равнодушна к реформаторам, не видит в их деле своего дела» и предается реакционерам, «которые, по крайней мере, обещаются охранять внешний порядок, дающий массе насущный скудный хлеб ежедневным трудом...» (VI. 369, 370).

В какие-то моменты истории при смене идей и общественных настроений редко, но случалось, что победу торжествовала радикальная критика, совершалась революция. Она, как факт жизни, не обходилась Чернышевским. Когда и почему это случалось? Бывали, писал он по этому поводу, в истории такие обстоятельства, когда власть, несмотря ни на что, в критические моменты истории не хотела идти ни на какие уступки духу и требованиям времени и упорно держалась за все отжившее старое, как это было, например, с Людовиком XVI во Франции, или когда народ, как в июне 1848 г., всеми покинутый и оставленный один на один с угрозой голода, взялся за оружие (Париж). В первом случае события 1789–1795 гг. он оценивал как время «усиленной работы», которая, по его мнению, осталась незавершенной: «Французская революция... не успела совершенно искоренить во Франции старого порядка вещей: он воскрес при Наполеоне и оказался очень сильным при реставрации» (VI. 416). Восстание же парижских рабочих в июне 1848 г. произошло из-за «ошибок» правительства «умеренных республиканцев». Главная из них состояла в закрытии Национальных мастерских, которые поддерживали жизнь 150 тысячам рабочих. Правительство умеренных республиканцев, укрепив свои позиции в стране, объявило, «что государство не может содержать на свой счет огромную толпу тунеядцев». И сделало это в тот момент, когда в стране продолжался промышленный кризис и фабрики были закрыты. «Благообразие требовало бы от правительства, чтобы оно помогло фабрикам возобновить работу и распускало людей из Национальных мастерских только по мере того, как они могли бы находить себе занятие в частной

промышленности. Это не было сделано». Оно, конечно, понимало, что рабочим осталось лишь умирать от голода, поэтому предложило лишь молодым и здоровым вступать в солдаты, а остальных начало развозить из Парижа по городам страны, где также не было работы. Кроме того, был неожиданно арестован и вывезен из Парижа главный начальник мастерских Эмиль Тома, человек благородный и чрезвычайно гуманный, пользовавшийся безграничной любовью людей, находившихся под его управлением. И теперь он, защитник рабочих, исчез. «Ошибки правительства привели к неизбежной междоусобной войне», которую Чернышевский назвал обоюдно жестокой «резней». «Битва шла зверски с обеих сторон»; «Много злодейств было совершено с обеих сторон в ожесточении битвы», потому что с обеих сторон за сражающимися укрывалось много преступников, пользовавшихся бешенством сражения для насыщения своего «зверства», — писал он, но ему было непонятно, почему эти зверства со стороны правительства усилились после поражения рабочих. «Пусть прежде инсургенты заслуживали истребления как хищные звери; но следует ли теперь доканчивать их истребление, когда они убедились в неизбежности своего поражения?», — спрашивал Чернышевский, осуждая действия войск Кавеньяка (V. 24–26, 29, 31, 33).

Итак, король Франции Людовик XVI совершил ошибку, не дав хода антифеодальным реформам, и вызвал 1789 г. Как событие, вызванное неспособностью короля идти на реформы, как исторический факт, французская революция 1789 г. Чернышевским признавалась, но не одобрялась. «Люди рассудительные, люди нерасположенные защищать злоупотреблений, друзья прогресса стали думать, — писал он в 1860 г. от их имени, — что французская революция отвратительное безумство, а принципы ее ложны» (IX. 251, 252). Умеренные республиканцы, бросив на произвол судьбы своих союзников по событиям февраля 1848 г. рабочих, вызвали тем самым обоюдную «резню» в июньские дни 1848 г. Поэтому обе эти революции не были желательны для Чернышевского. Луи Наполеон, писал он, будучи президентом, «говорил против опасных мечтателей, прибегающих к оружию для изменения гражданского быта. Но ведь он говорил только против безрассудных мер, против кровавых восстаний и уличных смут, тут нет еще ничего противного народному интересу. Ведь народ испытал в июне 1848 года, что восстание обращается на погибель ему самому...» (VI. 19).

Но в истории Чернышевский отмечал революции и иного рода. К ним он относил национально-освободительные войны и борьбу за объединение разрозненных народов. В этих случаях вооруженная борьба признавалась им как неизбежная и необходимая. Так, «народным одушевлением» назвал он войну 1812 г. (VII. 882), а революционным — дело объединения Италии. Говоря об этом последнем

случае, реформист-постепеновец Чернышевский упрекал правителей Центральной Италии в том, что они «не хотели свое революционное дело вести революционным путем для того, чтобы избежать революционных сцен», стремились допустить «упрочения итальянской национальности не силами самого итальянского народа, а помощью союзов и дипломатических тонкостей» (VI. 418, 456). Раз дело их неизбежно, он советовал им действовать решительно, имея при этом в виду прежде всего обращение к народу (VI. 417).

Чернышевский с упреком писал о революционерах Италии: «если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то и не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело...» Дело революционное, а они «воображают придать ему характер законности... Кто не хочет средств, тот должен отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств. Кто не хочет волновать народ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей, тот не должен и брать на себя ведение дела, поддержкой которого может служить только одушевление массы» (VI. 417, 418). Значит, необузданная и непреодолимая сила народа нужна была только в борьбе за объединение страны или освобождение ее от ига завоевателей. В этом случае Чернышевский оправдывал возбуждение ее страстей. Нечего говорить, что, взятые вне контекста, эти суждения Чернышевского об итальянских делах абсолютизировались как его революционные нравоучения вообще.

Рассматривая вопрос о мировоззренческой квалификации Чернышевского, нельзя не обратить внимания на основные источники, ссылка на которые служила доказательством ленинской правоты в суждениях о Чернышевском как революционном демократе. Основных источников этого рода три: его дневниковые записи 1848–1853 гг., приписываемая ему прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» начала 60-х гг. и «Письма без адреса» 1862 г. Во многих же других случаях находился соответствующий смысл в его высказываниях, якобы скрытый в них эзоповским языком, или приводился прямой текст из его статей об Италии, о чем здесь только что шла речь.

О том и другом эзоповском языке и суждениях Чернышевского о делах Италии уже сказано. Разберем главные источники — дневниковые записи. В них действительно четко отражены революционные порывы юноши. Революция 1848 г. явно пробудила его интерес к политике. Он стал жадно читать французские газеты, внимательно следить за ходом событий в Париже и остро переживать перипетии общественной борьбы в нем он давал свои оценки событиям, сразу заняв при этом сторону «низших классов» и выразителей их интересов: социалистов Блана, Ледрю-Роллена, Коссидьера, Прудона и др. Его глубоко возмутил суд над первыми из них. «Эх, господа, господа, — обращался

он к обвинителям в записи 8 сентября 1848 г., — вы думаете дело в том, чтобы было слово республика да власть у вас, не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей... Они ввели в закон слово «свобода», но не в жизнь; «уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа рабы и пролетарии». Между тем, продолжал Чернышевский, Луи Блан и Ледрю-Роллен как социалисты хотели не уничтожения собственности и семьи, но лишь того, чтобы «эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех! Да победит она» (I. 110, 111). Нет, читаем далее, ничего пагубнее господства одного класса над другим. Теперь он обнаруживал в себе человека «крайней партии», «решительно партизаном социалистов и коммунистов»; он, крайний республиканец, «монтаньяр решительно» пошел дальше самого Луи Блана, героя своих политических грез (I. 111, 121).

Он весь проникнут уважением к бурлящему социальными событиями Западу и больше всего думает о Франции, Россию же, признается, уважает «весьма мало» и почти не думает о ней, так как, записывал он, она развивалась из других начал и в ней еще не было или, быть может, только начинается борьба (I. 66).

Надо заметить, что, поддаваясь влияниям то газетных публикаций, то прочитанных книг, он метался от одной убежденности к другой. Прошло всего 16 дней, и 18 сентября «красный республиканец» и «террорист», кем он считал себя тогда, уже думал, что теперь он признает диктатуру наследственного неограниченного монарха единственно возможной и лучшей формой правления. Он должен быть выше всех классов и исполнить главное свое предназначение: быть предводителем, покровителем и защитником низших классов, земледельцев и работников, так как именно они в этом больше всех нуждаются. Цель этих забот состоит в том, чтобы всеми силами содействовать действительному, реальному равенству этого сословия с высшими классами «и по развитию, и по средствам жить, и по всему». Достигнув этой цели — своего предназначения, просвещенная монархия сочтет свою историческую миссию исполненной и, «сопровождаемая благословением человечества», сойдет с исторической сцены, а правление перейдет «в руки самого низшего и многочисленного класса земледельцы + поденщики + рабочие, так, чтоб мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей» (I. 355, 356). Но тут же он замечал, что если монархия не поймет своего временного бытия и «захочет пережить свое время», то она падет с кровью и проклятием. Впрочем, оговаривался он, впереди

еще очень много времени, «потому что не в один век пересоздать общественные отношения и общественные понятия и привычки и ввести рай на земле» (I. 121, 122).

Или еще один подобный факт. Вот он записал, что для торжества своих убеждений в идеи «свободы, равенства, братства не подорожит и жизнью», согласен не увидеть «дня торжества и царства их». И тут же оговаривался: «если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют» (I. 66, 104, 193, 194). В другой момент, поддаваясь очарованию речей, мыслей и поведения Луи Блана, писал: «Что за сила, что за последовательность мысли и слова в этом человеке! И как он одушевлен своими убеждениями!.. И как он предан своим идеям и верит в их могущество и право и святость, и в то, что победят они и победят сами собою, как всегда правда и право должны торжествовать». И заключал, что против них ничто не устоит и потому-то «они не нуждаются в насилии, в интригах» (I. 107, 108).

В студенческие годы был у него старший товарищ, наставник, неоспоримый авторитет — Лобадовский Василий Петрович. 3 августа 1848 г. он стал говорить Чернышевскому о скорой революции в России и о своем желании возглавить ее. Революция эта должна быть крестьянской, как пугачевская. Чернышевский об этом записал: «Пугачев, говорю я, доказательство; но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны». «Нет, — говорит он, — они разбивали линейные войска, более чем они многочисленные» (I. 67).

О том, что Чернышевский и в конце 1848 г. был далек от веры в революционную готовность России, свидетельствует его декабрьская встреча с петрашевцем А. В. Ханыковым. Он тоже стал говорить ему о близости революции, ее признаках, возмущениях раскольников, недовольстве большинства служащих. Поэтому ее «не должно дожидаться». Чернышевский был этим сильно озадачен: выходит, он многого не замечал или не хотел замечать, «потому что смотрел с другой точки», а тут, оказывается, твердая почва, на которой он до сих пор стоял «и в неколебимость которой верил, вдруг, видим мы, волнуется как вода» (I. 196).

В записях 1848 г. отразилась еще одна черта натуры Чернышевского, которая, однако, литературой постоянно обходилась — его непомерное самомнение. В это время он работал над машиной «для произведения вечного непрерывного движения» и чувствовал себя одним из тех, кому «суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть человечество по дороге несколько иной». Ему даже казалось, что эта роль в истории человечества ему предназначена свыше, и он является перед людьми как одно «из величайших орудий Бога для сотворения блага человечеству». Он надеялся, что машина поможет ему «переворотить свет» и поставит его «величайшим из благодетелей человека

в материальном отношении», после чего «начнется и для него жизнь как бы в раю», он перейдет к решению следующей своей задачи нравственной и умственной. «Я построю мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (I. 127, 128, 253).

С попыткой изобретения вечного двигателя он, очевидно, покончил в начале 1853 г. 9 января он записал в дневнике: «...решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук, ту рукопись, которую некогда представлял Ленцу и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты...» (I. 408). Однако особое мнение о себе сохранил.

5 октября 1862 г. он сообщил жене, что теперь окончательно обдумал планы тех трудов, о которых давно мечтал. Он начнет с многотомной «Истории материальной и умственной жизни человечества», которая еще никем не была создана, а «работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении». Затем на основании ее напишет, тоже многотомный, «Критический словарь идей и фактов». Оба этих труда дадут материал для 2–3-х томной «Энциклопедии знания и жизни» с расчетом на широкого читателя, но и ее он переработает «в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов». И все это будет назначено «не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира». Воображение, как в юности, вновь разыгралось, и он далее писал: «Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (XIV. 456). Эти воспаленные раздумья о себе еще больше подогревались условиями сибирской неволи. 27 апреля 1876 г. он писал из Виллюйска сыновьям, что считает себя ветераном «между нынешними учеными»; они перед ним «новобранцы, неопытные рекруты...» (XIV. 650, 651). И в следующем, 1877 г., с полной откровенностью и, пожалуй, справедливо, писал им, что как писатель-стилист он «до крайности плохой. Из сотен плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель» (XV. 20). В 1888 г. журнал «Русская мысль» опубликовал его статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь». В переписке по поводу нее с редактором журнала В. А. Гольцевым он счел нужным заявить, что, не видя в России людей, которые могли бы быть компетентными судьями его ученых мнений, он пишет для Европы и только потому теперь печатается дома, что не имеет пока возможности делать это там. «Я считаю себя имеющим силу содействовать переработке некоторых

отделов науки... С досады Вы, вероятно, скажете, "какой же надменный наглец". Нужды нет...» (XV. 738, 739). Патология? Нет. Это своеобразие проявления натуры, обладающей громадным, но далеко не реализованным запасом умственных сил. Кроме того, в переписке было задето его самолюбие.

К рассказанному выше можно отнести по-разному, но если приглядеться к Чернышевскому повнимательнее, то жизнь его предстанет в двух ипостасях: одна — реализованная, другая — не востребованная и как бы навсегда оставшаяся в запасе. Первая, прожитая, пронеслась стремительно и довольно бурно. Родному «Современнику» целиком отдавались труд и время публициста. А время это было историческим, эпохальным — разрешался самый главный для Чернышевского крестьянский вопрос, — от первых царских слов о реформе до ее провозглашения и ближайших последствий (1856—1863 гг.). В борьбе за нее было его служение народу, делу прогресса Родины. Другой жизни в этой борьбе места не было, а между тем он хотел посвятить ее служению человечеству. Она таилась в нем, ждала своего часа, а когда он, волею судьбы, казалось, пришел, у него уже не было возможности отдалить ее с той же энергией, как это было в первой. Содержание второй — наука. Год за годом — а это были лучшие годы, — занятые первой, отнимали у второй все больше и больше возможностей реализоваться. Ее база, хотя и созданная из довольно обширных и разнообразных, но хаотически приобретенных знаний с каждым прожитым годом устаревала. Вскоре волею властей он был оторван от журнала. В его тюремной камере стали собираться книги, позже и в Виллюйске у него тоже была небольшая библиотека. Судя по переписке оттуда с сыновьями, он в Сибири жил разнообразными научными интересами — от истории и философии до педагогики и лингвистики в науках нравственных и от математики и химии до биологии и климатологии — в естественных. Этот разброс интересов, стремление охватить всю необъятность накопленных человечеством знаний отразил и его силу и слабость. Веру во всетворящую науку он переносил на себя, подменяя ее в себе верой в способность личного, условно говоря, всетворения. «Я, — писал он жене 25 января 1875 г. из Виллюйска, — был литератором. Так. И не имел досуга писать как ученый. Но более чем публицист, я ученый» (XIV. 584). Но ничего не получалось, и он, находя в себе силы для этого, признавался, что отстал. В Сибири научная мечтательность была окончательно «обесточена», но он отчаянно бился за то, чтобы вернуться к жизни реальной с помощью литературного творчества — романы, повести, пьесы с неимоверной быстротой рождались в его голове, переносились на бумагу и почти сразу погибали в огне, чтобы дать простор новому и новому писательскому рвению. Немного из того, что сохранилось от его литературных занятий, говорит об увядании и этих сил. Роман «Что делать?»

60-х гг., как известно, не блистающий художественными достоинствами, несравненно выше, чем роман «Отблески сияния» конца 70-х гг.

В. Г. Короленко, посетивший Чернышевского в Саратове за два месяца до его смерти, увидел в нем человека, вернувшегося из глубины 50-х — начала 60-х гг. «Беда, — писал Короленко, — состоит не в том, что он изменился. Нет, дело, наоборот, в том, что он остался прежним, с прежними приемами мысли, с прежней верой в один только всеустроительный разум, с прежним “пренебрежением к авторитетам”, тогда как мы пережили за это время целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале». Хотя казематы и обломали крылья его веры, его разговор, продолжал Короленко, «обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь; уже не поддавался его приемам» (Воспоминания о Чернышевском // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. II. Саратов, 1959. С. 300, 312).

Однако вернемся к дням юности. Продолжая в 1849 г. следить за событиями в Европе и желая победы революции, Чернышевский в то же время все чаще стал обращаться к делам российским. Этому способствовало направление Николаем I в 1849 г. войск в Австро-Венгрию для подавления венгерского восстания. После бесед с Ханыковым он записал, что думает о хилости российского правительства и возможности в России революции, о чем теперь и сам стал заводить разговор. В записи о петрашевцах читаем, что он «никогда не усомнился бы вмешаться в общество и со временем, конечно, вмешался бы» (I. 274).

11 июля 1849 г. он впервые высказался по поводу своей программы действий в России. Вот что сделал бы он сам, если бы власть оказалась в его руках: «тотчас, — писал он, — провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политического права женщинам». Это часть того, что позже войдет в его общественный идеал. По поводу мыслей, которые волновали его в данный момент, он многозначительно писал: «...машина, переворот... через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайне левой стороны, нечто вроде Луи Блана... надежды вообще: уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды, все будут жить по крайней мере как теперь живут люди, получающие в год 15–20 000 р. дохода, и это будет осуществлено через мои машины» (I. 297, 298).

В год окончания университета (1850) Чернышевский вспомнил свою запись от 18 сентября 1848 г. по поводу миссии просвещенной монархии. Тогда он считал, что абсолютизм должен был продержаться «нас

в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа», когда начнется «правление народное». Теперь же он стал думать совершенно иначе. Абсолютная монархия стала представляться ему «как завершение аристократической иерархии, душой и телом принадлежащей к ней». Она — вершина конуса аристократии, и если ее убрать, положение низших классов все равно останется бедственным. Поэтому он говорил самодержавию: «погибни, чем скорее, тем лучше». Правда, народ еще не готов вступать в свои права, но и хорошо, так как «во время борьбы он скорее подготовится... Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба». Вот, оказывается, и классовая борьба налицо! Массы осознают, что есть «другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены». Пока же, с горечью замечал Чернышевский, они считают самодержца «своим защитником, считают святым» (I. 355, 356).

Продолжая большую январскую запись, он еще раз определил свои мысли о России: «...неодолимое желание близкой революции и жажда ее, хотя я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. что нужды? ...мирное тихое развитие невозможно». Пусть с ним будут конвульсии. Человечество никогда не шло прямо и ровно.

Цитированная запись обширна и противоречива. Создается впечатление, что Чернышевский за это время переживал смену мыслей и впечатлений, что, несомненно, свидетельствовало о крайней неустойчивости его формировавшегося мировоззрения. Вот далее тогда же он записал: став «не то черным, не то красным», определенно не знает, к «какой именно партии социалистов» принадлежит. Не надеется на исполнение социалистами и «сотой доли того», чего желает большинство их, хотя верит, что торжество этой партии «доставит более блага низшим классам, двинет человечество более вперед, чем я думаю, принесет гораздо менее бедствий при своем введении, т. е. кровопролитий, войн, бунтов и террора...» (I. 357). Он то всей душой предан идеалам социализма, то сомневается в его догматах, то, наконец, заявляет о готовности идти дальше, «чем идут большая часть этих господ» (I. 357, 358).

Но как бы там ни было, порой он испытывал такое «состояние духа», когда решался на практические действия теперь же. Взяв 20 февраля 1850 г. извозчика, он завел с ним разговор о положении его как крепостного, и развивал мысль о том, как бы они, крепостные, могли освободиться. Возвращаясь, с другим говорил смелее: свободы «добром нельзя дожидаться, надо требовать ее силой» (I. 362).

Дальше — больше. 15 мая он уже задумался о «тайном печатном станке». На этот раз, сев в почтовую карету, размышлявший, представил себе, что теперешнее положение общества сохранилось, а он живет уже в отдельной квартире, имеет деньги и приступает к исполнению своих

планов: «напечатать манифест, в котором провозгласит свободу крестьян, освобождение от рекрутчины», сокращение вполтину налогов. Разумеется, манифест мыслился от имени царя. Сначала Чернышевский думал рассылать его в пакетах Синода во все консистории, потом «придумал» послать его и губернаторам, но в отдаленные от Петербурга губернии, чтобы дворяне не узнали о нем раньше времени и не подняли бунт против царя. Тогда, думал он, произойдет «ужаснейшее волнение», власти подавят его, но это «разовьет-таки и так расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удержать его и даст широкую опору всем восстаниям».

Мысли эти так распалили юношу, что он почувствовал в себе силу решимости пойти на бой и не жалеть себя, если станет погибать. Сойдя же с кареты, стал думать, что в окончательном результате ложь всегда приносит вред. Было решено написать «воззвание к восстанию... демагогическим языком описать положение», разъяснить, что крестьяне не могут освободиться, не прибегая к силе. Эти мысли придали ему еще большую решимость «на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные». Все эти перемены в нем произошли, как он заметил, «в 8-м часу вечера 15 мая 1850 года» (I. 372, 373). В той же записи Чернышевский признавался: «Да и теперь чувствую себя не просто как за несколько часов перед тем, питающим различные нахватанные из газет мнения», которые располагали его к социализму и делали врагом застоя и угнетения. Одним словом, в горячих уме и сердце рождалось много добрых чувств и устремлений, но столько же противоречий, неустоявшегося, бродившего, просто мальчишеского. И вряд ли стоило бы обо всем этом писать, если бы студенческие дневниковые записи не служили весьма широко используемым в историографии источником для доказательства революционности и зрелого Чернышевского.

Чтобы начатое довести до конца, следует заглянуть и в дневник молодого учителя гимназии. Главные темы записей в нем — его разговоры с учениками гимназии и вопрос о женитбе на Ольге Сократовне Васильевой. Все это передается через пересказ свиданий с ней. Он говорил ей, что образ его мыслей к добру не приведет, рано или поздно он попадетсЯ. Отсюда вывод — ему нельзя связывать ничьей судьбы со своей. Шел 1853 год. Она его невеста, его идеал, он собирается на ней жениться и, как человек порядочный, считает своим долгом полностью раскрыть себя перед ней и предостеречь ее от ошибочного шага.

Познакомимся с записями, окончание которых будет иметь неожиданное и весьма важное значение для понимания своеобразия натуры их автора. 21 февраля. В этот день он говорил невесте, что с его стороны было бы низостью и подлостью жениться, так как он с минуты на минуту ждет, что за ним «явятся жандармы» и отвезут его в крепость. «Я, — продолжал он, имея в виду свои разговоры с гимназистами, —

делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгой... Кроме того, у нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем... Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного круга, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар». Он не мог назвать лишь точного срока, когда это произойдет: «может быть, лет через десять, но я думаю, скорее». И когда дело начнется, его не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. «Вот видите, — говорил он, — что я не могу соединить ни чьей участи со своей». И далее писал, что она слушала все это без внимания. Вот видите, замечал он ей, вам уже сейчас скучно слушать «подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы», так как он не может перемениться и говорить о чем-нибудь другом. Он ожесточен всем, что видит вокруг себя (I. 414—419).

Но вот заключительная и последняя запись — 31 марта. Та же тема разговора при новом свидании, те же слова о неведении, сколько времени ему еще осталось быть на свободе. При аресте у него ничего не найдут, а при допросе он будет молчать, но ему все это может надоесть и тогда он выскажет свои мнения прямо и резко, после чего из крепости ему уже не выйти. «Видите, я не могу жениться». Говорил так, будто его принуждали на ней жениться, тогда как, о чем уже было сказано, он сам страстно желал этого. Она после таких его слов не поднималась и не уходила, видимо, уже хорошо знала его манеру поведения. И правда, тут же услышала от него: если родители не позволят ему жениться на ней, он покончит с собой. Честный и благородный влюбленный юноша сам создает ситуацию заколдованного круга: жениться нельзя, а без женитьбы и жизнь ему не нужна.

Однако сам же он и разрывает этот круг, делая при этом чрезвычайно важное заявление, которое не попадало в книги о нем. Предельно драматизировав во время этого разговора положение, вдруг сказал: «...мне должно жениться, чтоб стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою. Иначе почему знать? Разве я не рискну? Должна быть какая-то защита против демократического, против революционного направления, и этою защитой ничто не может быть, кроме мысли о жене» (I. 466). За сим сыграли свадьбу и с юношеским революционаризмом было покончено навсегда. Идеалы социализма, демократии, просвещения и служения народу, сложившиеся в годы юности, остались и получили вполне осознанное развитие, но уже в ином, реформистско-демократическом направлении, в духе теории «нарастания».

Прокламацию «Барским крестьянам...», появившуюся, как установлено, в начале 60-х гг., когда Чернышевский прочно держался только что указанных принципов, с которыми совершенно несовместима эта прокламация, можно было бы и не обсуждать. Однако Чернышевский привязан к эпохе крестьянской реформы как революционный демократ, глава революционно-демократического лагеря, а рубеж 50–60-х гг. трактуется по Ленину как состояние революционной ситуации в России. Узел стянут туго. Чтобы его развязать, надо писать книгу. Пока же здесь можно в самом кратком виде сопоставить то основное, что содержится в ленинской оценке эпохи с фактами этой эпохи, чтобы у читателя не осталось сомнений в явном противоречии одного другому.

Хотя ленинская формула революционной ситуации хрестоматийно известна многим поколениям наших граждан, тем не менее для ответа на поставленный вопрос ее вновь придется повторить. В 1915 г. он указал три «главных» ее признака: «1) невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство... 2) обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов 3) значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс... в бурные времена привлекаемых ...к самостоятельному историческому выступлению» (ПСС. Т. 26. С. 218). Кроме этих объективных причин, для перерастания революционной ситуации в революцию нужны еще, писал он, и субъективные — способность революционного класса на достаточно сильные «революционные массовые действия... чтобы сломить (или надломить) старое правительство...» (Там же. С. 219).

Ясно, что революционных классов (ими — по Ленину — в данном случае могли быть буржуазия или пролетариат) тогда в России не было и, следовательно, вопрос о возможности революции отпадает сам собой. Но бесспорны два первых обстоятельства: Александр II, не отличавшийся «левизной» взглядов, буржуазностью мировоззрения, тем не менее, после широких движений крестьян в связи с объявленными Николаем I наборами в морское (1854) и сухопутное (1855) ополчения, сопровождавшееся боями с выставленными на заслон правительственными войсками, понял, что лучше начать освобождение крестьян сверху, чем ожидать этого события снизу. После изнурительной Крымской войны народ, безусловно, стал жить хуже. Что же касается главного, чего боялся царь, и что считал возможным Ленин — восстания крестьян, то на этот вопрос авторитетные современники смотрели иначе.

Прежде всего дадим слово самому Чернышевскому. Он говорил о напряженном ожидании крестьянами воли. «Появились высочайшие рескрипты. Давно уже, писал он в 1859 г. (когда, по Ленину, сложилась в стране “революционная ситуация” и когда, следовательно, массы решили “к самостоятельному историческому выступлению”. — В. А.), носился в массах глухой говор о приближении такого решения. Тревожное

ожидание было возбуждено до чрезвычайной степени» (V. 712). А далее он тут же продолжал: «Как же держат себя мужики, волнения между которыми опасались? Они держат себя так спокойно, как никогда еще не держали. Вот уже два года ждут они так терпеливо, так благоразумно, что дай Бог самым образованным людям с самыми мягкими нравами выказать столь рассудительности и терпеливости. Число беспорядков и преступлений, возникающих из крепостного права, в последнее два года было несравненно меньше, нежели в предшествовавшие годы» (V. 712). В том же году писал и Герцен: «...взгляните на тихий океан крестьянского мира, ожидающего в величайшем покое уничтожения позорного рабства. Как были бы рады плантаторы-помещики, если б они могли вызвать бурю!» (Собр. соч.: В 30 т. Т. XIV. С. 197). А министр внутренних дел С. С. Ланской в ответ на запугивание царя «помещиками-плантаторами» угрозой крестьянского восстания стал еженедельно представлять ему по этому поводу успокаивающие сводки (См.: Русская старина. 1822. Т. XXXIV. № 4–6. С. 134, 135, 139; 1881. Т. XXX. № 3–4. С. 753).

Чернышевский не видел даже причины для роста «числа беспорядков и преступлений, возникающих из крепостного права». В 1858 г. он писал, что «вообще помещики до сих пор устраивали свои дела с крестьянами в духе взаимного доброжелательства... обе стороны, вообще говоря, проникнуты возможною приязнью...». Он был убежден, что «чрезвычайно многие помещики считаются у крестьян хорошими и добрыми помещиками и пользуются их любовью. Едва ли не должно сказать, что в большей части великорусских губерний большинство помещиков и крепостных крестьян находится в подобных приятных отношениях...» (V. 186, 200).

Более того, сначала он признавал за помещиками права на ведущую роль в проведении крестьянской реформы. Располагая «несравненно большим благосостоянием, нежели всякое другое сословие, взятое в массу», «сословие помещиков обладает у нас, по отношению к удобствам нравственного развития, столькими средствами, недостающими другим сословиям, что можно предположить в сословии помещиков большую пропорцию людей, замечательных по особенной развитости ума и чувства, нежели во многих других сословиях». Указывалось и на несение ими государственной службы, тоже способствовавшей их умственному и нравственному развитию: «...все важные общественные должности заняты людьми из этого сословия; известно, что занятие важными общественными делами есть наилучшая школа для развития в человеке истинно человеческих достоинств». Поэтому-то, продолжал он, в «сословии помещиков пропорция людей, достигших высокого нравственного и умственного развития, более значительна, нежели во многих других сословиях...»; «в дворянском сословии находилось и находится очень много людей, заслуживающих

признательность патриота своими заслугами делу общественной жизни вообще... нельзя забывать того, что из людей, наиболее заботившихся об уничтожении крепостного права, большая часть принадлежала и принадлежит сословию помещиков. Почти все дельные проекты об уничтожении крепостной зависимости, предшествовавшие административным мерам, были составлены людьми из сословия помещиков» (V. 148, 149).

Все это — едва ли не гимн сословию помещиков и столь далеко от «веяния духом классовой борьбы», что исследователю, проникнутому и теперь еще этим духом, чуть ли не покажется сумбуром, наваждением. Между тем все так естественно для Чернышевского, если вспомнить, что в России, где еще господствовали феодальные отношения, как и во всемирной истории, образованной и, следовательно, способной на разумную деятельность была одна аристократия, т. е. сословие помещиков.

Отсутствие одного из основных показателей уже исключало наличие революционной ситуации и по Ленину. Крестьянство в эпоху реформы не проявило той активности, которая давала бы основание говорить о переходе его «к самостоятельному историческому выступлению». И тем не менее и «верхи», и «низы», либеральная и демократическая интеллигенция (западники, славянофилы и демократы-просветители) — все понимали, что страна подошла к рубежу, за которым уже не виделось света. Сложилась не революционная — раз не было ни революционных классов (буржуазии и пролетариата), и революционного движения, а историческая ситуация, характерная осознанием нации в целом изжития ею всех старых основ бытия и необходимости, в зависимости от социальных запросов и общественного сознания тех или иных слоев населения — или полной замены их новыми, или принятия таких консервативных мер, которые помогли бы приспособить и упрочить положение самодержавия и крепостников в сложившихся условиях жизни. Со смертью Николая I, казалось, поднялись все шлагбаумы для свободного въезда и выезда, во всяком случае, ожили надежды на общественные перемены. Общество, стянутое железным обручем дисциплины и онемевшее от безгласия, вдруг заговорило. «Тогда на другой день после похорон Николая все, — писал Герцен, — увлеклось, все ожило надеждами, все смотрело с упованием вперед» (Голоса из России. Кн. 2. Лондон, 1856. С. 3).

Появилась, по выражению Герцена, «письменная литература, которая развилась с необыкновенной силой во время последней войны и после смерти Николая I. Это первые опыты, еще робкие и непривычные, русской речи о русском общественном деле, являющиеся после тридцатилетнего молчания» (Там же. Кн. 1. С. 6). Масса этой «литературы» с 1855 г. стала появляться у Герцена, который с 1856 г. и начал публиковать ее в специальных сборниках под названием «Голоса

из России», чтобы, как он писал, потом можно было судить о «вопросах, занимавших тогда и теперь умы» (Там же).

Герцен издал 9 книг «Голосов», здесь придется ограничиться лишь несколькими примерами, наиболее характерно отражающими «общественное мнение России» того времени. Это будут взгляды в прошлое и в будущее. Публикации открывались «Письмом к издателю» двух выдающихся представителей российского либерализма К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина. Кавелин, которому принадлежит первая ее часть, писал: «...сорок лет у нас пренебрегали мыслью, и какой же тому результат?.. Россия померкла извне, замерла физически и нравственно внутри. Если правительство вздумает продолжать идти по тому-же пути... оно загубит страну, иссушив все ее живые соки, и положение наше, внутри и вне, будет еще мрачнее, еще достойнее слез, чем теперь» (Там же. С. 18–19). Эту характеристику можно дополнить высказыванием тогда либеральничавшего К. П. Победоносцева, которому казалось, что «как бы ни были благодетельны намерения нового царя нашего, потребна геркулесова ловкость и сила, чтобы очистить весь сор, копившийся у нас в течение 30 лет». Нужны, продолжал он, «люди способные, а могут ли они явиться покуда господствует еще во всей силе застарелый судебный формализм, покуда в служебных отношениях живая идея не заменила еще безжизненного обряда и мертвой буквы?» Истина не может пробиться к престолу, так как он плотно окружен старыми николаевскими советниками; состояние управления страной представлялась ему организованной анархией (Там же. Кн. 7. С. 10, 11).

Иной тон настроений более ярко выражен Чичериным и Н. А. Мельгуновым. «У нас, — писал Чичерин, — теперь все пришло в движение; все что есть порядочного в обществе устремило взоры и внимание на исправление внутренней нашей порчи, на улучшение законов, на искоренение злоупотреблений. Мы думаем об этом, как бы освободить крестьян без потрясения всего общественного организма, мы мечтаем о введении свободы совести в государстве, об отменении или по крайней мере об ослаблении цензуры» (Там же. Кн. 1. С. 21–22). Писатель и критик Мельгунов, негодуя против губительного застоя, в котором долго пребывала страна, призывал проснуться для полезной деятельности и был уверен, что без гласности пробуждение в обществе не наступит. Поэтому восклицал: «Да озарится Россия светом гласности, да не укроются от нее и злые и добрые дела! Одна гласность в силах оградить нас от беззаконий правосудия, отженить от нашего языка лесть, ложь и лицемерие, поднять нас и облагородить... Простору нам, простору! Того только и жаждем мы, все мы, от крестьянина до вельможи, как иссохшая земля жаждет живительного дождя. Мы все простираем руки к престолу и молим: простору нам, державный царь! Наши члены онемели; мы отвыкли дышать свободно». Он обращался ко всем «братьям

по родине» и особенно к молодым людям с призывом пуще всего «избегать опрометчивости, несбыточных желаний и целей, всего, что при неверной пользе, могло б нанести нам всем несомненный вред. Время радикализма, кажется, прошло даже для западной Европы. У нас же ему не следует и возникать; ибо у нас всякое начинание истекает сверху» (Там же. Кн. 2. С. 145, 148–149).

Этим голосам либералов энергично вторили голоса демократов. Уже 10 марта 1855 г. на страницах «Полярной звезды» появилось первое письмо Герцена к только что вступившему на престол Александру II. «Неисправимый социалист», как он себя называл, писал «самодержавному императору», что он «готов ждать, стереться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что вы что-нибудь сделаете для России... дайте свободу русскому слову... Дайте землю крестьянам... смойте с России позорное пятно крепостного состояния... На первый случай нам и этого довольно» (XII. 273, 274). Чернышевский 22 февраля 1855 г., сообщая родным о кончине Николая I, писал: «Все ждут добра для России от прекрасного сердца нового ея государя» (XIV. 239). Даже строгий Н. А. Добролюбов поддался тогда общему настроению, о чем в 1861 г. писал: «Мы все, как известно, лет пять тому назад воспрянули от сна; и я тогда воспрянул... Мы все тогда думали, что города можем брать, людей и самый климат переделывать... А уж о говоренье нечего и говорить... То была моя весна...» Нас, продолжал он, «расшевелила война» и мы обратили внимание «на свой домашний и общественный быт и догадались, что нам кое-чего недостает» и принялись раскрывать «наши общественные раны», показывать «недостатки во всех возможных отношениях». Заговорили о путях и средствах сообщения, о свободной торговле и запретительной системе, экономическом положении народа, свободном труде, важности воспитания и злоупотреблениях бюрократии. Все ждали славных дел до сих пор сидевшего сиднем Ильи Муромца, «были в напряженном ожидании чего-то великого, необычайного» (Собр. соч.: В 9 т. М.—Л., 1961–1964. Т. 7. С. 166; Т. 2. С. 120–121, 123).

Общественное возбуждение этого времени своими корнями уходило в массы крестьянства и питалось его настроением и, таким образом, без знания его не может быть в полной мере понято и оценено. А настроение это можно выразить кратко — повсеместное ожидание воли. Оно особенно обострилось с восшествием на престол Александра II. Все ждали, что воля будет объявлена новым царем при коронации. Вышедший 31 декабря 1856 г. указ «О порядке записей при увольнении помещиками крестьян в звание государственных» и явившийся как бы инструкцией по выполнению указа Николая I об «обязанных крестьянах» от 2 апреля 1842 г., был воспринят народом как провозглашение воли, раскупался отходниками в сенатской лавке Петербурга и рассылался в родные

деревни. Ждали волю к новому, 1857 году. В. А. Федоров, рассказывая о предреформенных настроениях крестьян, привел очень интересный документ, как бы суммированно выражавший настроение крестьян и помещиков той поры. Речь идет о донесении жандармского офицера из Ярославской губернии: «Умы, — писал он 25 ноября 1857 г., — в Ярославской губернии, как между дворянством, так и крестьянами, несколько в напряженном состоянии. У последних одна господствующая мысль, одно тревожное желание, эта мысль безотчетная свобода, право оставить своих помещиков и навсегда освободиться от всех обязанностей, до сего времени исполняемых; первые же [боятся] значительных беспорядков и нарушения общественного спокойствия» и, естественно, требовали от правительства мер «к пресечению волнения умов крестьян, домогающихся всеми средствами свободы» (Освободительное движение в России. Саратов, 1975. Вып. 5. С. 6).

Исследования экономистов обнаружили глубочайший кризис крепостной системы, который начался в последней трети XVIII в., а в первой половине XIX в. выражался в распаде этой системы, пришедшей в полное противоречие с формирующимися новыми буржуазными отношениями. В самом деле, растущему в стране частнокапиталистическому производству нужны были свободные руки рабочих, а приходилось пользоваться трудом временно отпушенного крепостного крестьянина (отходника). Это обстоятельство двояко тормозило рост нового производства. Из-за временного притока рабочих рук (в основном, помещики отпускали крестьян с осени после уборки хлебов до весны, когда они должны были возвращаться на посев) фабрики могли работать только сезонно. Никем еще, сколько могу судить, не подсчитано, во что обходилось историческому прогрессу России сохранение в XIX в. права помещиков на владение людьми. Лишь позор поражения в Крымскую войну подвел общую черту под крепостным правом из-за его сохранения Россия отстала от передовых стран Европы как в экономическом развитии вообще, так и, естественно, в военном, в частности. Второй бедой, исходившей от сменности на фабриках кадров рабочих (не каждый из них возвращался осенью на ту же фабрику и на свое рабочее место), был медленный рост их квалификации. Но и состояние сельского хозяйства было плачевно. Крепостные делали все, чтобы меньше и хуже работать на барина. барин в изобретательности способов заставить их работать все интенсивнее старался превзойти самого себя. Но толку из этого никакого не было. Урожайность полей все десятилетия с начала века до реформы по сути дела оставалась на месте. Если где и были признаки оживления, то это всегда было связано с использованием вольнонаемного труда, в том числе и некоторыми помещиками, в частности, славянофилами, как это показала в своей работе Е. А. Дудзинская «Славянофилы в общественной борьбе» (М., 1983).

Совокупность указанных обстоятельств и создавала ту ситуацию, которая выше названа исторической и которая в истории нашей страны разрешалась, в сущности, без крови. Об этом говорит опыт 1861 г. (крестьянская реформа), 1917 г. (отречение самодержца Николая II от престола) и 1991 г. (крах системы партokratии). Во всех этих случаях некому было защищать прогнившие системы крепостничества, белой и красной диктатур, а народным массам незачем было браться за оружие, когда эти изжившие себя системы разваливались сами по себе.

Объявление о реформе Чернышевский принял за начало «усиленной работы» сформировавшегося перед ней нового образованного поколения, в числе которого значил и себя. По Ленину, напомним, он будто бы протестовал, проклинал реформу желал, чтобы «...правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов» (ПСС. Т. I. С. 292). На самом же деле она воодушевила его, стала главной целью его жизни, целиком захватила собой. Всю силу мыслителя и публициста он обратил на ее защиту от крепостников — помещиков.

Его возмущало сопротивление реформе людей, облекавших себя в тогу ученых. Обращаясь к ним, он в 1860 г. писал: «Думая о том, что люди, называющиеся учеными, воображающие себя доброжелательными и честными, напрягают все свои силы, чтобы пустозвонными декламациями и тупыми воззрениями, не идущими к делу, задержать реформу столь благотворную, мы не можем не иметь к ним того чувства, которое человек, желающий улучшений в жизни, имеет к обскурантам и ретроgrадам» (VII. 56).

С другой стороны, он печатает в «Современнике» основную часть ходившей по рукам «Записки об освобождении крестьян» либерала К. Д. Кавелина, которая представлялась ему составленной «с наибольшей верностью принципам, вполне разделяемым нами, с наиболее точным применением этих начал ко всем подробностям великого дела, и принимаем эту записку, как выражение наших собственных мнений и желаний». Тут же уточнил, что согласен с ее «общими началами». В публикации же кое-что было из нее опущено, кое-что поправлено, кое-что объяснено в примечаниях и все это — с целью придания большего значения «общим началам» (См.: V. 108–136). Для Чернышевского главное в них заключалось «в полном личном освобождении» крестьян от владельцев с удержанием за ними «той земли, которою владеют и пользуются для себя, избы, в которой живут, и всего движимого и недвижимого имущества, которое приобрели собственными трудами или наследовали от отцов своих» (V. 114). Кавелин не был сторонником сохранения общинного владения крестьянами земель, а это противоречило далеко идущим планам Чернышевского, и он сделал по этому

вопросу обширное примечание, в котором писал: «мы пока не видим достаточной причины посягать на эти обычаи, заключающие в себе, по-видимому, плодотворное начало устройства у нас поземельных прав на новых началах, которые теперь можно лишь смутно предугадывать. Но во всяком случае совершенно было бы необходимо по мере выкупа крестьян с землею запретить им продажу и залог выкупленных земель под каким бы то видом и предложом ни было, по крайней мере на 50 лет; ибо иначе эти земли могли бы быть скуплены у крестьян на первых же порах прежними их владельцами и другими за бесценок, как отчасти и случилось в Пруссии» (V. 117). Защите общинного землевладения Чернышевский посвятил ряд статей, так как в основе его общественного идеала лежала идея свободного крестьянина-общинника, а не собственника-единоличника.

Третьим важным положением готовящейся реформы, которое также особенно занимало Чернышевского, был вопрос о характере и размере выкупа крестьянами земли. Многие вольные или невольные сторонники реформы стремились к наибольшему вознаграждению помещиков за потерю ими отходящей крестьянской земли и утрату прав на личность крестьянина. Он же, напротив, изыскивал и предлагал такой способ решения задачи, чтобы и крестьяне понесли наименьшие расходы, и помещики, и государство имело бы при этом свои выгоды. Вопрос этот для него был столь важен, что, как установлено, в середине апреля 1858 г. им была предпринята через вел. кн. Константина Николаевича, члена Главного комитета по крестьянскому делу, попытка довести свои предложения по этому поводу до сведения царя (См.: V. 137–143). Он предложил 8 вариантов выкупа крестьянами своей воли и земли.

Таким образом, все усилия Чернышевского были направлены не на срыв, а на содействие такому проведению крестьянской реформы, которое было бы наименее обременительно для крестьян. Спрашивается, какое отношение ко всему этому имеет навязываемая ему прокламация «Барским крестьянам...»? Не видя в массе помещиков ни своих, ни крестьянских врагов, с какой стати он должен был звать их на «дорогу открытой классовой борьбы», которую он вообще отвергал как принцип общественного развития? В 1859 г., в самый разгар разработки реформы, он писал, что «каждый честный человек одинаково желает, чтобы уничтожение крепостного права совершилось мирно и спокойно», но «без излишнего обременения для освобождаемых крестьян» (V. 499). Он осуждал тех, кто не по совести, а дурно поступит, если будет стремиться кончить дело не «миролюбиво и к взаимному удовольствию кончить взаимными уступками», так как отказ от миролюбия, уступок во имя удовольствия ни к чему хорошему не приведет (V. 546). Рассуждая в статье «Устройство быта помещичьих крестьян» (конец 1859 г.) о том, что будет, если потребовать выкуп в 150 рублей

с души и «народ изнеможет под такой тяжестью», Чернышевский в тексте, не вошедшем в публикацию, писал: «У нас одна надежда: честность и рассудительность огромного большинства помещиков. Заклинаю их не поддаваться безрассудным или несчастным обольщениям софистов, не знающих национального чувства. Заклинаю честных людей собрать всю твердость мыслей, всю решительность воли, чтобы предотвратить смуты, от которых спасти себя и всех нас могут только они, люди, составляющие большинство помещиков» (V. 992).

Если обратиться к тексту прокламации (VII. 517–524), то легко убедиться, что она шла вразрез с убеждениями Чернышевского, противоречила всему вышесказанному о его взглядах. Всего несколько примеров. В критике реформы Чернышевский упрекал царя лишь в том, что он доверил великое дело освобождения крестьян чиновникам и не допустил к нему самих крестьян. В прокламации же говорится, что царь «оболгал» и «обольстил» народ, а воли не дал. «Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону». Издал манифест и указы? Это он французам и англичанам, у кого нет крепостного народа, пыль в глаза подпустил: «для похвальбы это сделано, для обману сделано» (VII. 521). Нечего говорить, что, даже стилизуя свою речь под народный говор, Чернышевский нашел бы сильные, но деликатные выражения. Грубость речи ему была чужда. Не свойственна Чернышевскому и идея прокламации о царе-старосте (См.: VII. 582). Он был горазд придать разговору шуточный характер, облечь главную мысль словесным туманом, но никогда не позволял себе обмана, между тем в прокламации якобы от него исходила к народу явная ложь: в ней мужики призываются «промеж себя согласие иметь», зря булги не поднимать и ждать «назначение»: «Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготвленности». И еще более странное продолжение: «А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приниматься, тогда откроемся».

Нечего говорить, что все это полностью противоречит общественно-политическому мировоззрению Чернышевского, но оно не соответствует и реалиям жизни того времени. Кто эти «Мы»? Очевидно, имеется в виду хорошо сформированная и устроенная революционная организация, которая глубоко и повсеместно вошла в гущу крестьянского населения и затаилась там до известного момента. Как всероссийская организация тогда могла быть только «Земля и воля», но она в 1861 г. лишь начала формироваться и была далека от способности,

если бы даже того и хотела, так широко распространиться в народе. Еще более важно то обстоятельство, что она не была революционно-ориентированной. В нее собиралась оппозиционно-настроенная против самодержавия и государственного строя страны интеллигенция, которая хотела довести дело до созыва Народного Собрания, но не силой народного восстания, а мобилизацией общественного мнения, особенно интеллигенции. В программном листке «Свобода» № 1, органе «Земли и воли», который вышел в свет в начале 1863 г., когда, в связи с окончанием срока подписания помещиками и крестьянами Уставных грамот об условиях освобождения и вступлением в силу Положений 19 февраля, ожидалось крестьянское восстание, действительно, говорилось о его неизбежности, и организация давала установки, как ее члены должны вести себя в этой обстановке. Землевольцы писали, что, возникнув по вине правительства, революция в России может «получить исполинские размеры кровавой драмы», чего им совершенно не хотелось, поэтому предлагалась такая тактика поведения: «все или по крайней мере большинство способное и честное из образованных классов» должно стать «на сторону доведенного до восстания народа» и тем самым окончательно обессилить правительство, «лишив его какой бы то ни было пользы в диком упрстве».

Лишенное поддержки всей или большинства интеллигенции, правительство капитулирует и объявит о созыве Народного Собрания из «выборных представителей свободного отечества». В этих условиях конкретная деятельность «Земли и воли» выразится на этапе крестьянского восстания в «стремлении так называемых революционеров предотвратить, или, по крайней мере, ослабить то кровопролитие, которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием». Последним же моментом деятельности «Земли и воли» будет «гарантия свободных выборов и ограждение Собрания от всяких насильственных влияний и от притязаний имущественных и сословных привилегий» (Колокол. М., 1963. Вып. VI. Л. 164. С. 1349–1350).

Итак, если «МЫ» — организация, т. е. «Земля и воля», то из изложенного ясно, что в народ она, как представлено в прокламации, не уходила, не брала на себя и роли организатора его восстания, но готова была занять его сторону, если он поднимется на борьбу с правительством. Здесь, несомненно, по Чернышевскому, ставка на решающую роль «образованных людей», умело использующих непреодолимую силу разгневанного народа для достижения целей преобразования страны и, по-возможности, без кровопролития, которого, напомним, сам Чернышевский в принципе не допускал. Это была тактика давления на правительство большинства демократической оппозиции, которой придерживались и Герцен с Огаревым. Идея последнего о движении

войск на столицы «со всех периферий разом» преследовала цель не захвата власти, а принуждение царя объявить о созыве Земского собора.

Изложенные выше политические взгляды Чернышевского исключают его авторство этого документа. Кто мог им быть? Древние в таких случаях ставят вопрос: кто в этом был заинтересован? Следуя этому соображению, можно говорить, что скорее и вероятнее всего им был оказавшийся в заключении Вс. Костомаров, таивший обиду на Чернышевского и решивший отомстить ему, затеяв интригу с властями. Человек он был не без таланта и сам принадлежал к «народолюбцам», во всяком случае, публиковался в журнале «Современник». Находясь в заключении, Чернышевский в своих показаниях писал: «Он, — т. е. Вс. Костомаров, — сам говорит, что у него были со мною “столкновения”, которые “прямо относятся к его личным интересам”, ...и ...разности со мною в политических тенденциях; из того, что он говорит по этому предмету, видно, что он сам никогда не имел отчетливого образа мыслей» (XIV. 765, 766).

Именно он, Вс. Костомаров, навязывал следователям и суду авторство прокламации Чернышевского и его участие в ее печатании. По поводу самой прокламации 1 июня 1863 г. Чернышевский для получения «более полных опровержений» просил, чтобы ему было дано «рассмотреть “воззвание к барским крестьянам”, — так как оно не писано мною, то я ожидаю найти в самом его содержании приметы того, что оно не писано мною» (XIV. 748). И еще один документ. 25 сентября 1863 г. в обращении к Александру II — «Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший...» — Чернышевский называл выдумкой и свое «агитаторское влияние на г. В. Костомарова, и чтение первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам, и эта первоначальная редакция... Записка карандашом (в ней говорилось о печатании прокламации и замене в ее тексте слов “срочно обязанные крестьяне” словами “временно обязанные крестьяне”. — В. А.) — не моя; прошу строжайше рассмотреть ее. Степень технической точности ее рассмотрения свидетельствуется тем, что подпись ее прочтена за букву Z, между тем как это буква С» (XIV. 756, 762, 763). К этому времени Чернышевский уже был ознакомлен с текстом прокламации. «Просмотрев прокламацию к барским крестьянам, я, — писал он далее царю, — вижу, автор ее еще не имел известий и о безднском деле, не только о том, что мужики весной 1861 года вообще неохотно шли на уставные грамоты. Всякий публицист найдет нелепым хлопотать в августе 1861 о печатании такого устарелого произведения...» (XIV. 766). В чем тут дело? На очной ставке 14 октября 1863 г. Костомаров говорил, что прокламацию он получил от Чернышевского весной. Поскольку в ней не говорилось об апрельском восстании

крестьян с. Бездны, это могло произойти в марте или апреле до расстрела крестьян 12 числа. Поскольку Костомаров заявлял, что начатое тогда печатание из-за полученного им извещения об угрозе обыска было приостановлено, а сам печатный станок им был разобран и спрятан, то как же он, Чернышевский, оказавшись в августе по делам цензуры в Москве, мог, да еще настойчиво, добиваться от Костомарова продолжения печатания прокламации, тогда как он отказывался это делать? Опровергая на очной ставке это показание Костомарова, Чернышевский говорил и о несурзности печатания документа в августе. Видимо, посчитав этот довод исчерпывающим суть дела, Чернышевский не счел нужным высказываться о содержании прокламации. И, пожалуй, зря, так как именно прокламация, этот явно подложный, концептуально несовместимый со взглядами Чернышевского, документ и явилась главным основанием его осуждения.

Суд, как обычно, несмотря на убедительность опровержения Чернышевским предъявляемых ему обвинений, не посчитался с ними и в феврале 1864 г. вынес ему следующий приговор: «...Правительствующий сенат полагает: отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и ~~и~~ за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и для передачи оного для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири навсегда» (Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные материалы. Саратов. 1939. С. 330, 331). Уменьшив срок каторги до семи лет, Александр II утвердил этот нелепый, всеми тогда и позже считавшийся абсурдным, приговор по подтасованным документам. И Ленин, нелишне заметить, тоже называл «беззаконным и подтасованным осуждением на каторгу Чернышевского» (ПСС. Т. 5. С. 28), хотя сам считал его автором прокламации.

Тема «Чернышевский и крестьянское восстание» продолжается в историографии и при рассмотрении третьего источника — «Писем без адреса». Неназванным их адресатом был Александр II. Опубликовать их Чернышевскому не удалось. Впервые они появились в печати за границей в 1874 г. Всего писем пять. Первое датировано 5 февраля 1862 г., пятое — 16 февраля того же года, композиционно же это единый документ. Комментатором «Письма» представлены как предназначавшиеся «служить той же цели, что и прокламация “Барским крестьянам” — подготовке народной революции» и потому будто бы ставившие перед царем «альтернативу: или революция, или отказ от самодержавия» (X. 1015).

В любой работе, где о «Письмах» заходила речь, если и не в столь категорической форме, все же признавалась их революционная направленность. Со дня реформы и до начала работы над «Письмами»

Чернышевский был сильно возбужден провалом своих надежд на реформу. В результате ее, с горечью писал он, были изменены лишь «формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений». Выходит, они замыслились лишь для того, чтобы «сохранить сущность крепостного права, отменив его формы» (X. 99). Значит, ничем окончился в стране пятилетний период «усиленной работы»: «В пять лет, — подводя итог, писал он, — литература наша не продвинулась ни на один шаг; а так как литература служит отражением жизни, значит, что ни на один шаг не продвинулась и наша жизнь». И дальше иронизировал: «как мог я забыть, что в эти пять лет совершенно освобождение крестьян!» (X. 71).

Особенно резким тоном стали отличаться его статьи с начала 1862 г. К этому времени он с избытком натерпелся нападков не только со стороны реакционеров, но и либеральной прессы, порицавшей всех, кто остался недоволен реформой. В статьях начала 1862 г. «Опыт открытий и изобретений», «Магистр Н. Де-Безобразов», полных гнева и сарказма, Чернышевский бросал вызов всему либеральному лагерю и реакции, в этот момент представляя их как единую силу, противостоящую прогрессу. Статьи эти явились своего рода настроем для написания «Писем без адреса», обращенных уже к самому царю.

Вот каким виделось ему состояние страны после провозглашенной реформы: «Бывшие помещичьи крестьяне, названные ныне срочно-обязанными, не принимают уставных грамот; предписанное продолжение обязательного труда оказалось невозможным», как и «добровольные соглашения между землевладельцами и живущими на их землях срочно-обязанными крестьянами»; в силу неисполнимости этих предписаний «помещики ропшут и предъявляют требования, о которых не отваживались говорить не больше как год тому назад; в государстве появилось и усиливается общее безденежье; курс падает...» (X. 93). В этих условиях народ «не думает, чтобы из чьих-нибудь забот о нем выходило что-нибудь действительно полезное для него... Когда люди дойдут до мысли: “ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел”, они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел» (X. 91–92). Эти слова обычно и воспринимались как обращение к крестьянам с призывом подниматься на борьбу, тогда как на самом деле они являются всего лишь констатацией возможного, логическим выводом из оценки результатов реформы, которая сохранила крепостное право «при провозглашении его отмены». Другое дело, желал ли он сам такого исхода дела. Читая дальше, видим, что не только не желал, но и страшился, если так произойдет. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой развязки (т. е. восстания крестьян. — В. А.). «Не вы одни, обращаясь к царю, — продолжал Чернышевский, — а также и мы желали бы избежать ее.

Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее, даже тот из наших интересов, который мы любим выставлять как единственный предмет наших желаний, потому что он совершенно чист и бескорыстен, интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми (значит, и с демократами. — В. А.) он стал бы поступать одинаково». Перед Чернышевским возникла призрак варвара, разрушившего Римскую империю. «Он, — читаем "Письмо" дальше, — не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» Именно поэтом Чернышевский выступил против ожидаемой и казавшейся ему возможной «попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел». Испытывая чувство страха «за себя и свои интересы», он даже желал «рассуждать, какой ход событий был бы полезнее для самого народа» Сам же «для отвращения ужасающей нас развязки» готов даже «забыть все: и нашу любовь к свободе и нашу любовь к народу». Это самый драматический момент «Писем». «Под влиянием этого чувства обращаюсь к вам, милостивый государь, с изложением моих мыслей о средствах, которыми можно отвратить развязку, одинаково опасную для вас и нас. Делая это, я понимаю, что делаю. Я изменяю народу». Изменял потому, что опасался за вещь, более для него драгоценную, нежели для народа, «за просвещение».

Но, спрашивал он, будет ли полезна «для народа забота о разрешении запутанностей положения русской нации вашими и нашими усилиями... напротив, не выиграл ли бы народ через не зависимое от нас занятие национальными делами больше, чем от продолжения наших хлопот о нем. В этом случае, для своей выгоды, я подавляю в себе убеждение, что ничьи посторонние заботы не приносят людям такой пользы, как самостоятельное действие по своим делам». И в этих словах литература усматривала революционную направленность «Писем». Действительно, и здесь Чернышевский имел в виду решение крестьянами своей задачи восстанием, но и здесь постановка вопроса таким образом вытекала из сомнения в полезности «для народа забот о разрешении запутанностей положения русской нации вашими и нашими усилиями». Ведь опыт реформы, к разработке которой прилагались их совместные усилия, не дал результата. Можно ли быть уверенным, что и вторая такая попытка не окажется бесплодной? В таком случае, не лучше ли будет для судьбы нации пожертвовать просвещением, еще, по его мнению, неразвитой российской цивилизацией и предоставить крестьянам уничтожить ее, чтобы начать свою новую историю, но уже с учетом опыта сделанных ошибок.

Однако верх берет сомнение в полезности такой жертвы, после чего следует заключение: «Никто не в силах изменить ход событий. Одни (демократы. — *В. А.*) хотели бы, но не имеют средств; у других (правительство. — *В. А.*) есть средства, но не может быть желания. Надо ли изменять народу, когда сам знаю, что не помогу ни вам, ни себе?» (X. 92).

В конечном счете Чернышевский решается последовать писательскому пристрастию «добиваться хороших результатов посредством объяснений», начать говорить «о средствах, которыми можно отвратить развязку», одинаково всем опасную. Они просты: следует продолжить реформирование страны, но таким образом, чтобы новые реформы дали возможность обществу «одеться с ног до головы в новое: штопать оно не хочет» (X. 96). Но для этого нужно отстранить от преобразований страны бюрократию, «силы старого порядка» и опереться на «партию просвещенных людей», в последние годы получившей название «либеральной партии» (X. 97). Лидирующую роль в ней он признавал за дворянством, которое, выражая желание всех других сословий, выступает инициатором реформ, так как огромное ее большинство совершенно примирилось с уничтожением крепостного права как с фактом безвозвратным. «В мыслях о реформе общего законодательства, об основании администрации и суда на новых началах, о свободе слова дворянство только является представителем всех других сословий» и не потому, «чтобы в нем сильнее были эти желания, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно одно имеет при нынешнем порядке организацию (дворянские собрания. — *В. А.*), дающую возможность выражать желания». Имей эту возможность другие сословия, «они высказались бы по этим предметам в том же самом смысле, как и дворянство, только с большею решимостью», потому что больше дворянства «чувствуют обременительность тех общих недостатков нынешнего устройства, об устранении которых говорит дворянство». Под другими сословиями имелись в виду крестьяне, мещане, купцы, служители церкви и масса беспоместных чиновников, живущих на небольшое жалованье (X. 101).

Итак, при сложившихся в стране обстоятельствах дворянство «сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий» (X. 100). Чернышевского вдохновляло и обнадеживало смелое требование радикальных реформ, предъявленное Александру II 2 февраля 1862 г. дворянством Тверской губернии (за что немало их поплатилось заключением в Петропавловскую крепость).

Он уверял царя, что высказанная тверичами программа реформ быстро распространяется во всех слоях общества и «уже недалеко от решительного или единодушного заявления» ее всеми (X. 101). Суть их программы состояла не только в требовании реформы «общего законодательства», устройства «администрации и суда на новых началах»,

но и «свободы слова» (X. 101). Формы ради, дворянское собрание Тверской губернии в своем адресе Александру II хотя и благодарило его за освобождение крестьян, но тут же, «без всякой лжи и утайки», заявляло, что «Манифест 19-го февраля, объявивший волю народу, улучшив несколько материальное благосостояние крестьян, не освободил их от крепостной зависимости и не уничтожил всех беззаконий, порожденных крепостным правом». Сами они не понимают этого закона, который, по мнению собрания, является громадным недоразумением и «ставит все общество в безвыходное положение, грозящее гибелью государству». Собрание потребовало обязательного предоставления крестьянам земли в собственность, «привести немедленно в исполнение эту меру общими силами государства, не полагая всей ее тяжести на одних крестьян, которые менее других виноваты в существовании крепостного права». Его возмущала налоговая несправедливость. «Мы считаем кровным грехом пользоваться благами общественного порядка за счет других сословий; неправаден тот порядок вещей, при котором бедный платит рубль, а богатый ни копейки. Это могло быть терпимо только при крепостном праве, но теперь ставит нас в положение тунеядцев, совершенно бесполезных родине. Мы не желаем пользоваться таким позорным преимуществом... просим В. И. В. разрешить нам принять на себя часть государственных податей, соответственных состоянию каждого». Тверские дворяне отказывались и от политических привилегий «поставлять людей для управления народом» и просили «распространить его на все сословия». Говоря о необходимости указанных преобразований, они заявляли, что их нельзя совершить «бюрократическим порядком», «без спроса и ведома народа» и потому полагали, что «создание выборных всей земли русской представляет единственное средство к удовлетворительному разрешению вопросов, возбужденных, но не разрешенных положениями 19 февраля». Следовало 112 подписей (См.: Колокол. М., 1962. Вып. V. Л. 126. С. 1045, 1046).

Чернышевский теперь указывал, что если раньше масса всех других сословий, кроме дворян и крестьян, в период подготовки реформы стояла как бы в стороне от нее, «знала только свои сословные или личные расчеты», то теперь, в сложившейся обстановке «натянутости отношений», многие стали осознавать, «что нужно изменить решение крестьянского вопроса для отклонения смут» и, естественно, «перешли от частного вопроса... к общему положению вещей... Тотчас же заметили они, что находятся в настоящем порядке черты, одинаково невыгодные для всех сословий, и соединились в желании изменить эти черты». Если бы царь спросил купечество или духовенство, мещан или крестьян, или даже массу чиновников, то услышал бы «от каждого из этих сословий те же самые мысли о законодательстве, администрации и суде». Это общее стремление только еще начинает обнаруживаться.

«Его проявления кажутся еще слабыми, но ведь это потому только, что они еще первые». Однако сила их быстро растет: «мы наблюдающие вблизи жизнь всех слоев общества, кроме вашего круга, мы видим очень быстрое распространение мыслей, о которых я имею честь беседовать с вами и замечаем, что общество уже недалеко от решительного или единодушного заявления их». Дворянство нашло в лице этих сословий нужную для себя опору и таким образом «сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий» (X. 97, 100, 101).

Чернышевский, нарисовав эту картину образования теперь уже общего фронта, по сути дела, всех сословий, устремленных к глубоким переменам в жизни страны, очевидно, надеялся побудить царя внять этому общему голосу и откликнуться на него, стать во главе нового движения. Но все равно, так или иначе, власть, в чем он был уверен, в сложившейся обстановке вынуждена будет пойти по пути уступок, так как количественный перевес и, следовательно, сила теперь, как он показал, были на стороне реформаторов.

О том, как развивался бы сценарий при овладении реформаторами ходом дел, можно судить по высказыванию героя написанного уже в Сибири романа «Пролог» Волгина, под именем которого в нем выведен сам Чернышевский, о неразумности в таких случаях обращаться к силе. Речь идет о попытке политического переворота, предпринятого во Франции в 1839 г., которую он назвал великой ошибкой и страшным уроком. Республиканцы, говорил он, не раз поднимали восстания и все неудачно. «А чего было и соваться? — говорил Волгин. — Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на бой, смирятся, самым любезным манером. Ох, нетерпение!.. Ох, иллюзии! Ох, экзальтация! Волгин покачал головою» (XIII. 54).

Кстати, следует заметить, что в поисках аргументации в пользу признания Чернышевского сторонником насильственных революционных действий, делались, главным образом, литературоведами ссылки именно на «Пролог». В частности указывалось на разговор Волгина с усатым, которому показалось, что его собеседник грозит ему революцией, однако умалчивался ответ Волгина Соколовскому по этому поводу: «Грозить революцией, как и погрозил вашему усатому старику?.. Кто же поверил бы? Кто не расхохотался бы? Да и не совсем честно грозить тем, во что сам же первый веришь меньше всех» (XIII. 206, 207). Таким образом, и третий главный источник, использовавшийся для доказательства революционной настроенности Чернышевского, на деле свидетельствует о совершенно противоположном.

При рассмотрении вопроса нельзя обойти вниманием и другие, неглавные, но цитировавшиеся. Так, придерживаясь мнения, что и в

астраханский период жизни Чернышевский сохранял революционную настроенность, литература между тем обходила его весьма важное суждение о бессмысленности применять к народу насилие для замены его дурных привычек на хорошие. «Не насилие против простонародья или какого другого класса нации тут нужно, а содействие исполнению всеобщего желания». По его мнению, «с довольно древнего времени правительства цивилизованных государств держатся этих разумных понятий; варварский способ производить перемены в народной жизни насильственными мерами давно отброшен правительствами всех европейских государств; всех без исключения; даже и турецкое правительство отказалось от попыток доставлять своему народу что-нибудь хорошее насилем над ним; даже и оно теперь знает, что насильственные меры не улучшают, а только портят жизнь того народа, к национальному составу которого принадлежит оно». И тут же бросал упрек Западу: «Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа, люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства». Попытки искоренить «дурные привычки» насилем, писал он, будут «приучать народ к правилам жизни еще более дурным, принуждать его к обману, лицемерию, бессовестности». Люди сами отвыкнут от дурного, если они узнают о хорошем, так как влечение к нему — «коренное качество природы всех живых существ» (X. 915). Так писал Чернышевский в 1888 г. в приложенном к переводимой им «Всеобщей истории» Г. Вебера очерке «Общий характер элементов, производящих прогресс». Это не политические, а педагогические рассуждения, но и они исходили из принципиального отрицания им насилия как средства прогресса вообще.

Резкой была реакция Чернышевского на книгу Ч. Дарвина «Происхождение видов». Ее «справедливую сторону», эволюционизм, он безусловно одобрял, так как она отвечала его собственным убеждениям, но в то же время решительно восстал против выводов ученого о развитии видов растительного и животного мира как результате борьбы за существование. Он боялся, что дарвинизм этой своей стороной отрицательно повлияет на формирование мировоззрения молодежи, в частности и его сыновей. 1 ноября 1873 г. в письме к старшему сыну Александру Чернышевский называл идею борьбы за существование смешной и нелепой (XIV. 539, 540, 542). Сын был удивлен этим мнением отца, чем вызвал его тревогу и раздражение. В письме от 24 ноября, подчеркивая важное значение эволюции видов, Чернышевский с присущей ему иронией обрушился на вопрос о борьбе: видишь ли, из «борьбы» развивается не только всякая жизнь, но и сам прогресс. Когда и как из борьбы с препятствием выходил лучший результат, чем при отсутствии всякой борьбы? Никогда ничего подобного в жизни

не было и быть не могло. Сама идея борьбы называлась им в письме то «нелепицей», то «фантазией», то «игрой», то «забавой». Олимпийские игры — вот борьба. «От такой борьбы силы развиваются». Полезен труд, но труд, а не борьба. Вот мужик пашет землю. Много труда, много пользы, но он лишь трудится, а не борется. Если же лошадь станет биться, сломает соху и лягнет мужика за то, что он стал ее бить, и убежит — тут была борьба, но от нее же ни сохе, ни лошади, ни мужику никакой пользы нет, а сам труд такой борьбой был прекращен. Вся она — пустая и вредная трата сил, средств и труда. В связи с этим Чернышевский делал очень важное самопризнание: «К чему же ведет ваша система?» — с молодости моей говорили мне все так называемые прогрессисты всех сортов. — «К апатии? Квиэтизму?» — «К чему ведет истина, — отвечал он им, — все равно: она остается истинной» (XIV. 546, 548, 549). Разумеется, он имел здесь в виду молодость не студенческую, когда порой распалялся до мечтаний о предводительстве в бунте, а молодость журналистскую, в пору ответственных размышлений и решений.

В письме сыновьям от 15 сентября 1876 г. он еще раз указывал, что «совершенно справедливым у Дарвина» считает «трансформизм» (IV. 6737). Для Чернышевского он не был новостью, а составлял существенное содержание его мировоззрения. «Я, — писал он, — с довольно ранней юности знал теорию Ламарка и был трансформистом». Его учение примерно с 1845 г. «было уже привычно мне, юноше, жившему в глухом русском провинциальном городке, в кругу священников и дьяконов» (XV. 687; См. также: XIV. 643). Поэтому-то не случайно свою статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», помещенной в 1888 г. в книге IX журнала «Русская мысль», он подписал «Старый трансформист». В этой статье он писал, что теория Дарвина «противоречит всем фактам каждого отдела науки», в том числе и «всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расплодилось по наукам о человеческой жизни». Если существует естественный отбор в процессе борьбы за существование, то, говорил он, в таком случае уже на «первом фазисе существования жизни» она не могла бы развиться из «неорганизованных кусочков протоплазмы»; более того, «каждый из них в самый момент возникновения был бы уничтожаем действием естественного отбора». Естественный отбор, таким образом, мог выступать лишь фактором деградации, а не развития. История жизни «шла в направлении, противоположном действию естественного отбора, под влиянием какой-то силы или комбинации сил, противоположной ему и перевешивавшей его». Во всяком случае под воздействием благоприятных влияний, а не борьбы, из бесформенных кусочков протоплазмы «развились растения и животные очень высокой организации» (X. 737, 771, 772). Эти рассуждения о дарвинизме подчеркивали животворность эволюционизма, и отрицательное отношение

Чернышевского к возможности распространения идеи борьбы за существование на общественные отношения.

Несомненно, читателя должен интересовать и вопрос о том, какой виделась издалека Чернышевскому-заключенному реальная политическая борьба в России. По воспоминаниям ишутинца П. Ф. Николаева, находившегося вместе с Чернышевским в Александровском заводе, однажды, в самом начале знакомства (ишутинцы были осуждены в 1866 г.), кто-то «упомянул о русской революции». «Ах, эта русская революция, смеясь заметил Н. Г. Она точно бедный котенок. *Сильно сомневаюсь в этом*». Однако Николаев тут же стал говорить, что Чернышевский во время саратовской жизни (а это 1850–1853 гг.) был бланкистом и всегда с большой теплотой отзывался об О. Бланки. Он прав, если иметь в виду революционную настроенность молодого преподавателя гимназии, но он явно ошибался, называя его сторонником заговорщической тактики Бланки. В дневниковых записях 1853 г. речь велась о крестьянской революции и его желании участвовать в ней. Николаев писал, что свою уверенность в бланкизме Чернышевского он составил «на основании различных разговоров на различные темы». Например, ссылаясь на обсуждение вопроса об освобождении крестьян, когда Чернышевский будто бы с негодованием и презрением говорил о будущей эволюции крестьянского хозяйства и ясно было, «что имеем дело с неумолимым и непреложным бланкистом». Странно было бы ожидать иной реакции Чернышевского на перспективу буржуазной эволюции деревни, но при чем тут бланкизм? Сила эмоций? Николаеву запомнилось высказанное Чернышевским предпочтение безземельного освобождения крестьян с одними усадьбами и резкий его ответ на вопрос «почему?» — «тогда немедленно произошла бы катастрофа» — «Тут, — заключал Николаев, — как видите, чистый бланкизм: чем хуже, тем лучше... Не эволюция, не постепенное освобождение крестьян от средств производства, не вываривание мужиков в фабричном котле, не постепенное его превращение в батрака, а полное и сразу произведенное обезземеливание, не эволюция, к которой, повторяю, Н. Г. относился с негодованием, а катастрофа. Не марксизм, а бланкизм» (Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге (в Александровском заводе). 1867–1872 гг. М., 1906. С. 20, 23). Это, как мы уже знаем, вольная трактовка «Писем без адреса», смысловое значение соответствующих мест которых совсем иное. С другой стороны, по мнению Николаева же, Чернышевский «не верил в близость катастрофы, хотя и желал ее... Я, — продолжал он, — взял бы на себя смелость характеризовать политические взгляды Чернышевского в таких немногих словах: катастрофа вскоре немыслима, но долг мыслящего и последовательного человека — стремиться к ней и делать все возможное для ее приближения. Поменьше фраз

и теорий и побольше действия, Это, конечно, бланкизм чистой воды» (Там же. С. 20, 87). Однако в трудах Чернышевского есть лишь одно высказывание о Бланки и притом совсем для него нелестное. Речь идет о возглавленном им парижском восстании 12 мая 1839 г. «Некоторые слабые движения, возбужденные интриганами вроде Бланки, увлекали вслед за собой опрометчивых энтузиастов», — писал Чернышевский в 1858 г., — послужили поводом выставить опасными для общества и «тех, которые на самом деле старались предотвратить эти волнения» (V. 22). На деле же Чернышевский боялся безземельного освобождения из-за возможной после этого «катастрофы», но хотел, чтобы реформа сразу и навсегда разорвала все нити, связывающие помещиков и крестьян. Кроме того, слова Николаева: «Поменьше фраз и теорий и побольше действий» — никак нельзя отнести к характерным для его языка.

Другой ишутинец, В. Н. Шаганов, тоже бывший с Чернышевским в Александровском заводе, вспоминал совсем иное: «Он (Чернышевский. — В. А.) никогда не призывал к бунту или восстанию» (См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959. Т. 2. С. 120).

Более интересно узнать, как Чернышевский думал и говорил о революционной деятельности народничества 70-х гг. Об этом с наибольшей полнотой и достоверностью рассказывал близко знавший его в Астрахани учитель Н. Ф. Скориков. В литературе, следует заметить, воспоминания его, как правило, замалчивались, а если в редких случаях и упоминались, то лишь с целью подвергнуть их сомнению.

Между тем он свидетельствовал о крайне отрицательном отношении Николая Гавриловича к борьбе народников. Собственно, это-то как раз с удовольствием и цитировалось в подтверждение ленинской его концепции, но избегались объяснения Скориковым причин такого отношения Чернышевского к народникам, считавшего их идеи «прямо нелепыми». «Идеи этого кружка лиц, сказал однажды мне Н. Г., представляют смесь дегтя не с медом, который портится от дегтя, а с самыми зловонными выделениями отхожих мест... они готовы придти в телесный восторг от одного магического слова “народ”» (Скориков Н. Ф. Н. Г. Чернышевский в Астрахани // Исторический вестник. 1915. Май. С. 498). Это особенно четко обозначалось, когда речь заходила о тайной заговорщической деятельности народовольцев. «История показывает, — заявлял он в этом случае, — что общества с тайным, в большинстве с преступным образом действий никогда не достигали положительных целей... Все, что делается в темноте, либо пошло, либо пусто... Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят... Тайные кружки и общества это пустые бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству,

они вместе с тем вредят и государству... Правительства всех стран, опирающиеся на войско и народ, слишком великодушны, если не употребляют против них крайних, жестоких мер...» (Там же. С. 485—486). И далее последовало интересное откровение Чернышевского.

Скориков спросил, что думает он о надеждах членов тайных обществ «на пропаганду идей высшего порядка и между правящими классами и даже среди войска?» Расхохотавшись, Чернышевский ответил: «Это похоже на то, как если бы вдруг овцы обратились с речью к волкам: “Давайте, мол, господа волки жить дружно, будьте великодушны, не трогайте нас!”» «Правящий класс», — по Чернышевскому, — это бюрократия, которая, по его мнению, была неспособна обратиться к добру. Армия же всегда считалась им верной правящему режиму.

Наконец, зашла речь о совершенно конкретном случае — об имевших место волнениях студентов Казанского университета и всей студенческой молодежи по случаю неприемлемых для них новых уставных правил 1884 г., согласно которым вводилось обязательное ношение формы, полицейская инспекция для наблюдения за их поведением, повышалась плата за обучение и др. Последовал неожиданный для Скорикова ответ: «Все эти и подобные им беспорядки вызываются слишком наивными, а потому плохо рассчитанными побуждениями. Проявлять подобные протесты безумство. Что вы скажете о шалунемальчике, который в бессильной злобе на оскорблявшего его великана бежит за ним и собирается укусить его за икру? Ведь великан каждую минуту может обернуться и поднять шалуна за волосы на воздух!...» Беспорядки, продолжал Чернышевский, могут лишь ухудшить положение «протестующей стороны» — студентов, которые к тому же забывают то дело, ради которого они идут в университет. Такие протесты ничего в жизни изменить не могут. Дело студентов — учиться, становиться в ряд просвещенных людей и тем приносить пользу прогрессу родины. Следовательно, всякая тайная и иная незаконная деятельность несовместима со служением делу прогресса (Там же. С. 485, 486). Чернышевский, что называется, сел на коня. Вопрос о тайной заговорщической деятельности был особенно неприятен ему. Он осуждал этот род деятельности и прибегал к сравнениям с делами иного рода. Например, ссылался на мужика, который при свете дня хорошо вспашет землю, а ночью в темноте все попортит. «Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят. Тайные кружки и общества — это пустые бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они вместе с тем вредят и государству... Правительства всех стран, опирающиеся на войско и народ, слишком великодушны, если не употребляют по отношению к ним крайних, жестоких мер...» (Там же. С. 486). История, говорил далее Чернышевский Скорикову,

показывает, что «цивилизация движется не тайными обществами, — нет! — ими возбуждались только местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положительным результатам... Хорошие начала привыкнут к жизни и помимо тайных обществ». Если бы заговорщикам и удалось поднять восстание, то «толпа, взятая во всей своей массовой численности, не в состоянии бороться с горстью регулярно-вооруженной армии...» (Там же. С. 486).

Воодушевленный злободневной для него темой, он уже не мог остановиться, пока полностью не выговорился: «А как вы станете предлагать народу, в пользу которого работают часто тайные общества, такие прелести, в которых путаются сами члены тайного общества, рисуя будущий, идеальный, по их мнению, строй жизни? Прежде всего, — замечал Чернышевский, — народ не имеет времени и не желает слушать ваши бредни: он слишком занят для этого». Скориков оказался на редкость цепким «следователем». Ему удалось больше всех из современников вывести у Чернышевского сокровенных мыслей о вопросах, волновавших молодежь конца 80-х гг. Это были для Чернышевского уже совсем новые люди, совсем непохожие на людей его молодости. Они и интересовали, и раздражали его своим радикализмом. Воспользовавшись наступившей в речи Чернышевского паузой, Скориков спросил: «...ведь слышали вы, конечно, что члены тайных обществ возлагают надежды на пропаганду идей высшего порядка и между правящими классами и даже среди войска?»... «Это, — расхохотавшись, ответил Чернышевский, — похоже на то, как если бы вдруг овцы обратились бы с речью к волкам: “Давайте, мол, господа волки, жить дружно, будьте великодушны, не трогайте нас!”»

— «Что же, наконец, можно сделать и что должны делать мыслящие люди?»

— «Мало ли что следовало сделать, но что вы поделаете, когда нельзя этого делать? Скажем, отрезать половину нашей “дикой Сибири” и перенести ее в Америку... Чтобы подвинуть жизнь вперед, не следует людям навязывать то, в чем они не видят пользы, и что не может к ним привиться. А проводникам идей высшего порядка не следует брать на себя обузу, которую они поднять не в силах... Большое дело могут и должны делать только большие люди... А такие люди редки...»

— «Тогда что же остается делать маленьким людям?»

«Не брать на себя работы не по силам и не задаваться. Несбыточными целями и надеждами... Хорошо, если бы маленькие люди старались лишь о том, чтобы их работа и стремления были честны...» (Там же. С. 486–488).

Чернышевский с удовольствием отмечал происшедшие в жизни народа изменения. «Мы должны быть довольны, — говорил он Скорикову, — что нашего мужика теперь не бьют, как было прежде, а вот

подождите, придет время — он потребует, чтобы его и не ругали... Ступайте на вечерний базар и посмотрите, много ли вы встретите в продаже лаптей? Все — даже простые мужики — привыкают ходить в сапогах...» (Там же. С. 486). Он полагал, что и «при настоящем строе государственной жизни можно было бы ввести некоторые улучшения и изменения, например, сократить расходы на армию и флот, уменьшить число регулярного войска... Но как вы сделаете это, если какой-нибудь Бисмарк вдруг заявит, что выставит на границу целый миллион солдат?! А мы-то чем хуже... Мы выставим два! А что вы поделаете, если вдруг на свет появится чудо, подобное Наполеону...?» (Там же. С. 488).

Деятельность революционеров-народовольцев, к которым принадлежал Скориков, как видим, вызывала у Чернышевского крайне отрицательное отношение. Для него народники 70–80-х гг. были не только новыми людьми, но и людьми новых взглядов, неприемлемых для него средств борьбы. Кроме того, его собственные взгляды на цели и задачи развития России в годы сибирского заключения, как увидим это ниже, существенно изменились.

На прощание перед отъездом в Саратов в 1889 г., по просьбе Скорикова, Чернышевский оставил ему автограф такого содержания: «Просвещенные люди какого-нибудь народа, имеющего просвещенных людей, видят: масса их народа имеет дурные привычки, вредящие ей; они желают добра своему народу, чувствуют себя обязанными действовать на пользу ему и находят, что важнейшая причина неудовлетворительности его настоящего положения состоит в дурных привычках его массы. Они чувствуют себя обязанными действовать для устранения этой главной причины его страданий.

Спрашивается теперь, какой характер должна иметь та их деятельность на пользу народу, которая, по их справедливому мнению, составляет их патриотическую обязанность?

Масса их народа имеет дурные привычки. Для его блага надобно, чтобы дурные привычки заменились хорошими. Почему же она до сих пор держится своих дурных привычек, почему не заменились они у нее хорошими? Она или не знает хорошего, или не имеет возможности усвоить его себе; чаще всего эти препятствия существуют вместе. Стало быть, просвещенные люди, желающие блага своему народу, должны знакомить его с хорошим и заботиться о доставлении ему средств приобрести это хорошее». Этими, уже приведенными выше, мыслями жил Чернышевский и потому, как самое дорогое, решил оставить их на память своему молодому другу.

Российские проповедники «идей высшего порядка», по мнению Чернышевского, возложили на себя непосильную обузу. «Большое дело могут и должны делать только большие люди... А такие люди редки...» Услышав эти суждения, Скориков спросил, что же тогда

«остается делать маленьким людям?» «Не брать себе работы не по силам и не задаваться несбыточными целями и надеждами... Хорошо, если бы маленькие люди старались лишь о том, чтобы их работа и стремления были честными». Значит, Чернышевский в это время ни во что ни ставил не только современных ученых, о чем сказано выше, но и современных пропагандистов (См.: Исторический вестник. СПб., 1905. Май. С. 478–494; Июль. С. 125–132).

Публикация этих воспоминаний Скорикова вызвала отклик печати. «Новое время» поверило ему, «Биржевые ведомости» сочли их «результатом недоразумения», а «Новая жизнь» назвала «плодом фантазии», «клеветой на Чернышевского». В июльской книжке «Исторического вестника» за 1905 г. Скориков, отвечая на критику и отчасти дополняя опубликованное ранее, писал: «...Не моя вина, если то, что ответил мне Н. Г., так противоречит общему представлению о нем. Нечего удивляться, что у Н. Г. после 20 летней страдальческой жизни в Сибири могло выработаться особое скептическое отношение ко многим явлениям в жизни, которые для нас, обыкновенных людей, кажутся иными». Сам Скориков не мог примириться с услышанным от Чернышевского. «Эти роковые слова, — писал он, — что “что тайно, то или пошло, или пусто”, “вредя правительству, мы вредим и государству”, что толпа, взятая во всей своей массовой численности, не в состоянии бороться с горстью регулярно-вооруженной армии, что бесполезно, маниловски утопично желать того, что мы желаем для счастья мира, так как этот самый мир не хочет ни понять, ни слушать нас, — приводит меня почти до отчаяния...» Он стал подозревать Чернышевского «в отсталости от века» (Там же. Июль. С. 127–130).

Теперь он вновь специально остановился на вопросе о тайных обществах и привел более подробно высказывания о них Чернышевского. «А если бы тайные общества, — говорил ему Чернышевский, — и достигли своих целей — подняли бы всеобщее восстание, тогда стал бы, положим, народ выбирать для себя своих начальников, но что будет? Кого он может выбрать, этот народ? Примеры на глазах: возьмите нашу думу, сельскую общину... при всеобщем равенстве архангельцы бы вдруг пожелали поселиться в Орловской губернии! Да разве орловцы их пустят?!» После этих высказываний Скорикову подумалось, что Чернышевский, «видимо, темновато представляет цели и стремления современного социализма и будущий строй, или не подумал, или не хотел сказать...» Скориков, «как теперь», отлично помнил, что «при каждой новой фразе о тайных обществах и их задачах говорил мне: “Передайте вашим друзьям...”» Ему было непонятно, чего хотел Чернышевский — испытать искренность его как собеседника или отвлечь молодежь от излишних увлечений? (Там же. 1905. Июль. С. 130–132).

Завершая этими словами Скорикова рассмотрение исторической концепции Чернышевского, необходимо сказать, что она представляла историографией, особенно с середины 30-х гг., совершенно иной и весьма далекой от ее реального содержания. Оставив вместе с юностью экзальтированный революционаризм, он сформировался на тех же самых идейных основах, которые заложены в нем были с ученических и студенческих лет. Со школы и до конца жизни он признавал только одну силу, творящую исторический прогресс, силу знания, которое обязало его стать просветителем. Поскольку в темноте и рабстве, политическом бесправии находилась подавляющая часть населения России, он выступил защитником народных масс. Избавить их от тьмы, нужды и бесправия могло только разумно устроенное государство, в котором они сами стали бы хозяевами жизни, это позволяло его встать одним из первых в ряды российской демократии. Своеобразно используя формулу триады развития Шеллинга—Гегеля, гласящую, что высший этап развития по форме схож с начальным, т.е. первобытно-коммунистическим, он определил его как цикл социализма и время выхода на арену самостоятельной исторической деятельности народных масс, тем самым обосновав свою довольно раннюю приверженность социализму. Итак, *просветитель, демократ, социалист* — вот его идейно-политическое лицо. В представлении о ходе исторического развития и прогрессе он — постепеновец и трансформист, что означало признание медленности, по мере накопления знаний, развития этого процесса как нарастания элементов прогресса, когда старое, освобождаясь от отжившего, но, сохраняя свою здоровую основу, опять же постепенно обновляется. Новое же, едва утвердившись, вызывает следующее поколение агентов прогресса, критически мыслящих личностей, к осмыслению содеянного предшественниками, критике его недостатков, а затем и к выработке новой идеи развития с тем, чтобы посвятить себя ее осуществлению, и т.д. до бесконечности, говорил Чернышевский. Здесь нет места классовой борьбе, так как борются идеи развития все новых и новых поколений людей, с которыми они выходят на арену деятельности в среднем через каждые 15–16 лет, пропагандируют их в массах, и когда те овладевают ими, воспринимают их, в короткие промежутки «усиленной работы», «героических усилий» стараются что-то из старого устранить и хотя бы что-то внести в жизнь из своего нового. История, говорил Чернышевский, движется так медленно, что если взять ее небольшой отрезок времени, то никакого движения вперед можно и не заметить. Реализация идей осуществляется в форме разумного законотворчества.

Время подготовки крестьянской реформы Чернышевский считал временем усиленной работы своего поколения по перестройке жизни страны. Что он делает? Прежде всего, публикуя ряд статей, на примерах мировой практики учит Александра II, каким в такие ответственные,

рубежные моменты в жизни страны должен быть государственный человек т. е. руководитель; поскольку сразу же при начале разработки реформы остро встал вопрос, как должны были быть освобождены крестьяне, он прямо обращается к царю с письмом и предлагает ему 8 вариантов выкупа крестьянами своей земли и воли; в то же время, горячо поддерживая реформу, настойчиво отстаивает такое решение задачи, чтобы она раз и навсегда ликвидировала все прежние связи между крестьянами и помещиками; наконец, как социалист-общинник и демократ, он отстаивал ее сохранение, наделение крестьян землей и развитие общинного самоуправления в границах всей страны, при этом устроенного на федеративных началах. На запугивание царя помещиками крепостнического образа мыслей, он ответил указанием на тихое, образцовое ожидание крестьянами решения своей участи.

Если после всего сказанного о нем поставить вопрос, за что же тогда он был арестован, судим и без года 20 лет томился в сибирской неволе, ответ может быть только один — за неустанную защиту интересов народа и пропаганду социализма.

Социализм — теория трудящихся

Уже со студенческих лет социализм определенно стал базовой идеологией общественного идеала Чернышевского как выразителя интересов трудящихся масс. Им, массам, как уже сказано, предстояло на высшем этапе общественного развития по Чернышевскому стать руководителями этого нового исторического процесса. Разрабатывавшаяся им «теория трудящихся» и должна была обосновать («Нет ни одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без теоретического объяснения») экономические и политические основы будущего общественного строя. Теория социализма, таким образом, также становилась исторической необходимостью и, по мнению Чернышевского, должна была сыграть в судьбе четвертого сословия такую же роль, как теория Адама Смита для третьего сословия.

При знакомстве со взглядами Чернышевского на социализм следует учитывать, что истоки его он видел в «экономической жизни» и производстве (IX. 828). Ему, как и Герцену, представлялось, что социализм должен начаться с «экономического переворота». Этим-то и объясняется их особая заинтересованность в успехах крестьянской реформы и сохранении общинного владения землей как экономической основы будущего социализма.

Первоначально идеи социализма, говорил Чернышевский, родились во Франции «как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов» постсмитовского времени. «В смитовской школе основались тогда, как и теперь существуют, — писал он в 1860 г., — только труженики, неспособные развивать науку, а лишь подыскивающие факты к заданным темам (вроде Рау и Рошера), или фразеры (вроде нынешних французских знаменитостей школы Сэ)». По его мнению, даже сами Смит, Мальтус, Рикардо и Милль не коснулись самой «коренной черты» политической экономии: «какова общая тенденция общественных сил, призываемых принципом частной собственности к господству над распределением имуществ и доходов?» Позже и «труженики», и «фразеры» не сумели разобрать этот вопрос. Первые потому, что «это не было указано и растолковано им учителями», а вторые «не затруднились, без дальнейших справок, отвечать на него голословными фразами, какие казались для них удобнейшими». В результате «ход идей и событий» оттеснил их «в консервативное и отчасти в реакционное положение» (IX. 377). Первые социалисты отвергли их.

Что же касается классической экономической теории, разработанной А. Смитом, Т.-Р. Мальтусом и Д. Рикардо, то она, по Чернышевско-

му, явилась своего рода базисом, отправной основой развития теории социализма. «Как в истории общества, — писал он в 1860 г. в работе «Капитал и труд», — каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека, так и в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречившие ему понятия, несообразность которых не замечалась прежнею теориею» (VII. 49). Отличие новой, социалистической, школы от теперь уже устаревшей смитовской он видел в том, «что новая теория, овладевая существенными выводами старой, развивает их с полнотой и последовательностью, которых не могла достигать прежняя теория» (VII. 56, 57).

Чернышевский показывал, какие положения старой школы и в каком направлении развивает новая теория. «Прежняя теория, — писал он, — провозглашала товарищество между народами, потому что благосостояние одного народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет: и потому все должно принадлежать труду; прежняя теория говорила: непроизводительно никакое занятие, которое не увеличивает массу ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет: непроизводителен никакой труд, кроме того, который дает продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества, согласных с расчетливою экономией. Прежняя теория говорит: свобода труда; новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящегося» (VII. 57). Нельзя не обратить внимание на то, что изложение и теоретических положений Чернышевским ведется по правилам теории нарастания.

И все же социализм трактовался им как исторический цикл развития, совершенно противоположный безграничному праву частной собственности, что характерно предшествующему циклу истории (IX. 902). Новый строй должен быть основан на общей, коллективной собственности, что постепенно приведет к полной перестройке общественных отношений. Он писал, что перемены, какие могут произойти, будут столь грандиозны, что в сравнении с ними борьба в Англии между сторонниками протекционизма и свободной торговли покажется не больше поправки «одной очевидной опечатки перед полною переработкою всей книги, устаревшей по своему содержанию» (IX. 832). При этом новое непомерно дополнит и разовьет лучшее старое.

Главные черты, ведущие к улучшению быта людей, т. е. черты социализма, по Чернышевскому, состояли в том, «что труду не следует быть товаром, что человек работает с полною успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого, что чувство собственного

достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина, что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характера улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице», что поэтому и ведет отдельных хозяев-работников к соединению в товарищества (IX. 643). Именно в соединении работников в товариществе Чернышевский и видел гарантию их независимости и самостоятельности как хозяев, что будет условием и «полной успешности» их производственной деятельности. Но подробнее об этом ниже.

В новом обществе труд, «обращенный на производство продуктов, не соответствующих настоятельнейшим потребностям человеческого организма, должен в нынешнее время считаться непроизводительным, пропадающим для общества». Новая теория и новые учреждения должны давать и «наивыгоднейшее для общества распределение ценностей» (VII. 49).

Особенности социализма и «биржевого» строя Чернышевский показывал путем сопоставления различий лиц, вносящих в производство труд, с одной стороны, и владеющих капиталом, с другой. По его мнению, главные черты этого различия таковы: «в производстве трудящийся действует только собственными силами, между тем как капиталист располагает силами многих лиц; в распределении ценностей трудящийся не может иметь больше того, что произведено им самим, а капиталист приобретает сумму ценностей, производимую трудом многих; цель производства для трудящегося есть потребление произведенных ценностей, а для капиталиста сбыт их в другие руки для выигрыша через обмен. Мерилом производства для трудящегося служат надобности его собственного потребления..., а мерилom производства для капиталиста служит только размер сбыта». Строй трудящихся, таким образом, стремится «предотвратить всякую потерю ценностей» (VII. 49).

Одним из главных пороков «биржевого» производства Чернышевскому представлялась конкуренция трудящихся за рабочие места, которой совершенно не будет при социализме. Он обращал внимание на отсутствие ее даже у современных земледельцев, имеющих свое хозяйство. Между ними не было того, что он видел в среде фабрикантов, торговцев или больших фермеров. Они представлялись ему проникнутыми духом доброжелательства (VII. 50).

Но он, однако, понимал, что хотя соперничество в условиях частной собственности и сопряжено с риском и ведет к обогащению одних за счет других, разлагивает единство трудящихся, оно в то же время играет и стимулирующую роль в производстве. Перед ним поэтому

стояла задача найти средство, избавляющее будущее производство от негативных сторон биржевого строя, и использовать его положительные стороны. Словом, ставился ли им вопрос о конкуренции в будущем? Она допускалась, но должна состоять просто «в выгоде производить наибольшее количество продуктов в данное время», «наработать побольше каждый день», что и даст средствам к совершенствованию производства «всю свою привлекательность». Трудясь в свою пользу, работник увидит выгоду в усовершенствовании орудий труда. Капиталист тоже заинтересован в усовершенствовании техники, но полученной от этого выгодой он подрывает благополучие других. Выгоды же от усовершенствований, получаемые трудящимися, остаются их выгодами (VII. 51).

Вопрос о производительности труда также разрешался Чернышевским в пользу социализма. При нем трудящиеся не могут держаться особняком и «имеют прямую экономическую необходимость искать взаимного союза». Именно в товариществе работник, как уже говорилось, по мнению Чернышевского, приобретает большую самостоятельность, так как все продукты его труда остаются в его же руках. «Каждый неизбежно желает своей выгоды, и общество не может не выигрывать, когда выигрывает вся масса населения, которая состоит из трудящихся». Единоличное хозяйство не может иметь этих выгод (VII. 51, 52, 53). Производство должно иметь форму свободы, и социализм обеспечивает ее. Свободный труд «один производителен, один увеличивает богатство нации», заключал Чернышевский (V. 90).

Смысл социализма по Чернышевскому заключался в возможности удовлетворения всесторонних потребностей свободного человека, а все благополучие и процветание нового общества — в обеспечении личного интереса его гражданина. Именно он, этот интерес, писал Чернышевский, и «есть главный двигатель производства». Он состоит в стремлении человека владеть вещью, произведенной его руками. Энергия труда и производства ставится в зависимость от соразмерности прав собственности работника на произведенный им продукт. Владение вещью, вышедшей из рук производителя, есть «наивыгоднейшее» условие производства, а «соединение собственности в одном лице с трудом» умножает трудовые усилия личности и становится двигателем социалистического производства (VII. 18–21).

Система наемного труда тоже обеспечивает свободу личности, но оставляет ее беспомощной в условиях сосредоточения собственности в руках небольшого числа отдельных лиц, что и породило «пролетарство» масс. Личный интерес, таким образом, получил там «одностороннее стремление». Социализм же, приведя в соответствие права свободной личности с правом владения продуктом, ею производимом, ликвидирует пролетариат и развивает лучшие стороны системы, тем самым продвигая человечество вперед в его историческом развитии.

Что новый строй берет из старого производства? Обращаясь к опыту истории, Чернышевский говорил, что лет 80 тому назад в передовых странах Европы господствовало мелкое производство, и лишь лет 40–50 прошло с тех пор, как стало возникать крупное производство, которое теперь достигло решительного перевеса над мелким. Следовательно, неизбежно наступит время перехода от крупного производства, созданного на основе частной собственности, к тоже крупному производству, но при объединении мелких хозяйств в товарищества. И время это, как уже сказано выше, не за горами, хотя это историческое свершение не есть дело завтрашнего дня. Запад уже подошел к этому историческому моменту, но «форма наемного труда в передовых странах Европы, может быть, продержится еще довольно долго, быть может, несколько десятилетий, а быть может, даже и несколько поколений», — писал он в 1860 г. «В вопросах о будущем можно определительно видеть только цель, к которой идет дело по необходимости своего развития, но нельзя с математической точностью отгадывать, сколько времени потребуется для достижения этой цели: историческое движение совершается под влиянием такого множества разнородных влечений, что видно только бывает, по какому направлению идет оно, но скорость его подвержена постоянным колебаниям». При благоприятных условиях развитие может осуществиться в несколько лет, при неблагоприятных — в несколько десятков, а то и сотен лет. Препятствие на этом пути заключено вовсе не в технико-экономическом уровне развития, а, писал Чернышевский, — в «нынешнем низком состоянии умственного развития и нравственных понятий в обществе», поэтому-то и «рано еще думать об осуществлении идей, которые хороши сами по себе» (IX. 222, 352–354).

Однако социализм в представлении Чернышевского «об идеале общественного благосостояния» является лишь этапом на пути к осуществлению еще более высокого уровня этого благосостояния, который будет обеспечен лишь при коммунизме. Эта теория, говорил о ней Чернышевский, усваивается массами гораздо легче, чем социализм. «Чтобы сочувствовать социализму, надобно быть приготовлену к довольно сложным комбинациям идей; чтобы сочувствовать коммунизму, достаточно чувствовать на себе тяготительность существующих экономических отношений», сочувствовать работающему человеку, несправедливо терпящему нужду, когда люди праздные пользуются богатством (IX. 831). Но, предупреждал он, «нечего обольщаться этою легкостью» овладения массами коммунистическими идеями. Дело в том, что «нравы, обычаи, понятия, нужные для коммунистического быта, чрезвычайно далеки от понятий, обычаев, нравов нынешних людей» и потому «при первых же попытках устроить свою жизнь по своим коммунистическим тенденциям люди находят, что эти тенденции, быстро увлекшие

их, нимало для них не пригодны. Выражаясь вульгарно, масса тотчас же чувствует, что напросилась с ковшом на брагу» (IX. 831–832). Провидец!

Признаком достижений человечеством уровня коммунистических отношений будет уравнивание природных средств удовлетворения с потребностями людей. Тогда труд «из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологических потребностей... Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться досыта» и останется излишек; тогда никто не станет ссориться за средства к жизни «и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, как ныне обходится без особенных законов пользование водами океана: плыви, кто хочет, места всем достанет». Вообще отпадет необходимость в регулировании законами «экономической деятельности» и производства ценностей. Человечество на высшем уровне своего развития возвратится к своей первоначальной форме, когда производство и распределение обходились без всяких законов (V. 609).

Для доказательства неизбежности достижения человечеством этого уровня развития Чернышевский пользовался не только триадой Шеллинга—Гегеля, но и методом количества, простым арифметическим расчетом. Поскольку, говорил он, человек все более подчиняет себе природу, то, естественно, в то время, когда ее силы остаются неизменными, а силы человека, в связи с развитием знаний и здравого взгляда на жизнь, увеличиваются с возрастающей скоростью, он со временем неизбежно подчинит себе внешнюю природу, «перделает все на земле сообразно с своими потребностями... воспользуется до чрезвычайной степени всеми теми силами ее, которые могут служить ему в пользу». Это и приведет «к уничтожению несоразмерности между человеческими потребностями и средствами их удовлетворения» (V. 609).

В данном случае Чернышевский пытался определить и время, когда человечество достигнет этого уровня развития. Он был убежден, что оно «еще очень далеко, может быть, и не за тысячу лет от нас, но, вероятно, больше, нежели сто или полтораста». Лишь только тогда «будет вполне разумна система, провозглашающая безграничную независимость производства и распределения богатств от вмешательства общественной власти» (V. 610). Позже, в начале 60-х гг., он был сдержаннее в определении времени наступления коммунизма: «эпоха коммунистических форм жизни, — писал он тогда, — вероятно, принадлежит будущему, еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также очень далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма» (IX. 831).

Как и другие социалисты, Чернышевский не ограничился одними теоретическими рассуждениями об «идеале общественного благосостояния» будущего человечества, но и отчасти описал жизнь людей при новых общественно-политических и экономических отношениях.

«Новый экономический быт»

Новым экономическим бытом, как сказано выше, Чернышевский называл социализм. Известно также, что переход к нему тех или иных стран будет зависеть от различия уровней (главным образом, степени образованности народов) и особенностей развития, условий быта, традиций и т. п. каждой страны. В 1861 г. в статье «Капитал и труд» он писал по этому поводу: «Способ зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по одному плану с русским или французским значило бы напрасно тревожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый дом должен быть опрятен, сух и тепл. Различных планов для исполнения требований новой теории находится много, и который из них вы захотите предпочитать другому, почти все равно, потому что каждый из них в существенных чертах своих чертах сходен с другими и удовлетворителен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности, которые составляют причину споров между его приверженцами и защитниками других планов» (VII. 57). Все указанное продиктует народам, притом неотвратно, каждому свой путь к социализму. Сам он обсуждал эти возможности для развитых стран Западной Европы и России.

Путь передовых стран Запада к социализму

Еще в 1857 г. Чернышевскому казалось, что Запад, несмотря на свой технический прогресс, пока не готов встать на путь высшего развития. Франция пережила несколько мучительных кризисов, которые до основания потрясли благосостояние ее народа. То же самое, думал Чернышевский, ожидает и Англию. Каждый, предлагал он, кто не хочет читать монографий о чартизме, может в этом убедиться, прочитав роман Диккенса «Тяжелые времена». И «в будущем, — по его мнению, — этим странам предстоят еще более продолжительные, еще более тяжелые страдания» (IV. 738).

Причину этого он видел в чрезвычайно высокой степени развития на Западе частных прав личности, что, полагал он, было главным содержанием его истории последних столетий. «Право собственности почти исключительно перешло там в руки отдельного лица и ограждено чрезвычайно прочными неукоснительно соблюдаемыми гарантиями». Будь-то англичанин, немец или француз, каждый из них может ничего

не бояться на земле, пока он не нарушает закона. Но именно в этой-то исключительности привилегии личности Чернышевский и увидел причину печальных следствий для Запада, одинаково тяжело сказавшейся «на обоих великих источниках народного благосостояния, на земледелии и промышленности».

Независимый человек в условиях безграничного соперничества собственников оказался беспомощным. Слабые стали жертвой сильных, а труд поработен капиталом. Множество людей лишилось частной собственности, возникло «пролетарство». Положение бедняков особенно печально в Англии. Во Франции земля распалась на мелкие участки, их владельцы обременены долгами, тогда как для повышения урожайности полей требуются капиталы, но и они «применимы только в больших размерах». Вся выгода в промышленности сосредоточена в руках капиталиста, на которого работают сотни пролетариев. По закону конкуренции богатство сотен первых увеличивается, сосредоточиваясь «все в меньшем числе рук», а положение вторых, число которых растет, «все ухудшается» (IV. 738, 739, 740).

Но именно потому, что положение дел оказалось «так естественно и тяжело для девяти десятых частей английского и французского населения», и должны были неизбежно «явиться новые стремления, которыми отстранялись бы невыгоды прежнего одностороннего идеала. Подле понятия о правах отдельной личности возникла идея о союзе и братстве между людьми: люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для наивыгоднейшего всем производства и для экономного потребления производимых ценностей. В земледелии братство это должно выразиться переходом земли в общинное пользование, в промышленности переходом фабричных и заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе» (IV. 740).

Однако в описанных условиях ввести новый порядок дел на Западе, где личность привыкла к безграничности частных прав, а союз требует взаимных уступок, пока, думал Чернышевский в 1857 г., невозможно. Лишь горький опыт и продолжительные размышления могут привести его народы к осознанию пользы объединения. Нужно преодолеть привычки, обычаи даже «наиболее продвинувшихся в своем экономическом развитии» народов Запада. Французский крестьянин думает только о том, чтобы прикупить к своему участку новой земли; английский фермер мечтает нанять все больше земли соседей для увеличения своего богатства, а его работник завести свою ферму. «Для введения союзного производства в этих землях надобно в целом народе... вселить новое убеждение... надобно путем разумного убеждения перевоспитать целые народы». Так что, хотя торжество нового начала и неизбежно,

«но, — писал Чернышевский, — бог знает, удастся ли нам или внукам нашим видеть мирное владычество нового экономического принципа в Западной Европе» (IV. 740, 741, 742).

Прошло три года, и его суждения об объединительных возможностях Запада приобрели определенную гибкость. И теперь, публикуя свой перевод экономического труда Д. С. Милля, он соглашался с ним, что нельзя ждать скорого осуществления идеалов социализма и коммунизма, но вместе с тем задавал вопрос: не может ли случиться, что мыслитель, развивая идею справедливости и последовательности системы чисто теоретически, ограничится осуществлением лишь одной, удобоисполнимой в настоящее время, ее частью? Чтобы не ждать скорого замещения нынешней коренной институции экономического быта порядком дел, основанном на ином принципе, Западу, по его мнению, и нужно начать переход к высшему развитию с деревни, т. е. с той отрасли хозяйства, которая была для него более понятной и в преобразовании которой он сам был более всего заинтересован на родине (IX. 354, 355).

Но дело было не только в этом. Анализируя в 1860 г. положение дел в экономике и науке Запада, Чернышевский приходил к выводу, что там налицо все признаки приближения коренных преобразований, так как капитал, «переполнив» торговлю и промышленность передовых стран, большой массой рвется в другие отрасли хозяйства. В несколько лет он исчерпал себя в строительстве железных дорог, которые теперь развиваются «уже почти исключительно собственной силою», прибылью, получаемой железнодорожными ассоциациями. Новому капиталу осталось лишь «одно производительное помещение в сельском хозяйстве», куда и устремились «коммерческие люди».

Этому, писал Чернышевский, способствуют значительные успехи в развитии технических знаний, особенно механики и химии. Недавно начато химическое удобрение почв, использование паровой молотилки и близко внедрение в пахоте парового плуга, чего не знали ни Средние века, ни Рим, ни Египет, о чем не мечтало даже «предшествующее нам поколение». Все это, заключал он, приближает коренную реформу земледельческого производства, равную той, которую произвели в промышленности изобретения конца XVIII — начала XIX в. (IX. 216, 217).

Эти доводы и личный интерес позволили ему в 1860 г. предложить Западу план осуществления части общего принципа, оговорившись при этом, что заимствует его у Л. Блана (IX. 355). В действительности же, идея Блана была так основательно переработана и детализирована, что Чернышевского с полным основанием можно считать соавтором французского социалиста, если не больше.

Предлагавшийся им план Чернышевский характеризовал как приспособленный к нравам тех стран, которые потеряли «всякое сознание о прежнем общинном быте и только теперь начинающих возвращаться

к давно забытой идее товарищества трудящихся в производстве», т. е. стран Западной Европы. В них, благодаря высокому развитию науки и экономики, ему представлялось возможным сразу приступить к созданию товариществ для совместной обработки земли.

План заключал в себе правила организации товарищества и производства, управления им и устройства быта в нем. При организации товарищества, по мнению Чернышевского, главную роль должно сыграть правительство, что, следует заметить, было одной из главных идей Блана. Если, писал Чернышевский, страна, для которой Луи Блан писал свой план, т. е. Франция, ежегодно бросала десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам на разные великолепные постройки или отдавала займы компаниям железных дорог, то и «трудящийся класс также имеет некоторое право ожидать от государства такого содействия...». При этом оно ничего не потеряет, так как товарищество возвратит ему всю ссуду с процентами (VII. 58).

Учитывая, что товарищество — дело новое и для его создания и управления нужна определенная теоретическая подготовленность, правительство присылает в качестве директора специалиста, обладающего этой подготовленностью и добросовестностью. Он начинает дело с объявления о наборе желающих вступить в товарищество. С учетом всего многообразия предстоящих занятий, оно должно состоять из 1500—2000 человек обоего пола. Директор принимает в него главным образом семейных и, следовательно, в товариществе, при указанной общей численности членов, должно быть 400—500 семейств, значит, по 500 и более работников и работниц. При этом предусматривалась полная свобода как вступления, так и выхода из товарищества каждого, «когда ему вздумается» (VII. 58, 59).

Имелось в виду, что товарищество «будет заниматься и земледелием, и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности». Все необходимые для работ инструменты, машины и материалы правительство купит за свои средства.

Поскольку земледелие в короткое время года требует большого количества рабочих рук, все его члены должны работать на полях. Всем другим они занимаются все остальное время. В товариществе каждый делает то, что ему самому интересно. Идти на сельскохозяйственные работы его никто не принуждает. Здесь должен действовать фактор материальной заинтересованности. На время посева и уборки за работы назначается такая плата, в которой каждый увидел бы свою выгоду и согласился весенне-летние месяцы поработать на полях. Те, кто не знал сельских работ, будут учиться у опытных хлеборобов. В свободное от земледелия время, для занятий члена товарищества имеются сапожная, портняжная, столярная и иные, какие он найдет для себя нужными, мастерские. Может быть начато и ювелирное дело, если в том

будет испытываться потребность. Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются за счет товарищества (VII. 59, 60).

Весьма важно было определить форму и меры вознаграждения за труд. План предусматривал, что товарищество должно вступать со своими членами в такие же отношения, которые существуют у фабриканта со своими рабочими. За свой труд они тоже должны получать заработную плату. Средства для этого образуются в результате трудовой деятельности всех его членов. При этом из общего дохода одна часть предназначалась «на содержание церкви, школы, больницы и других общественных учреждений, находящихся при товариществе»; другая — на погашение казенной ссуды и выплату процентов по ней; третья должна была составить запасный капитал на всякий случай. Когда, замечал Чернышевский, будет существовать много товариществ, капитал этот они используют для взаимного страхования на случай каких-либо невзгод. Он пойдет и на оказание помощи при создании новых товариществ. Наконец, за вычетом всех этих сумм должно остаться значительно средств для оплаты труда членов товарищества. Принципом оплаты должен стать рабочий день.

Чернышевский искренне верил, что работа в товариществе будет значительно более производительной, чем труд вольнонаемного работника у хозяина, поэтому и доход члена товарищества будет существенно больше, чем у рабочего фабрики (VII. 61, 62).

Во время создания товарищества главная роль принадлежит назначенному государством директору. Когда же коллектив определился, члены каждого «промысла» избирают свои административные советы, а все члены товарищества — общий административный совет. Роль этих органов сразу становилась значительной: никто не мог вмешиваться в дело любой отрасли хозяйства без согласия промыслового совета. Общий же совет создавался для контроля за деятельностью директора и его помощников. Без согласия совета никто в товариществе не мог предпринимать каких-либо важных дел (VII. 60, 61).

По-новому организовывался и быт членов товарищества. Оно покупало за бесценок пустующий и запущенный дом, а если была возможность, то и строило новый. Важно, чтобы рядом с домом было достаточно земли. В отличие от домов для фабричных рабочих, в жилье товарищества «квартиры устраиваются с теми удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них». По мнению Чернышевского, в квартире для семьи должно быть такое число комнат, какое нужно «для скромной, но приличной жизни». Как это должно было выглядеть на деле, можно представить конкретнее, если учесть его несколько более ранние суждения о жилищной потребности одинокого интеллигента: он должен иметь комнату для приема гостей, рабочий кабинет и спальню. Надо полагать, что при таких запросах для

одного человека, разместить 400—500 семей в одном доме да еще в сельской местности, было нельзя. Значит, здесь высказан только принцип, жилье выгодно покупается или строится. Те из членов товарищества, кто не хотел жить в общем доме, снимали квартиры по своему вкусу. Никто никого не принуждал жить коммунально или отдельно. Важно, что в общих зданиях с удобствами помещения будут гораздо дешевле, «чем живут ныне». При общежитии должны быть «церковь, школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека, больница».

Рядом устроены и магазины. Они приобретают продукты по оптовой, т. е. более дешевой, цене, что дает им возможность продавать членам товарищества, например, сахар не по 30 коп. за фунт, как в частных лавках, а по 20 коп. Устроят и общие кухни. Одни будут обедать за общим столом, другие брать кушанья к себе на квартиру или сами готовить себе еду, но питание с общей кухни и за общим столом дешевле (VII. 59, 62, 63).

Все сказанное должно быть отражено в Уставе товарищества. По истечении года оно отказывается от услуг директора. Все узнали друг друга, приобрели опыт и знания для самостоятельного ведения дел. С этого момента они выбирают «всех своих управителей, как акционерная компания выбирает директоров». Если, исходя из опыта жизни, находят нужным, перерабатывают или совершенствуют свой Устав. Члены товарищества должны понимать, что объединились они для возможно большего удобства и благосостояния, чтобы чувствовать себя свободными и трудиться в свою пользу. Проникнутые этим сознанием, они, взявшись теперь за дело сами, не станут закрывать школы, больницы, не оставят без своей заботы больных и сирот. Словом, начатое дело пересоздания общественных отношений должно иметь все основания развиваться. Во всем описанном «нет пока ровно ничего особенно ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагают тебе средства жить удобно и дешево и, кроме обыкновенной платы, получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказаться от дивиденда». Чего же ждать лучшего? Но почему же, с горечью задавал вопрос Чернышевский, «такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных?» Даже хороший экономист старой школы скорее согласится «пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного или неудобноисполнимого» (VII. 61, 63).

Ограничившись этим выступлением в печати, Чернышевский не стал навязывать Западу изложенный план пересоздания жизни села на принципах свободного коллективного труда. Да и веры не было, что там за него схватятся. Наоборот, его, как только что сказано, удивляло

равнодушие там к идеям Л. Блана. Значит, затея с планом имела целью не только высказаться об общеисторических возможностях момента жизни и сказать передовым странам человечества об их обязанности первыми сделать свой шаг к вершине развития, но и в еще более острой потребности напомнить соотечественникам об общинно-социалистическом, с его точки зрения, предназначении развития отечественной деревни, о чем, вторя Герцену, он до этого так немало писал.

Общинный социализм

В освещении исторического развития земледелия, как и всего в природе и обществе, Чернышевский также руководствовался «немецким» законом всеобщности. По его мнению, и «построение земельных отношений» имеет три цикла развития: начальный, средний (ускорение) и высший, по форме схожий с низшим. В начале развития в первобытном обществе земля находилась в общинном владении. Это было обусловлено тем, что, писал он, человеческий труд в то время не имел «прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не имеют земледелия, не производят над землею никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких капиталов собственно на землю». Положение коренным образом изменяется во вторичном состоянии (усиление развития). Земля начинает требовать затрат труда и капитала, удобрений и, естественно, становится частной собственностью того, кто вкладывал в нее свои средства и труд. «Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода». Успех ведения единоличного хозяйства обеспечивался тем, что владелец земель одновременно был и работником на ней. Чернышевский видел прямую зависимость энергии труда от степени владения вещью и правом собственности производителя на вещь, которая выходила из его рук (V. 377, 378). Это сочетание порождало личную заинтересованность работника в труде, а личный интерес, говорил он, «есть главный двигатель производства»; или еще определеннее: «...личный интерес служит сильнейшим или, пожалуй, единственным двигателем всякой деятельности» (VII. 18; V. 620). Итак, заключал он, «основною идеею учения о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице» (VII. 19, 20).

Итак, в начале вторичного состояния земель владел тот, кто ее обрабатывал и затрачивал капитал на ее улучшение. Но с усилением развития промышленно-торговой деятельности спекуляция приобретает громадные размеры, проникает во все другие отрасли народного

хозяйства, в том числе и в самую обширную из них — сельское хозяйство. Появляется новая система — фермерство по контракту, и личное земледелие теряет свой прежний характер. Рента начинает поступать в руки тех лиц, кто не участвовал или принимал незначительное участие своим капиталом в улучшении земли. «Таким образом личная поземельная собственность перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение земли». Между тем обработка земли начинает требовать таких средств, которыми не располагает большинство населения, в силу чего оно постепенно превращается в наемных работников. «Этими переменами уничтожаются те причины преимущества частной поземельной собственности перед общинным владением, которые существовали в прежнее время.» Частное землевладение становится препятствием историческому прогрессу. Тогда человечество вновь возвращается к общинному владению землей, которое, по мнению Чернышевского, «становится единственным способом доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения, производимые в ней трудом». При этом оно становится нужным не только «для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов самого земледелия». В новых условиях общинное владение считается им единственным средством, способным соединить выгоду земледельца с улучшением производства и методы производства с добросовестным исполнением работ. Только при этих обстоятельствах может быть обеспечено успешное производство. Поземельные отношения поэтому и должны принять теперь первобытную форму как «высшую форму отношений человека к земле» (V. 378, 379).

Однако, пока шла речь об общине как форме землепользования и производства в ее общеисторическом значении, перед Чернышевским, сторонником «немецкого» закона всеобщности, проблем не возникало. Но когда встал вопрос осуществления идеала общинного союза, обнаружили препятствия. Они были связаны как с современным состоянием самой общины, так и с возражениями чисто теоретического характера.

Представители «отсталой экономической школы», т. е. сторонники буржуазного развития деревни, помимо очевидных недостатков, присущих общине как патриархальному пережитку (отсталая агротехника, частые переделы, отсюда нежелание удобрять землю, отсутствие личного интереса, предприимчивости), выдвигали, на первый взгляд, логически неотразимый, совсем в духе самого Чернышевского, довод: «Частная поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при историческом развитии общественных отношений». Значит, «если хотим идти вперед по пути развития», ее надо покинуть. Или: «Общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная собственность вторичная форма, как же можно не предпочитать высшую форму низшей?» (V. 363). Но и этот довод его не смущал.

Все частные недостатки общинного владения землей при победе и развитии принципа товарищества, особенно при переходе к совместному производству, Чернышевский находил устранимыми и сам выдвигал перед оппонентами положения, из которых просил опровергнуть хоть одно:

«1) принцип общинного пользования землею сам по себе не может быть признан несовместным с успехами сельского хозяйства,

2) при достижении государством сильного развития торговли, пароходства и железных дорог общинное пользование землею представляется единственным средством избавить огромное большинство земледельческого населения от бедствий, соединенных с батрачеством и нищетою, необходимым следствием батрачества,

3) Англия и Франция вступили уже в этот период,

4) Россия скоро вступит в него,

5) даже при конкуренции мнимые неудобства общинного пользования землею для усиления производства далеко превышаются выгодными следствиями общинного пользования для благосостояния массы земледельческого населения,

6) потому и в настоящее время благо государства, тождественное с благом большинства земледельческого населения, требует сохранения общинного пользования землею... Мы согласны признать всю систему опровергнутою, если будет научными доказательствами опровергнуто хотя одно из составляющих ее положений» (IV. 757, 758).

Отстаивая в споре с «экономистами старой школы» преимущества общинной организации сельского хозяйства, Чернышевский писал, что при общинном владении землей — «огромное большинство нации сохраняет равномерное участие в недвижимой собственности...» «в миллион раз меньше юридических споров», нежели при частной собственности, а если они и бывают, то разрешаются тут же; «для центральной власти или для провинциальной администрации еще меньше хлопот», так как это — «единственный род собственности», который не нуждается в правительственной защите или помощи; «по своему принципу и результатам своего существования... совершенно чуждо и противно бюрократическому устройству»; она «охраняет самоё себя» и более, чем другие виды собственности, «предохраняет частную жизнь от административного вмешательства и полицейского надзора»; при разрешении вопросов внутренней жизни она «основана исключительно на одном свежем материальном факте, который держится в понятии всех окружающих людей», в силу чего не «зависит от бесчисленного множества фактов, обстоятельств и документов», как собственность иного рода. «Принадлежал ли известный участок общинной земли известному лицу? Все члены общины были на сходке, присвоившей ему этот участок, сомнения и споры тут невозможны.» В беспорядочности

имущества «лежит первое и полнейшее условие независимости частного лица», что «служит первойшей преградой постороннего вмешательства в его жизнь»; невозможна мысль об утайке, обмане, сутяжничестве, невозможна утрата прав, а это формирует независимость характера общинника, развивает его уверенность в свои силы, «привычку к энергической инициативе»; «решения общества зависят от его участия», так как с этим «связан очень важный личный интерес».

Выдвинув эти положения, Чернышевский заключал: «Спрашивается теперь, благоприятно ли такое устройство для развития в каждом члене общества охоты и привычки быть гражданином, то есть неослабно смотреть за ходом общественных дел и по мере своих способностей участвовать в их ведении?» (V. 615–619).

Не было затруднений у Чернышевского в ответе на критику общины и с научных позиций. «Научная неоспоримость благотворного действия общинного принципа не подлежит никакому сомнению», — уверенно писал он. Все дело в том, что принцип этот появился в науке позже других, а новое, благодаря присущему представителям старых школ консерватизму, всегда трудным путем и медленно идет к своему торжеству. Он сетовал на то, что «пример западного населения, бедствующего от утраты этого принципа, не имеет над большинством наших экономистов такой силы, как лишенные всяких дельных оснований изречения тех политико-экономических авторитетов, которых они привыкли держаться».

Взаимопонимание в вопросе о сохранении общины он находил лишь со славянофилами. По его мнению, они учли смысл урока, «представляемого нам участием английских и французских земледельцев, и хотят, чтобы мы воспользовались этим уроком». Общинное пользование землей они считают «важнейшим залогом, необходимейшим условием благоденствия земледельческого класса». По мнению Чернышевского, в этом вопросе они «высоко стояли над многими из так называемых западников» (например, И. В. Вернадского, Д. М. Струкова и др.), которые продолжают держаться отсталой теории с ее односторонним увлечением «частными правами отдельной личности» и потому готовыми необдуманно «восставать против нашего драгоценного обычая как несовместного с требованиями этих систем, несостоятельность которых уже обнаружена наукою и опытом западноевропейских народов» (IV. 759, 760). Ему казалось странным, что одни из числа его критиков считают себя шеллингианцами, другие гегельянцами, и в то же время не могут уразуметь, что, отвергая общину с ее правом коллективного владения, они тем самым выступают против новейших открытий немецкой философии, выраженных формулой: «По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого она отправляется» (V. 363).

Да, соглашался Чернышевский, община в своем современном виде не может быть предметом мистической гордости. Сохранение у нас

исчезнувшей у других народов «первобытной древности... доказывает только что мы жили гораздо меньше, чем эти народы» (V. 362, 363). Причин тому столь много, что Чернышевский не стал вдаваться в подробности, а остановился лишь на главных из них и в первую очередь назвал крепостное право, которого и «одного было бы достаточно, чтобы объяснить жалкое положение нашего земледелия». Говорят-де, что наш крестьянин ленив. Чернышевского поражала не лень, а невероятная апатия народа, который не живет, а, «лучше сказать, прозябает или дремлет в тяжелой летаргии». Лень противоречит психологии, которая утверждает, что человеку присуща врожденная страсть к деятельности, а физиология доказывает, «что наши мускулы имеют физическую потребность работать». Поэтому не может быть ленивых народов. Если мы работаем меньше англичан или немцев, то только потому, «что энергия труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею». Исторические обстоятельства жизни развили в русском народе чисто пассивные добродетели «долготерпение, переносливость к лишениям, обидам и всяким невзгодам». Этими качествами удобно пользоваться для чьей-либо выгоды, а для развития экономической деятельности они непригодны. Но русский человек может проявить «чрезвычайно замечательную неустойчивость и живость в работе», когда обстоятельства пробуждают в нем энергию к делу, например, если он почувствует себя самостоятельным, свободным «от стеснений и опеки, которыми он вообще бывает подавлен». Кроме того, продолжал свои доводы Чернышевский, всякое дело «успешно идет только тогда, когда руководится умом и знанием; а ум развивается образованием ...поэтому только просвещенный народ может работать успешно». Повторение этих положений Чернышевского здесь, при их применении к разбору конкретных вопросов, наглядно как приложение общего к частному. Что отмечал он тогда в состоянии образования в стране? По его мнению, в одной Баварии, далеко не передовой земле Европы, было столько же учащихся в школах, как во всей России, где грамотных на 65–70 миллионов жителей страны всего 4–5 миллионов; газет издается 30–35 тысяч экземпляров, а в одном только Париже 200 тысяч... (V. 694, 695, 696).

У нас, писал Чернышевский, мало городов, они слабо развиты, причиной чего является «неразвитость нашей промышленности и торговли»; в то же время «отпуск хлеба за границу стесняется отсутствием сносных путей сообщения». При малочисленности населения городов, слабом развитии промышленности и торговли, неразвитости путей сообщения невозможно успешное развитие всякого производства. «Псковская губерния может умереть с голоду прежде, чем получит хотя четверть хлеба из Малороссии, которая в то же время будет страдать от невозможности сбыть куда бы то ни было свой хлеб.» О крестьянах и говорить нечего, но и помещики, пользуясь даровым трудом

крепостных, ведут хозяйство «без всяких затрат оборотного капитала», в то время как «успехи земледелия находятся в прямой зависимости от величины затрат на оборотный капитал». Общий итог был весьма омрачающим: «в стране, где население мало, города не развиты, путей сообщения нет, торговли и промышленности почти нет, оборотного капитала в земледелии нет, где обстоятельствами и учреждениями подавлена в народе энергия и нет простора умственной деятельности, можно думать, что, каков бы ни был способ владения землею в такой стране, земледелие не могло бы достичь в ней никаких успехов» (V. 692, 693, 697).

Этот итог можно рассматривать как экономическую программу предстоявшего, по Чернышевскому, социалистического развития страны, основную роль в чем и должна была, — думал он, — сыграть община. «Вопрос о земледельческом быте важнейший для России, которая, — писал он, — очень надолго останется государством по преимуществу земледельческим, так что судьба огромного большинства нашего племени долго еще целые века будет зависеть, как зависит теперь, от сельскохозяйственного производства». Правда, он видел начало «экономического движения» в России, пробуждение духа «торговой и промышленной предприимчивости», за которым должны последовать глубокие изменения в жизни. И все же, говорил он, каковы бы ни были эти «преобразования, да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашею прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием, да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землями, на это благо, от приобретения которого теперь зависит благосостояние земледельческих классов Западной Европы. Их пример да будет нам уроком. Теперь мы еще можем воспользоваться этим уроком» (IV. 743, 744, 745, 746).

Как это мыслилось Чернышевскому? Строительство новых общественных отношений, полагал он, должно было пройти три этапа, в каждом из которых последовательно осуществились бы следующие принципы:

- 1) общинное владение,
- 2) общинное владение и производство,
- 3) общинное владение, производство и потребление.

Первый этап или, как говорил он, ступень рассматривался им в качестве переходного, второй решал задачи социализма, а третий — коммунизма (IV. 415, 416).

В переходное время, которое займет лет 20–25–30 (IV. 750; V. 152), общинное владение землей позволит достигнуть двух основных результатов: «А) Сохранить участие огромному большинству нации во владении недвижимой собственностью; В) Поддержать по возможности равномерное распределение подлежащей ему части недвижимой собственности между лицами, участвующими в ней» (V. 615). Это были

те условия, к которым веками привыкал русский крестьянин и, следовательно, совершенно недопустимо было в столь короткое время внедрять в его хозяйство принцип совместного производства. Правда, Гакстгаузен обнаружил, что подобная система земледелия существует в некоторых местах России. Чернышевский процитировал следующий отрывок из его работы: «Я уже замечал (говорит Гакстгаузен), что в северных лесах России есть еще земледельческие общины с общинным полем, без раздела на участки. Но есть даже целые огромные области, в которых наибольшая часть земли не разделена даже между отдельными сельскими общинами, а остается в общинном владении, в нераздельном пользовании целого населения всей области, составляющего одну общину». Он имел ввиду территорию уральских казаков (IV. 342). Далее Чернышевский приводил большую выписку из подробного описания Гакстгаузеном системы общинного владения и производства уральских казаков, воспроизводить которое здесь нет смысла. Немецкий экономист восторгался этим обычаем и в выгодном свете противопоставлял его западноевропейскому. Там, писал он, «государства страдают одной болезнью, которая грозит им погибелью и исцеление которой доселе остается неразрешимой задачей, они страдают пауперизмом — пролетариатством. Россия не знает этого бедствия; она предохраняется от него своим общинным устройством. Каждый русский имеет и родную землю и право на участок ее». Как видим, Чернышевский использовал Гакстгаузена как авторитетного адвоката и пропагандиста общинного принципа. Что касается системы уральских казаков, то пока, как отсталый способ ведения хозяйства, она его не интересовала, но он придавал этому принципу большое значение для будущего и в связи с этим писал, «что обычаи, бесполезные или даже вредные при одних обстоятельствах, могут быть выгодными при других» (IV. 345, 347–348).

Он счел нужным обратить внимание на два других обстоятельства, мимо которых пройти не мог, так как они для него в период начавшейся разработки крестьянской реформы имели особое значение. Во-первых, он отметил мудрость правительства относительно общины уральцев: «предоставляя домашние дела их собственной заботе: “пусть себе сами улаживаются, как им удобнее”, говорит наше правительство, и мы, — писал Чернышевский, — просим читателя обратить внимание на блистательные, поразительные результаты, производимые этою мудрою системою нашего правительства: как дешево обходится правительству управление уральскими казаками по такой системе! Как быстро и исправно исполняют они при этой системе обязанности, которых невозможно было бы исполнить ни при какой другой системе! Мудрость правительства есть великое счастье и для народа и для самого правительства». Это были слова, сказанные искренне и от души, слова благодарности правительству, начавшему раскрепощение крестьянства.

Во-вторых, поддерживая это великое дело правительства, ему важно было убедить его сохранить современное общинное владение в освобождаемой деревне, поэтому он тут же писал, что «общинный дух, сохранившийся у нас благодаря общинному владению землею, так свеж и силен, что общинное производство работы, это дело, столь трудно исполнимое на Западе, у нас без всяких хлопот делается там и в тех случаях, когда становится нужно... Неистощимую, вечно живую и свежую почву всех возможных улучшений представляет наше общинное владение землею, неистощимый запас национального благосостояния и государственного процветания находится в нем». В этот-то момент со ссылкой на слова, которые говорил А. К. Шторх своим воспитанникам великим князьям, он писал: «да совершит Александр II дело, начатое Александром I и Николаем I», разумеется, сам в полной мере разделяя их (IV. 346, 347).

Каким содержанием будет наполнено развитие общинного производства, в каких условиях оно будет проходить, каких результатов достигнет в указанные 20–30 переходных лет?

Чернышевский давал на эти вопросы достаточно определенные ответы. Поскольку речь идет об общине, веками сложившейся системе владения и пользования землей, он не считал нужным давать общинникам советы, как и чем они должны заниматься. Напротив, как только что сказано, нужно, чтобы никто, и прежде всего государство, не вмешивался в их внутреннюю жизнь. Но в то же время ему было важно, чтобы общинный труд был содержательным, полезным обществу. Об этом он обстоятельно писал в 1860 г. в своей работе «Капитал и труд». Что, с его точки зрения, было производительным, полезным и ценным и что непроизводительным, ненужным и даже вредным для общества?

Поскольку политическая экономия, как наука, «должна рассматривать предмет с общей точки зрения, иметь в виду выгоды общества, нации, человечества, а не какой-нибудь частной корпорации», производительным трудом, по его мнению, нужно считать такой труд, «продуктами которого возвышается благосостояние общества». А это возможно только в том случае, если хозяйство будет вестись расчетливо. Значит, надо знать, какой труд может считаться выгодным, производительным, «надобно знать положение и потребности общества». Потребности общества Чернышевский делил на «необходимые и прихотливые». В числе первых в природных условиях России должны быть «довольно просторное и опрятное жилище, хорошее отопление, теплая одежда и пища, которая бы своим питательным достоинством равнялась пшенице и мясу. Пока этого не будет у людей, труд, обращаемый на производство предметов, служащих на удовлетворение потребностей более изысканных и менее важных для здоровья, употребляется нерасчетливо, убыточно, непроизводительно». Например, если на производство крепкого теплого платья требуется 10 рабочих дней с затратой

труда на 10 рублей, а кто-то пожелает носить платье с затратой труда на 50 рублей, это значит, что он отнимет у общества лишних 40 рабочих дней и затраты лишних 40 рублей на оплату дополнительного труда. Отсюда вывод: «весь труд, употребленный на производство продуктов, стоимость которых выше другого сорта тех же продуктов, удовлетворительного для здоровья, надобно называть непроизводительным при настоящем положении общества, когда некоторые из членов его еще имеют недостаток в продуктах, необходимых для здорового образа жизни». Последнее замечание очень важно. Понятно же, что Чернышевский не хотел задерживать потребление людей на каком-то минимально достаточном уровне. По мере роста производства продуктов, нужных для благосостояния людей, этот уровень должен повышаться. Рост этот будет неперенным и непрерывным, так как выгода трудящегося «требует наработать побольше в каждый день», следовательно, и получить больше по распределению продуктов труда. Из этого видно, писал Чернышевский, что при таком принципе производства «сохраняют всю свою привлекательность средства к усовершенствованию производства» (VII. 41, 42, 43, 51).

При общинном владении все расчеты просты: «доход с дома легко высчитать до последней копейки; расходы по управлению и ремонту тоже; также только забота о собственной выгоде нужна для того, чтобы решить, какие пристройки нужно сделать» (IV. 415).

Если сопоставлять системы частного и общинного владения земель, следует, указывал Чернышевский, учитывать, какая из них более благоприятна благосостоянию всего общества, которое, говорил он, «зависит не только от массы производимых ценностей, но и от их распределения». Чтобы показать преимущество в этой системе товарищества, он, делая уступки системе частного владения, производил такие арифметические расчеты: брались два участка земли по 5 000 десятин каждый с 2 000 работников на каждом. Частновладельческий участок состоит из 30 ферм, получающих с десятины улучшенной земли по 20 рублей дохода, из которых 5 рублей фермер отдает в качестве арендной платы землевладельцу, 6 — рабочим, 9 оставляет самому. В товариществе десятина дает только 12 рублей дохода, но они все являются общим достоянием. Итог таков:

«Общая ценность производства на первом участке $5\,000 \times 20 = 100\,000$ руб. Общая ценность производства на втором участке $5\,000 \times 12 = 60\,000$ руб.». Здесь превосходство частного хозяйства неоспоримо, что же касается «состояния людей» на этих участках, полагая на каждом в семье по 5 человек, расчет давал такой результат:

«Участок с фермами:

1 семья (землевладелец) получает $5 \times 5\,000 = 25\,000$ руб.;

30 семей (фермеры) получают $9 \times 5\,000 = 45\,000$, или каждая семья по 1 500 руб.;

369 семей (наемные земледельцы) получают $6 \times 5\,000 = 30\,000$ руб., или каждая семья по 81 руб. 25 коп.

Участок с общинным пользованием:

400 семей получают $12 \times 5\,000 = 60\,000$, или каждая семья по 150 руб.

Вывод ясен: на втором участке масса населения пользуется почти вдвое большим благосостоянием, хотя масса производимых ценностей почти вдвое больше на первом участке» (IV. 750, 751).

Даже делая в этих расчетах приведенную уступку частному хозяйству, Чернышевский доказывал преимущество производства в обществе потребления. В действительности же, полагал он, заинтересованность общинника в работе на себя обеспечит и в его хозяйстве более, чем теперь, высокую производительность труда. Сопоставляя эти результаты деятельности двух типов хозяйств, Чернышевский при этом имел в виду не умозрительное, а их реальное соперничество, так как был уверен, что в самое ближайшее время в России распространится фермерское хозяйство, и две системы, соревнуясь, будут длительное время сосуществовать.

Такого рода вывод Чернышевский делал на основании наблюдений за изменениями, которые в 50-х гг. уже стали достаточно заметны в экономической жизни страны. Россия, по его мнению, в это время уже оказалась в начале среднего общеисторического цикла развития (ускорение развития). По этому поводу он писал: «того нельзя скрывать от себя, что мы живем в переходной эпохе (к высшему циклу развития. — В. А.), что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции... И теперь уже обнаруживаются первые признаки этого закона в тех отраслях экономической деятельности, где введены улучшенные способы уже большие капиталисты оттесняют малых». Он имел возможность сам наблюдать, как на его глазах стал быстро исчезать «многочисленный зажиточный класс судовладельцев, уступая место нескольким заведениям паровой перевозки товаров». Кроме того, и с постройкой железных дорог стал вытесняться «многочисленный и вообще пользующийся благосостоянием класс людей, промышлявших извозом по главным дорогам» (IV. 744).

Больше того, он не только допускал эту возможность, но и считал необходимым для будущего развития даже самой общины внедрения у нас фермерства. Казалось бы, призывая в страну то, что на Западе в свое время разрушило его общину, Чернышевский явно противоречил сам себе. Нет, не противоречил. «Признавая... необходимость

для настоящего времени... чтобы подле общинного владения существовала и частная поземельная собственность, мы, — писал он, — конечно, с полным согласием принимаем... мысли о том, что общинное владение» будет ограждено «от вторжения частной собственности в свою область» (V. 152). Это будет обеспечено изданием государством соответствующих законов.

Познакомимся подробнее с ходом рассуждений Чернышевского по поводу выдвинутых им положений о необходимости сосуществования двух систем. Прежде всего эта необходимость диктовалась отсталостью в стране отечественного сельского хозяйства. Фермер придет в Россию с новой техникой и технологией ведения хозяйства, рядом окажется наглядный пример для заимствований. Кроме того, фермеру, помимо общины, негде будет брать рабочую силу. Общинники, писал Чернышевский, «будут наниматься тогда в работники к фермерам не иначе, как на выгодных для себя условиях» (V. 154). А это даст возможность перенимать и опыт ведения хозяйства. Являясь коллективным владельцем земли, община найдет необходимый оборотный капитал для приобретения техники, как только ощутит в этом потребность.

Но фермерство призывалось Чернышевским не только с педагогическими целями. Оно, по его мнению, должно было оказать России помощь и в развитии всего производства, быта, так сказать, цивилизовать ее по западному образцу. Он ожидал от начинающегося нового экономического движения громадных результатов. Намеренно сокращая их число вдвое-втрое, он полагал, что через 10 лет в России будет построено 4 тысячи верст железных дорог, через 30 лет — только 15, в силу чего там, где пройдут линии дорог, цена хлеба возрастет пусть даже только на 50 %. В результате в скором будущем ему виделось удвоение капиталов, торговой и промышленной деятельности, а это, даже по его скромным подсчетам, будет, думал он, означать «уже необыкновенно важный переворот в быте, и многое в нынешнем экономическом порядке должно измениться вследствие его».

Но эти успехи развития нового «экономического движения» в ближайшие 30 лет как раз совпадают для общины со временем перехода к социализму (система совместного владения и производства). Значит, те изменения, которые произойдут в стране в целом, не минуют и жизни самой общины, быта крестьянства. «Волею или неволею, — писал он, — мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы». До сих пор крестьяне мало покупали и многое производили для себя сами. «Скоро, — продолжал Чернышевский, — будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным... льняные и посконные ткани домашнего изделия сменяются хлопчатобумажными... Все это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершалось только в больших городах» (IV. 744, 745).

Чернышевский, оказывается, полагал, что за указанные 30 лет, воспользовавшись достижениями Запада в науке и хозяйстве, Россия пройдет второй цикл общеисторического развития и вслед за ним перейдет к высшему его циклу. Второй период (ускорения развития) «и у нас скоро будет сменен третьим, как сменился уже им в Англии и Франции». В таком случае, писал он, если «нам недолго остается до третьего периода», то стоит ли разрушать теперь «удобное общинное пользование», не выгоднее ли переждать «кратковременные неудобства», присущие пока отсталому сельскому хозяйству, и тем самым «избавить себя от мучительного процесса восстановления... Для удобства на тридцать лет разрушать учреждение, восстановление которого требует вековых мучительных усилий невыгодно» (Там же. 750, 751). Таковыми были его формально-логические доводы в пользу сохранения общинного владения в спорах с противниками из стана приверженцев «отсталой экономической теории», жаждавших ее разрушения с помощью крестьянской реформы.

В ожидании бурного развития фермерского хозяйства Чернышевский обратил внимание на имеющуюся в стране некоторую базу частного производства. «У нас, — писал он по этому поводу, — есть землевладельцы с юридическим полномочи́ем английского или французского землевладельца (помещики, купцы и разночинцы, купившие себе землю, однодворцы, несколько тысяч крестьян, владеющие собственной землею)... По праву полновластной собственности обрабатываются у нас миллионы десятин», хотя в общей массе это составляет пятнадцатую, может быть, двадцатую часть (IV. 743). Наибольшее количество этой земли находилось у помещиков. Что будет с ними? При условии, что если исчезнет общинное владение, то «большие собственники, сами ведущие свое хозяйство, скоро сделались бы редким исключением между собственниками». Они, по стремлению человеческой природы, имея возможность получать без хлопот арендную ренту, проживут ее (V. 153, 154).

Но это — при условии распада общины. Выходит, что сохранение ее окажется благотворным и для помещиков. «Мы совершенно уверены, — писал он в 1858 г., — что благоразумно исполненным отменением крепостного права чрезвычайно возвысится благосостояние помещиков, возвысится и важность сословия землевладельцев». В это время в отношении к ним он был весьма благорасположен. Объявление о добровольном согласии помещиков на освобождение крестьян, начало обсуждения этого вопроса в губерниях, как видим, и вызвало такую реакцию. Он стал говорить о их «высокой гражданской отважности», гуманности, совершении нравственного подвига (V. 149, 150). С отменой крепостного права общинам придется сосуществовать и с помещиками, при этом «товарищества поселян будут полезны тогда и для крупных

землевладельцев», так как станут «соперницами капиталистов при наиме больших поместий» и тем самым «избавят помещика от зависимости, в которую его поставила бы монополия капиталистов, и от невыгодных условий контракта, предписываемого монополией» (Там же. 153). Чернышевский тем самым еще раз показывал, что он не видел той непримиримости противоречий между помещиками и крепостными крестьянами, которые ставили бы их во враждебные отношения друг к другу. Прежде всего, писал он, современные помещики не сами «присвоили себе вредную для государства привилегию пользоваться обязательным трудом». Она досталась им по наследству и, следовательно, лично они не виноваты в его существовании, поэтому, продолжал он, нельзя винить даже тех из них, кто хотел бы сохранить такое положение, так как они защищают свои выгоды. Если же им доказать, что при отказе от права владеть крестьянами их жизнь не ухудшится, а улучшится, «они не будут иметь ничего против улучшений». Притом число помещиков, которые выступают с нравственно дурными речами и «защищают злоупотребление из пристрастия к нему», казалось ему незначительным, поэтому, как бы ни было неприятно впечатление, ими производимое, оно «не должно относиться к целому сословию» (V. 145, 146).

В таком случае возникает вопрос о том, как мыслились Чернышевским пореформенная судьба помещичьего землевладения, когда, по его мнению, начнут закладываться основы социализма. Об этом определенно, с основанием, можно судить по убеждению Чернышевского в способности общины не только выстоять в соревновании с фермой, но и уже в переходный период начать, по мере надобности, расширять свои территориальные пределы. Это будет происходить за счет присоединения «к прилежащей общине тех клочков частной земли, которые через наследственное дробление измельчали до известного предела», или вследствие передачи «по завещанию отца наследственной его земли в общинное владение его роду». Но тут Чернышевский оговорился, что «эта мысль требует тончайшего развития» (V. 152). Теперь, когда разработка реформы только началась, ему не хотелось развивать обозначенную мысль и тем самым мешать ей, но вероятнее всего он верил, что и в будущем сословие помещиков окажется столь же гуманным и способным на новые нравственные подвиги, или, дробясь, мельчая по праву наследования, оно просто будет лишаться земли в пользу общины.

Иные частные хозяйства в результате конкуренции будут терпеть банкротства, а их рабочие становиться безработными. Для них благополучная жизнь общинников станет притягательной и вызовет желание самим объединяться в товарищества. Предусматривая этот процесс, Чернышевский высказал по этому поводу ряд соображений. Прежде всего, писал он, всякое изменение быта должно «совершаться с согласия и по желанию большинства заинтересованных в том людей...» Другое принципиальное положение заключалось в том, чтобы цель

эта достигалась «постепенно и притом преимущественно объяснениями поселянам выгод общинного владения и наглядными примерами по соседству. Меры должны идти вслед за убеждениями большинства, а не предшествовать ему» (IV. 413, 439). Наконец, на этот случай, как Чернышевский и предусматривал в плане образования товариществ на Западе, у общины должны быть средства для оказания материальной помощи вновь создаваемым товариществам.

Самым существенным результатом описываемого периода будет подготовка общинников к переходу к совместной обработке земли. «Через тридцать или двадцать пять лет, повторю слова Чернышевского, — общинное владение будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли» (V. 151). То будет «счастливейший» день жизни, «когда мы почтем себя в праве требовать... общинного производства». А он настанет тогда, «когда это может быть исполнено с согласия и по желанию большинства русских земледельцев» (IV. 414). Разница между этими двумя формами считалась им «неизмеримой». Если первая «только предотвращает пролетариат», то вторая, кроме того, «содействует возвышению производства. Вторая форма гораздо выше и благороднее первой» (Там же). Только при совместной обработке всего массива общинной земли можно, писал Чернышевский, использовать паровой плуг, вводить плодопеременную систему, проводить ирригационные работы и орошение полей.

Он, однако, не описал эту вторую форму общинного развития. Известно только, что она займет довольно продолжительное время, — лет 100–150, — когда частное хозяйство постепенно будет совершенно вытеснено, а община, развив до предела свои производительные силы, отомрет, и общество перейдет к осуществлению формулы «общинное владение, производство и потребление», т. е. формулы коммунизма.

Мещанский социализм

Вскоре после крестьянской реформы Чернышевский как бы забывает об общине и перестает связывать с ней судьбу России. Его взор обращается в сторону города. Это — общепризнанный в литературе факт. Что же касается причины «забвения» им святая святых своей веры, об этом пишется по-разному. В одном случае речь идет о трансформации его общинного социализма в социализм городских мастерских в связи с возрастанием с экономическим прогрессом роли промышленности (Н. Г. Чернышевский и современность. М., 1980. С. 372). В другом — говорится о классовой переориентации Чернышевского и отходе от мужицкого демократизма к признанию решающей исторической роли пролетариата (Вопросы философии. 1979. № 10.

С. 107). На самом же деле никакого «отхода» не было. Вспомним, что результат крестьянской реформы Чернышевский воспринял как неудачу, как срыв этапа «усиленной работы» образованных людей его поколения. Крепостное право, при его «отменении», было, говорил он, сохранено. Следовательно, теперь и речи быть не могло об общине. Ее несвобода продолжала препятствовать образованию крестьян, а потому была и несовместима с идеалом социализма. Надо было искать новое, как бы обходное, решение задачи. И он находит это решение.

Опыты Р. Оуэна, значительные успехи в развитии городской кооперации на Западе после революции 1848 г. и появление их в России, наконец, рассуждения о социалистической кооперации Д. Милля, экономический труд которого Чернышевский переводил в начале 60-х гг., — все это и подсказывало ему необходимость использовать горожан для осуществления своих социалистических целей в деревне.

«Социализм» мастерских «Что делать?»

Итак, крестьянская реформа не создала условий для перехода к общинно-социалистическому хозяйству. Община, не получив ожидаемой Чернышевским независимости, сама, без помощи извне, развиться не могла. Где искать «развивателей» поселянина? — В городе, жители которого более развиты! Там нужно готовить пропагандистов для села. «В городском населении, — писал он в конце 1860 г., — люди мыслят уже самостоятельно, и зараза самостоятельности в мыслях, ведущей к самостоятельности в поступках, разливается из городов в села. А между тем пропорция городского населения все растет» (IX. 314—315). Идея воспользоваться большей развитостью горожан для цивилизации поселян владела им при написании романа «Что делать?» Лопухов поступает на завод, работает в конторе и имеет возможность влиять «на народ целого завода». Если уроки уже «давно ему надоели», то «занятие в заводской конторе», напротив, приятно, «потому что оно важно», так как «кое-что успевает там делать: развел охотников учить грамоте, выучил их, как учить грамоте, вытянул из фирмы плату этим учителям, доказавши, что работники от этого будут меньше портить машины и работу, потому что от этого пойдет уменьшение прогулов и пьяных глаз, плату самую пустую». Кроме того, он старался и воспитывать рабочих, «оттягивать» их от пьянства и с этой целью «часто бывал в их харчевнях». Сам же, зарекомендовав себя дельным и оборотливым человеком, становится помощником управляющего заводом, а фактически берет завод в свои руки, так как управляющий был назначен в качестве почетного лица для соблюдения формальностей (XI. 193).

Чернышевский не показал цели, не довел до конца начатое Лопуховым дело подготовки учителей из рабочих завода, а самого его неожиданно свел со сцены романа, но не оставил у читателя твердого

представления о его судьбе — погиб ли он или оставлен «до востребования», чтоб потом, при других обстоятельствах, когда появится в нем надобность, снова ввести его в действие во второй части романа, о которой он сказал как о развитии романа. В «Записке для А. Н. Пыпина и Н. А. Некрасова», приложенной к последней части «Что делать?», Чернышевский, сославшись на свою литературную «бесталанность», писал, что сразу, пока в памяти еще не сгладились сюжеты жизни Веры Павловны с компанией, не может «пришить» к первой части романа вторую, но осенью или зимой эта часть будет готова. Действия в ней будут развиваться стремительно, всего в один месяц, а ее главными героями станут спасенная Рахметовым «дама в трауре» и он сам. Они влюбляются друг в друга, создают семью. «Общая идея второй части: показать связь обыкновенной жизни с чертами, которые ослепляют эффектом неопытный взгляд, изложить истину, что у Наполеона или Лейбница тоже, как и у всех людей, было две руки, две ноги... У меня так и подделано: и Рахметов, и дама в трауре на первый раз являются очень титаническими существами; а потом будут выступать и брать верх простые человеческие черты, и в результате они оба окажутся даже людьми мирного свойства и будут откровенно улыбаться над своими экзальтациями». К сожалению, здесь не сказано, как должна была бы выглядеть «связь обыкновенной жизни» с новыми людьми, лица которых «на градус или на два повыше, чем в первой» части (XI. 721, 722). Следовательно, и сами они будут заняты значительно более серьезными делами. Какими? Он об этом не сказал, но можно предположить, что они должны быть связаны с подготовкой коммунистического быта, приснившегося Вере Павловне в ее четвертом сне.

Роман был написан с 14 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г. Литература эту спешку связывает с желанием Чернышевского не опоздать к моменту завершения оформления договоров крестьян с помещиками об условиях освобождения их от крепостных отношений, что падало на март 1863 г. Широко бытовало мнение, что в это весеннее время недовольные крестьяне восстанут. Оценивая роман как произведение, имеющее революционную направленность, литературоведы особенно полагали, что он и был приурочен к моменту ожидаемого восстания. С этим последним утверждением вполне можно согласиться, только цели Чернышевского были совершенно противоположными. Не подстегнуть «крестьянскую революцию» и стать ей руководством должен был роман, а, напротив, предупредить молодежь от опасных увлечений, охладить горячие головы. Что делать? Заводить мастерские! И он был услышан и понят. Роман жадно читался. Ишутинцы, первые последователи Чернышевского, завели переплетную мастерскую, думали создать товарищество извозчиков и ассоциацию рабочих брянского металлургического завода, приступили к организации артели на ватной

фабрике в Можайском уезде, обращались с просьбой в министерство внутренних дел выделить им землю во Владимирской или Симбирской губерниях для создания сельскохозяйственной фермы на коллективных началах. По инициативе Н. А. Ишутина сестры Е. Л. и А. Л. Ивановы создали швейную мастерскую. Ишутинцы имели связь со швейной ассоциацией С. В. Котельниковой. В Саратове «по мысли Чернышевского» А. Х. Христофоров создал ассоциации рабочих, а Инясевская на артельных началах — модный дамский магазин.

Но последователи идей романа «Что делать?» не были первыми создателями у нас товариществ. В 1859 г. по инициативе М. В. Трубниковой появляется «Общество дешевых квартир». Правда, эту идею еще в 1857 г. пропагандировал Чернышевский (IV. 592–605). И тогда же делались попытки ее реализации. По свидетельству В. В. Стасова, за дело взялись те, к кому, собственно, и обращался Чернышевский, представители высшего света, т. е. люди, обладающие средствами. Они хотели обеспечить нуждающихся рабочих Петербурга дешевыми квартирами. Скорее всего, дело ограничилось бы благородным порывом. Трубниковой же оно удалось. Капитал был составлен, квартиры найдены и даже заселены, однако оказалось, что и дешевые квартиры работницы оплачивать не могли. Это обстоятельство подтолкнуло организаторов пойти дальше: дать своим подопечным возможность зарабатывать деньги. Так в 1859 г. появилась швейная мастерская с общественной кухней, комнатой для детей работающих швей и магазином.

Идея создания трудовых артелей исходила и из дела организации воскресных школ для рабочего населения городов и сел. Школы эти, собирая лучших представителей образованной молодежи конца 50-х — начала 60-х гг., служили не только образовательным, но и воспитательным целям. П. С. Стасова, одна из активных деятелей воскресных школ, вспоминала, что дело это было важно не самой грамотой, «а общением с девочками и девушками, ученицами всевозможных мастерских... Найден первый исход стремления к труду, к пользе общественной, к сближению с народом» (См.: Базилева З. П. Архив семьи Стасовых... // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965. С. 440). Многие из этих людей были приверженцами социализма и свою деятельность в школах и в организуемых ими мастерских рассматривали как подготовку к будущим условиям и формам жизни, соответствовавшим их представлениям о социализме.

Таким образом, Чернышевский в «Что делать?» не пророчествовал. Он внимательно присматривался к жизни и останавливал свой взор на тех ее проявлениях, которые отвечали его социалистическим убеждениям. Так, «Отчет правления Одесского женского благотворительного общества за 1856 г.» дал ему повод выступить с пропагандой его опыта. Переход от благотворительности к созданию трудовых ассоциаций,

члены которых сами зарабатывали средства существования, сразу открывал возможность превращать эти швейные, столярные и другие мастерские в очаги коллективного труда и быта. На базе скорее этого отечественного, чем более многочисленного, но специфически западного, опыта и был создан роман «Что делать?» С позволения жандармов и судей он передавался на волю и печатался частями в № 3–5 «Современника» 1863 г.

Роман этот сфокусировал в себе стихийную практику трудовых объединений. И не только. Чернышевский, как это широко отмечено в литературе, поставил в нем вопросы о новом типе людей, об освобождении женщины, новых условиях и формах труда и быта, нарисовал картину грядущего обновления жизни на коммунистических началах.

Поскольку с романом в историографии и литературоведении связано много обобщающих суждений о мировоззрении и намерениях Чернышевского, возникает необходимость выяснить, кем в действительности изображены в нем новые люди, чего и как они хотели достигнуть. Действительно ли они «подлинно революционные типы», а сам роман являлся «революционно — мобилизующим» произведением?

Лучшие и исчерпывающие ответы на эти вопросы давал сам Чернышевский. «Я, — говорил он о своем замысле, — хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими обыкновенными людьми я их считаю, сами они считают себя, считают их все знакомые, то есть такие же люди, как они. Где я говорил о них не в таком духе?.. Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними? Где проглядывает у меня хоть малейшая тень мысли, что они уж Бог знает как высоки и прекрасны, что я не могу представить себе ничего выше и лучше их, что они идеалы людей? Как я о них думаю, так они и действуют у меня, не больше, как обыкновенные порядочные люди нового поколения» (XI. 227).

Действительно, этим обыкновенным порядочным людям присуще во всех действиях и устремлениях искать заранее осмысленную и взвешенную личную выгоду. Отец Лопухова отдал его в гимназию, чтобы сын, выучившись, сам бы себя обеспечил, да и его с матерью кормил. И тот же расчет привел отца и сына к мысли, что практичнее будет стать медиком. Мы, говорил Лопухов Вере Павловне, «видели, что медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и остался в Академии — хороший кусок хлеба. Без этого расчета я не поступил бы в Академию и не остался бы в ней» (XI. 65). Во всем должна быть личная выгода.

Однако не всякой выгоде должны служить новые люди. Всекие поучители нашей публики, писал Чернышевский, давно провозгласили: «эти люди вроде Лопухова ничем не разнятся от людей вроде Марьи Алексеевны», — матери Веры Павловны, которая представлена в романе человеком, проникнутым духом наживы. Будь она образована, Лопухов объяснил бы ей свое представление о выгоде, она поняла бы, что их выгоды несхожи. Она ищет житейских выгод, Лопухов же сознательно отказался от них «для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такую работою лучшая выгода для него» (XI. 69, 70, 71).

Чернышевский, наделяя своих героев положительными достоинствами, постоянно делал оговорку, что все они люди обычные; «не они стоят слишком высоко, а вы (“друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои”. — В. А.) стоите слишком низко... это оттого только казались они вам царящими на облаках, что вы сидите в преисподней трущобе. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди». Пока же их меньшинство (XI. 228).

Этот тип людей, говорил Чернышевский, зародился недавно. Сначала появились отдельные личности и, как исключение, они были одиноки, бессильны, а потому и бездеятельны, унывали или экзальтировались, романтизировали или фантазировали, не имели главной черты — «хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности». Нового типа людей в его время, т. е. время студенчества, еще не было (XI. 144, 145). Датирование Чернышевским времени появления людей нового типа весьма важно. Это ведь не просто люди, а люди нового поколения, вышедшего на историческую арену деятельности в эпоху «усиленной работы» по обновлению условий и учреждений жизни. Эта эпоха по Чернышевскому, как мы уже знаем, наступила в 1857 г. Здесь же его суждения по этому вопросу весьма противоречивы. Шесть лет тому назад (т. е. как раз в 1857 г., так как роман писался в начале 1863 г. — В. А.) этих людей не видели, а через три года (1860 г.? — В. А.) уже «презирали», а «еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать и они будут согнаны со сцены, ошиканые, страшимые» (XI. 145).

С другой стороны, Лопухов погибает или исчезает в июле 1856 г., прожив до этого несколько лет с Верой Павловной. Следовательно, новые люди Лопухов, Кирсанов, их товарищи и даже Рахметов уже были в 1852–1853 гг., но еще в 1857 г. оставались малозаметными (их «не видели»). «Недавно» родившись, этот тип людей быстро «распложается». «Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? он исчезнет вместе со своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью» (XI. 145). Все это, если отвлечься от арифметических данных, люди поколения крестьянской реформы. Три года тому назад, т. е. в 1860 г., их «презирали».

Действительно, если Чернышевский, говоря это, имел в виду именно 1860 г., то в это время развернулась ожесточенная борьба между сторонниками реформ и крепостниками. Она началась сразу же с момента образования Губернских комитетов по крестьянскому делу. Силы были неравными — подавляющее большинство консервативно настроенного дворянства и либеральное меньшинство. Вот что писал уже в октябре 1858 г. председатель Самарского комитета либерал Ю. Ф. Самарин в Петербург своему единомышленнику Н. А. Милютину: «...Разумеется, баллатировка всегда против нас... Ожесточение консерваторов растет со дня на день: интриг, клевет, дерзостей, грубостей, лганья, притворства, недоброжелательности столько, что... каждое заседание отнимает год жизни и прибавляет клок седых волос... Тяжело... а в то же время лучше, в тысячу раз лучше прежней спячки, тишины и неподвижности» (Русская старина. 1882. Т. XXXVI. № 10–12. С. 143). Боясь за свою жизнь, он даже вооружился. В марте 1859 г. Н. А. Милютин, приглашая Самарина в Петербург для работы в Комиссии, рисовал ему ту же картину борьбы столичных сил: «Мы будем, конечно, не на розах: ненависть, клевета, интрига всякого рода будет нам препятствовать. Но именно поэтому нельзя нам отступить перед боем, не изменив всей прежней нашей жизни» (См.: Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1911. Т. I. С. 322). В гостиных аристократов, в сановных кабинетах, по свидетельству Я. А. Соловьева, возглавившего земельный комитет в Министерстве внутренних дел, слышались протесты «против намерения правительства... помещиков оставить без рабочих рук», а сами «крестьяне по своей лености не будут работать и для себя, производительность государства уменьшится, от этого произойдут: общая дороговизна, голод, болезни и все народные бедствия» вплоть до пугачевщины и «глубокозадуманной» демократической революции (Русская старина. 1881. Т. XXX. № 3–4. С. 754).

Сам Чернышевский далеко не сразу разобрался, что происходило в комитетах по крестьянскому делу. Сначала он восторженно встретил вести о начавшихся там диспутах. В № 10 «Современника» за 1859 г. он писал, что в «захолустьях нашлось множество людей, чрезвычайно образованных, привыкших думать, хорошо подготовленных к обсуждению задач, им предложенных. В каждом комитете явилось несколько человек, чрезвычайно замечательных по уму и таланту. Подаются записки, составленные так логично, ясно, сильно, что не стыдно показать их государственным людям Западной Европы. Произносятся речи, которые сделали бы честь ораторам какого угодно государства... Только в очень немногих комитетах успевают взять верх люди несовременного образа мыслей... благодаря рассудительности дворянства... крестьянское дело получает направление гораздо лучшее, нежели какого можно было ожидать прежде, чем обнаружилось их влияние» (V. 712). Понадобится

(в его представлении) крах реформы, когда он, подводя ей итог, скажет в «Письмах без адреса», что верх в комитетах брали представители консервативной бюрократии.

Однако новые люди, «гордые и скромные, суровые и добрые, как были», уйдут с исторической арены с сознанием пользы, которую стремились принести прогрессу, так как после них, писал он в 1863 г., «все-таки будет лучше, чем до них». Пройдут годы, и тогда люди скажут: «после них было лучше; но все-таки осталось плохо». Это будет означать, что «пришло время возродиться этому типу». Тогда-то он возродится, но «в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде» (по теории «нарастания») до тех пор, пока люди не скажут: «ну, теперь нам хорошо». Тип новых людей станет натурой всех людей. Но сбудется это не скоро (XI. 145).

В сущности, вне действия романа выведен Рахметов, человек «высшей натуры», тип, как считается в историографии, «профессионального революционера». Чернышевский, «зашифровав» своего героя и одновременно возведя его в ранг людей, стоящих выше даже нового их поколения, конечно же, дал повод советскому исследователю, заряженному на поиск в прошлой истории страны сюжетов социальной конфронтации, легко «расшифровывать» своего таинственного героя как революционера особой закалки. Автор же романа судил о нем иначе.

Чернышевский писал, что до сих пор он встретил только восемь таких людей, как Рахметов, и среди них двух женщин. Ни в чем не сходные, они были объединены лишь одной типичной для них чертой: ничто не могло вывести их из состояния спокойствия.

Рахметов по своему социальному происхождению и положению не плебей. Его татарско-русский род известен с XIII в., а сам он «был воспитан на роскошном столе» в аристократической обстановке. Ему, седьмому из восьми детей, от отца-генерала досталось около 400 душ крепостных с 7 000 тысячами десятин земли. Правда, себе он взял лишь 1 500 десятин, сдавал их в аренду и имел 3 000 рублей дохода, из которых в год проживал до 400 рублей, содержал двух студентов-стипендиатов в Казанском университете и пятерых в Москве.

Преображение аристократа в слугу или благодетеля народа у Чернышевского не новость. И раньше он не раз пытался склонить высших представителей власти обратить свои средства на помощь бедным горожанам (См.: IV. 592–605). Но от Рахметова — в иное время и при иных обстоятельствах — он потребовал принципиально иного — не помощи, а указания пути развития всего общества. Таких людей, как Рахметов, мало, «но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких

людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (XI. 210). После таких слов — ставь его на любой пьедестал, коленопреклоняйся перед ним или иди за ним в огонь и в воду! А начиналось все просто. Шестнадцатилетний студент попал под влияние другого героя романа — А. М. Кирсанова, который стал учить его и давать книги для чтения. Через полгода ученик был уже «особенным человеком». Его принципами стали: не пить вина, не прикасаться к женщине, не есть то, что недоступно простым людям, спать на войлоке, отдыхать лишь сменой занятий, не тратить на визиты и пяти минут больше, чем на то требует дело; читать только главные книги, например, Адама Смита, Мальтуса, Рикардо и Милля, так как остальные — лишь поделки из них. Высокий, крепкий, он постоянно развивал силу гимнастикой и тяжелой работой, прошел бурлаком всю Волгу, перетягивал на канате 3—4 самых сильных из товарищей и заслужил прозвище Никитушки Ломова. Сила могла ему пригодиться, так как ее уважал народ. Однажды Рахметов ночь пролежал на войлоке, в котором было сотни гвоздей. Так, на всякий случай, он и закалял себя «для будущей деятельности»: «Вижу, могу».

Все это выделяло людей породы Рахметова из среды обыкновенных новых людей. Но главную их особенность составляло отсутствие эгоизма, расчета, поиска выгоды в помыслах и действиях. «Рахметовы, — говорил Чернышевский устами Веры Павловны, — это другая порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь». «А нам, Саша, — говорила она Кирсанову, — недоступно это. Мы не орлы, как он. Нам необходима только личная жизнь» (XI. 256). Для него требование полного наслаждения жизнью означало неудовлетворение личной страсти, а служение человеку вообще, по принципу, по убеждению (XI. 201).

Рахметов, считая «нужным» изучить главные страны для «соображений», путешествуя по Европе, думает, что еще более следовало бы ему побывать в Соединенных Штатах. Их, говорил он «нужно» изучить еще более, чем другие земли, чтоб года через три, наконец, возвратиться в Россию, но опять же «когда станет “нужно” там быть». Допускалась и возможность поселиться в Америке навсегда (XI. 209).

Необычность поведения Рахметова, загадочность целей его путешествия, ссылка на «нужность» изучения особенно США и возможную «нужность» возвращения в Россию, а то и возможно навсегда остаться в Америке, поданы Чернышевским в столь туманной и интригующей форме, что советскому исследователю этот герой мог казаться лишь человеком, целиком устремленным к подготовке себя к чему-то особенному, несомненно, революционному. В сравнении с Лопуховым

и Кирсановым, рядовыми «революционерами», он поэтому и рисовался «революционером высшего типа».

Однако, повторяю, Чернышевский вовсе не намеревался ни внушать своим героям революционные помыслы, ни придавать их действиям революционного значения. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна и их товарищи, составляющие обыкновенный тип новых людей, — это социалисты, открыто и на законном основании закладывающие основы нового будущего. Они еще сочетают в себе черты индивидуализма, присущие людям уходящей эпохи, с восприятием социалистических идей, стремлением служить бедным, что, как уже сказано, было довольно распространенным в России во время редакторской деятельности Чернышевского. Он звал Веру Павловну, следовательно, и социалистов-современников, перейти «от мысли о себе... к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми, потому что надобно помогать этому скорее придти»; состояние: «я чувствую радость и счастье» значит, — писал он, — «мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы» по-человечески (XI. 57). Вера Павловна читает Жорж Занд, Диккенса, любимых писателей самого Чернышевского, но она и ее друзья только лишь мечтают, только желают, чтобы никто не был беден и несчастен. Такие люди, говорил он, «учились этим мыслям, когда они были еще мыслями; эти мысли казались удивительны, восхитительны, — и только». Теперь же «эти мысли уж ясно видны в жизни», они «хороши... носятся в воздухе... они повсюду проникают...» (XI. 56, 57). Больше того, теперь они стали делом.

Но вот Вера Павловна, получив известие о смерти Лопухова, решает, передав мастерскую Мерцаловой, уехать. Чернышевский, вкладывая свои мысли в уста Рахметова, направляет его к ней для важного разговора. «Для получения ничтожного облегчения себе вы, говорил он ей, бросили на произвол случая пятьдесят человек, судьба которых от вас зависела». Он опасался, что Мерцалова, способность которой еще не испытана, может оказаться не в состоянии заменить в мастерской Веру Павловну и потому ее отъезд может погубить дело и всего лишь из-за «маленького удобства для себя». Он винил Веру Павловну и в том, что она, решаясь покинуть мастерскую, не спросила швей, согласны ли они на замену ее Мерцаловой. Но еще больше, чем судьба благосостояния 50 работниц, волновал Рахметова тот вред, который Вера Павловна могла причинить своим поступком «делу человечества», что было бы изменой «делу прогресса».

Рахметов взволнован еще и потому, что рассматривал мастерскую Веры Павловны как неустоявшийся опыт преобразования жизни на коллективных началах. «Учреждение, — говорил он Вере Павловне в связи с этим, — которое более или менее хорошо соответствовало здоровым идеям об устройстве быта, которое служило более или менее

важным подтверждением практичности их, — а ведь практических доказательств этого еще так мало, каждое из них так драгоценно, это учреждение вы, — продолжал Рахметов, — подвергли риску погибнуть, обратиться из доказательства практичности в свидетельство неприменимости, нелепости ваших убеждений, средством для опровержения идей, благородных для человечества; вы подавали аргумент против святых ваших принципов защитникам мрака и зла» (XI. 215, 218). Так Чернышевский, сказав, что надо делать, старался разъяснить, как и во имя чего надо вести новое дело.

Рахметов вводится в действие лишь время от времени, но каждый раз в ключевые моменты. И это неслучайно, так как именно в такие моменты ярче всего проявляются качества человека будущего, каким и задуман был автором Рахметов. «Не Рахметов, — говорил Чернышевский “проницательному читателю”, — выведен для того, чтобы вести разговор, а разговор сообщен тебе для того, и единственно только для того, чтобы еще побольше познакомить тебя с Рахметовым» (XI. 226). И если бы, продолжал Чернышевский, он не показал фигуры Рахметова, большинству читателей «героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными... невозможными в действительности по слишком высокому благородству», казались бы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов (XI. 228). Их надо чтить, учиться у них, идти за ними, но не они идеал стремлений, а люди высшей породы, которых пока еще мало, «но, — говорил Чернышевский, — ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы... они дают всем людям дышать» (XI. 210). Этот образ Рахметова-наставника далек от образа того героя, которого литература наделила чертами титанического разрушителя старого строя. Сам Чернышевский, о чем уже сказано выше, видел в нем не разрушителя, а созидателя нового, человека «мирного свойства», который будет «откровенно улыбаться над своими экзальтациями» предшествующего времени. Это — человек будущего, он титан лишь в сравнении с современниками. Но и они, являясь людьми обыкновенными, существенно отличаются от массы их своим развитием, о чем и говорил Кирсанов (XI. 174).

Никого из них Чернышевский не прячет в подполье. Вся их деятельность легальна, открыта, в согласии с законом. Как деятели прогресса, они вырабатывались не в огне классовых битв, а чтением, воспитанием, опытом. К этому, а не к оружию, звал Чернышевский современников. Обращаясь к ним со страниц «Что делать?», он говорил им, что они вполне могут стать равными героям его романа, если позаботятся о своем развитии. «Поднимайтесь, — читали они, — из вашей трущобы... выходите на вольный белый свет... наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их имена

радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно, думайте — думать завлекательно... Только и всего. Жертв не требуется, лишней не спрашивается, их не нужно». Счастье — в развитии (XI. 228).

Другим важнейшим составляющим романа «Что делать?» был вопрос об освобождении женщины, о ее равенстве с мужчиной. Он занимал Чернышевского уже со студенческих лет. Юноша тогда уже был убежден в способности современной ему образованной женщины вести научные и политические беседы (I. 208).

В печати по этому вопросу Чернышевский выступил в 1854 г. (№ 9 «Современника»). Годом раньше в Киеве вышел оттиск статьи Д. И. Мацкевича «Заметки о женщинах». Ее автор не только считал вполне нормальным тогдашнее положение женщины в семье и обществе, но и утверждал, что она не способна ни к созданию произведений искусства, ни к научным обобщениям. Чернышевский думал иначе.

Ответ на вопрос, «Выше или ниже мужчины по уму женщина?», было бы, — писал он, — легко дать, «если бы воспитание и положение женщины в семействе и в обществе было таково же, как воспитание и положение мужчины». По его мнению, неравенство женщины с мужем в том и другом, а не природные различия «умственной и нравственной организации» определили современное положение женщины. Да, отвечал Чернышевский Мацкевичу, среди женщин нет великих живописцев, композиторов, но лишь потому, что условиями жизни они лишены проявлять свои дарования. Если сотни тысяч мальчиков учатся живописи, наукам и по внушению старших знают, что, занимаясь тем или другим, они избирают себе определенную карьеру, способ добывания средств к жизни, то девиц учат не мыслить, а производить на женихов положительное впечатление своей воспитанностью, грациозностью в танце или игрой на фортепьяно. Затем — замужество, забота о хозяйстве, детях.

Сославшись на более тонкое, нежное и восприимчивое устройство органов чувств женщины, чем мужчины, с чем связано и совершенство умственной деятельности, Чернышевский писал, что «по природе женщина может достигать высшего развития, нежели мужчина, и если не достигает, то единственно по влиянию внешних условий своей жизни». Да и вообще, заключал он свой спор с Мацкевичем, мнение об умственном превосходстве мужчины над женщиной «давно отвергнуто, как самохвальство грубых времен, когда достоинство человека изменялось физической силою» (См.: XVI. 281–283). В 50-х и начале 60-х гг. «Современник» не раз защищал права женщин. В «Полемических красотах» (конец 1861 г.) Чернышевский резко осудил противников освобождения женщин, которые усматривали в этом дурные последствия, и занял позицию эмансипаторов. По его мнению, они считают освобождение женщин делом столь же похожим на разврат или ведущим

к разврату, как освобождение крепостных крестьян (и вообще возвращение человеческих прав какому бы то ни было классу людей, лишенному человеческих прав) (VII. 722, 723).

В «Что делать?» Чернышевский устами одного из героев романа так говорил о способностях и значении женщин в историческом процессе: «Каким верным, сильным, проницательным умом одарена женщина от природы! И этот ум остается без пользы для общества, оно отвергает его, оно подавляет его, оно задушает его, а история человечества пошла бы в десять раз быстрее, если бы этот ум не был опровергаем и убиваем, а действовал бы» (XI. 322). Этот роман и призывал женщин к свершению общественных подвигов, но в целях принципиально иных, чем это проявляли благотворители и с чем он сам выступал в 50-х гг., когда просил «всех почтеннейших и сильнейших по своему положению и состоянию лиц», вплоть до губернаторов, создавать благотворительные общества и, проявляя «общественную заботливость», обеспечивать на общие средства «нуждающийся класс» дешевым питанием и доступными по ценам квартирами (IV. 592–604). Теперь ставилась задача изменить сами условия жизни людей.

В «Что делать?» проблемы новых людей и освобождение женщины получали разрешение в предложенном Чернышевским новым типе общественных отношений лиц, совместно участвующих в производстве. При этом главная роль в их формировании отведена женщине. Не прагматически мыслящие и поступающие Лопухов и Кирсанов, учителя Веры Павловны, не загадочный Рахметов, а именно она, Вера Павловна, женщина является центральной фигурой романа. Женщины, а не мужчины создают швейные мастерские, управляют ими и работают в них. Так Чернышевский, применяя идею Мальтуса исправления ошибок методом «перегибанием палки» в противоположную сторону, выдвигает женщину на первый план в предлагаемой им перестройке общественных отношений. Идеал Веры Павловны: «независимость! Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего ни от кого не требовать, ни в ком, ни в чем не нуждаться! Я так хочу жить!» (XI. 54). В своем благородном преклонении перед женщиной Чернышевский не задавался вопросом, могла ли она, обладая таким правом, найти и устроить семейное счастье. Более того, он писал, что и в создании семейного очага стороны должны руководствоваться принципом полной свободы. Мужчина, стремясь содействовать «истреблению» неравных отношений с женщиной, должен «впасть в другую крайность... стать рабом для водворения равенства в будущем...», говорил он невесте 28 марта 1853 г. (XIV. 224). Еще до свадьбы они договаривались, что каждый будет жить в своей половине квартиры, куда без стука другому входить будет нельзя. Чернышевский хотел придать этому правилу обязанность всякого мужа быть «чрезвычайно» деликатным «в супружеских

отношениях к жене». Углубляясь в размышлениях об отношениях с женой, он допускал, что она может полюбить другого и уйти к нему, и он, оказывается, был бы рад за нее, если предметом этой страсти станет человек достойный, с которым она, предмет его обожания, станет более счастливой. Конечно, говорил он, будет прискорбно, однако не оскорбительно, но какая же будет радость, если она в конце концов решит возвратиться к нему. Значит, она поняла, «что как бы ни любил ее другой, но что никто не будет любить ее так, как я», писал он (I. 528, 529). Эти юношеские убеждения оставались у Чернышевского и позже; именно по этим правилам строят свои отношения Лопухов и Кирсанов с Верой Павловной (XI. 233–236 и др.). Показывая в «Что делать?» семейные отношения, основанные на указанных принципах, Чернышевский писал, что Вера Павловна является одной из «первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо», а первые случаи «имеют исторический интерес», т. е. могут быть примером для всех и нормой семейных отношений в будущем (XI. 43).

Чтобы женщины стали полностью независимы, им, по словам Веры Павловны, нужно «стараться о том, чтобы разойтись на много дорог» приобрести возможность овладевать любой специальностью. Об этом она и сказала Кирсанову: «...мне нужно дело, от которого серьезно зависела бы моя жизнь, которым бы я так же дорожила, как ты своим... я хочу быть равна тебе во всем». Она решает овладеть медициной, чтобы работать «на пользу себе и другим» (XI. 260).

Ломая традиции, Вера Павловна добивается своей цели, становится врачом и тем самым выходит «из всякой зависимости» от мужа Кирсанова. В стремлении стать медиком Вера Павловна повторяла путь, по которому тогда шли М. А. Быкова, Н. П. Суслова и А. Н. Шабанова, получавшие медицинское образование за границей.

Чернышевский, поддержав эти попытки женщин добиться материальной независимости, одновременно ставил вопрос о независимости женщины во всем — о приобретении ею гражданских политических прав, осуществление которых связывалось им с построением новых общественных отношений в стране. Мастерские Веры Павловны на пути к достижению этого идеала становились в условиях не принятой им крестьянской реформы на первых порах «пожарным» средством.

Идея создания швейной мастерской овладела Верой Павловной месяцев через пять после ее выхода замуж за Лопухова, когда она уже многое узнала от него и из книг о социализме и стала задумываться, чем ей заняться. Тут-то и пришла решимость открыть швейную мастерскую, что искренне обрадовало Лопухова: «мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом, и раньше всех решилась приняться за дело».

Начали действовать. Набирая швей, Вера Павловна была весьма осмотрительна, кого попало не брала: они не должны быть людьми легкомысленными и шаткими, а честными и хорошими, настойчивыми, но мягкими, не способными на пустые ссоры и могущими выбирать таких же других для мастерской. Трех таких девушек она нашла сразу. Все они были хорошими мастерицами, способными обеспечить достоинство начинаемого дела и умение вести его «на торговом расчете». Предварительно все подробно было обсуждено с девушками, а на другой день Лопухов отнес в контору «Полицейских ведомостей» объявление о приеме Верой Павловной Лопуховой заказов на пошив дамских платьев, белья и проч. «по сходным ценам». Дня через четыре знакомая привезла много заказов, назвала адреса приятельниц, которые тоже могли стать заказчицами. И дело пошло открыто, на законном основании (XI. 113, 114, 115).

Для начала троим швеям Вера Павловна положила несколько большую плату, чем в магазинах. Они вскоре сами нашли несколько добропорядочных девушек, и Вера Павловна одобрила их выбор.

Чернышевский, рассказывая об этих первых мерах Веры Павловны при создании мастерской, намеренно подчеркивал, что нет ничего удивительного в намерении небогатой, но не пустой женщины завести мастерскую; в условиях подбора в нее работниц «тоже не было ничего возбуждающего подозрение»; ничего не было особенного и в том, чтобы в мастерской работали «девушки прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые...». Эти слова, очевидно, адресовались и властям, которые не должны беспокоиться по поводу возникновения столь безобидных трудовых организаций, и молодым людям, чтоб показать им простоту нового дела и тем поощрить следовать примеру Веры Павловны (XI. 126).

Прошел месяц. Вера Павловна всегда как закройщица и руководительница, бывшая в мастерской, впервые вошла в нее со «счетной книгой» и стала говорить, что мастерскую завела она по совету «добрых людей», имея при этом цель обеспечить швеям более выгодную работу, чем в других мастерских. Теперь видит получилось. Мастерская имеет прибыль, которая должна поступить в распоряжение швей, так как она создана их трудом. На первый раз деньги были распределены между ними поровну. Работницы удивлялись и горячо благодарили Веру Павловну.

Теперь она открыла им цель заведения мастерской. Они с мужем живут без нужды и не имеют пристрастия к деньгам, поэтому не заинтересованы в доходах со своего заведения. У людей разные пристрастия; у нее вот такое: заняться с ними начатым ею делом, а «кто же от своего пристрастия ищет дохода?» Другие на удовлетворение своих пристрастий тратят деньги, она же находит в нем безубыточное удовольствие. Она рада, что послушалась добрых людей, написавших «много книг

о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо». Самое главное для этого — завести мастерские «по новому порядку». Она и попыталась узнать, сможет ли это сделать с их помощью. Однако того, что ими достигнуто, еще недостаточно: «умные люди говорят, что можно сделать еще гораздо лучше, так что и прибыли будет больше, и можно выгоднее делать употребление из нее».

На этом она прервала свою первую просветительскую беседу со швеями, но пообещала и впредь понемногу рассказывать, о чем еще говорят умные люди. И их самих просит думать, что и как можно сделать лучше. Их предложения будут опробованы на деле. Обещает, что без их согласия нового ничего вводить не будет, так как умные люди говорят, «что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать».

Наконец, Вера Павловна предложила швеям выбрать «двух из себя», чтобы они впредь сами стали «вести счета и смотреть за тем, чтобы не было лишних расходов». По сути дела эти избранницы станут соуправительницами мастерской. По крайней мере, Вера Павловна заявила, что без их согласия она ничего не будет предпринимать. Поскольку начатое дело новое и неизвестно, кто больше способен к нему, она предложила сначала испытать избранниц в течение недели, после чего будет видно, оставить их или заменить.

Разговор этот Вера Павловна вела просто, доступно, «не заходя далеко вперед, не рисуя никаких особенно заманчивых перспектив, которые после минутного восторга рождают недоверие». Тем не менее швеи, возбужденные и сказанным ею, долго потом обсуждали услышанное.

Когда швеи предложили определить Вере Павловне треть прибыли за ее работу закройщицы, она отказалась, так как большая оплата ее труда противоречила бы «сущности дела». С увеличением заказов была назначена вторая закройщица. Обе они имели равный заработок. Вера Павловна свою долю прибыли откладывала, а потом по ее просьбе деньги эти были вложены в общую кассу и пошли на устройство артельного банка.

Дела все более налаживались, и Вера Павловна примерно через год увидела, что ей нет надобности ежедневно бывать в мастерской, в соответствии с чем уменьшилось и ее жалованье. Но с распределением доходов швей все было гораздо труднее. Вера Павловна мечтала о дележе между ними прибыли поровну. Но сначала экспериментировали. В течение двух с половиной лет «перешли через несколько разных ступеней, начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате». Пропуск работы по уважительной причине не влек за собой сокращения прибыли. «Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату за развоз заказов и другим должностям, уже довольно вознаграждаются своим особенным жалованьем, и что несправедливо им брать больше других еще и из прибыли». Должностные

лица, поняв «дух нового порядка», сами отказались от этого. Но труднее всего, писал Чернышевский, «было развить понятие о том, что простые швеи должны все получать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают зарабатывать больше жалованья, чем другие, что швеи, работающие успешнее других, уже достаточно вознаграждаются за успешность своей работы тем, что успевают зарабатывать больше платы». Лишь в половине третьего года работы «мастерская, — продолжал Чернышевский, — поняла, что получение прибыли не вознаграждение за искусство той или другой личности, а результат общего характера мастерской, результат ее устройства, ее цели, а цель эта всевозможная одинаковость пользы от работы для всех, участвующих в работе, каковы бы ни были личные особенности; что от этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли; а характер мастерской, ее дух, порядок составляется единодушием всех» (XI. 127–130).

Рассуждая таким образом, Чернышевский вступал в явное противоречие сам с собой. Выходило, что личная заинтересованность, рассматривавшаяся им раньше как двигатель всякого производства, теперь гасилась на стадии распределения общей прибыли, доля в образовании которой могла быть даже у всех швей разной. Уравнительное распределение прибыли он оправдывал лишь самой идеей, духом, целью устройства коллективного производства для обеспечения «всеобщей одинаковости пользы для всех, участвующих в работе». Но, принося личный интерес в жертву уравнительности, Чернышевский тем самым лишал социализм мастерских реальной перспективы развития. Признав же деление и прибыли пропорционально вложенному труду, Чернышевский должен был отказаться от самой идеи социализма. Значит, вся выгода мастерской заключалась в том, что она обеспечивала работникам более высокий заработок и распределение прибыли, которая в частной мастерской вся шла хозяину. Принцип личной заинтересованности «наработать больше» был, как показано выше, двигателем общинного производства, ибо общинник сам производил и сам распределял произведенное, но к социализму городских коллективных мастерских он был неприменим.

После разрешения принципиально важных вопросов организации труда в мастерской, определения заработка и распределения прибыли Чернышевский перешел к описанию быта, в создании которого существенную роль играла общая прибыль, которая делилась в мастерской каждый месяц. В первое время она расходовалась каждой швеей на свои личные нужды, но затем Вера Павловна обратила их внимание на сезонную неодинаковость заказов и предложила в «выгодные» месяцы откладывать в общую кассу «часть прибыли для уравнивания невыгодных месяцев». Образовавшийся таким образом запасный капитал рос.

Затем решили, что в «экстренных» случаях его можно использовать для выдачи нуждающимся беспроцентных ссуд.

Образование банка денег позволило оптом дешевле закупать на всех «чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи». Потом сообразили таким же образом закупать и ежедневно употребляемые продукты хлеб и др. Это вызвало потребность жить ближе друг к другу. Начали селиться по несколько человек на одной квартире и ближе к мастерской, и «года через полтора почти все девушки жили на одной большой квартире, имели общий стол, запасались провизией тем порядком, как делается в больших хозяйствах».

Подробно описывалось, как устраивалась жизнь родственников швей. Кроме трех девушек, родственники которых не могли или не хотели жить вместе, и двух замужних, у всех остальных близкие жили в общем доме.

Счет всему велся четко и справедливо, никому не в обиду и не в убыток. За брата и сестру до 8 лет положили платить четвертую часть расхода «взрослой девицы». Девочкам до 12 лет выделяли третью долю, с 12 лет половину, а с 13 лет они поступали в ученицы, с 16 становились полными участницами дела. Мальчики при достижении 8 лет «размещались по мастерствам». Взрослых родных содержали как и швей. Жившие в доме старухи и старики трудились на кухне или занимались другими хозяйственными делами, за что получали свою плату. Когда все это устроилось, оказалось, писал Чернышевский, что не только на словах, но и на деле все это «показалось очень легко, просто, натурально».

Успехи в организации коллективного производства позволили мастерской завести свое агентство по продаже вещей, сработанных во время, свободное от заказов. На свой магазин сначала средств не было, завели две лавки в Гостином дворе и Толкучем рынке. Приказчицами в них стали двое из старух.

Большое внимание Чернышевский уделил описанию просветительской и воспитательной работе в коллективе мастерской. С первых же дней Вера Павловна стала приносить швеям книги и вперемежку с отдыхом несколько раз читала их для всех вслух. Через 3—4 месяца ее стали заменять несколько мастериц, получасовые чтения которых засчитывались им за работу. Когда тещы-швей полностью заменили Веру Павловну, она стала рассказывать о том, что узнала от умных людей, «чаще и больше» и превратила свои рассказы в «легкие курсы разных знаний» и в конечном счете все это приобрело характер «правильного преподавания». Проявляя большую любознательность, швей решили для слушания уроков делать в середине рабочего дня большие перерывы. Уроки, кроме Лопуховых, давали им их друзья Мерцаловы и два—три студента.

Устраивались и развлечения. С накоплением денег все чаще организовывались вечера, загородные прогулки, брали ложи в театре, а на третью зиму абонировали десять боковых мест итальянской оперы. В коллективе бывали и неприятности, но так редко, что это не меняло общей атмосферы радости труда и быта. «Светел и весел был весь обыденный ход дел». Особую радость доставляли свадьбы, которых было много. Вера Павловна гордилась достижениями мастерской и говорила, что новый порядок «устроен и держится самими девушками». Самой заветной ее мечтой было видеть появление новых таких мастерских без нее, «совершенно самостоятельно... исключительно мыслью и умением самих швей» (XI. 130—135).

Но пока они создавались одними социалистами. Вера Павловна, выйдя вторично замуж (за Кирсанова), как уже сказано, оставила свою мастерскую на Мерцалову, а сама, переехав жить в другую часть города, завела новую. Через год, поддерживая связь и сотрудничая в выполнении заказов с первой, ее новая мастерская совершенно устроилась. Мастерские объединили свои счета, открыли на Невском проспекте общий магазин. Дела пошли лучше и выгоднее. Обе мечтали, что «года через два вместо двух швейных будет четыре, пять, а там скоро и десять, и двадцать» (XI. 284).

В романе появляется третья мастерская, созданная Катериной Васильевной Бьюмонт. Чернышевский не стал показывать жизнь этой мастерской и ограничил свою агитацию в пользу новых форм производства и быта показом опыта первых двух. Об успехах второй он рассказал словами Катерины Васильевны, которая, посетив мастерскую Веры Павловны, обстоятельно описала увиденное подруге. Хозяйка повела ее по очень хорошей лестнице на третий этаж, они вошли в большую залу с роялем и порядочной мебелью, что имеют семейства, проживающие 4—5 тысяч рублей в год. (Зарабатывая 15 тысяч в год, Чернышевский считал себя состоятельным человеком третьего сословия.) Оказалось, что это и приемная и помещение для вечерних собраний. Сама же мастерская разместилась в трех соединенных квартирах, выходящих на одну площадку. Аренда их обошлась не в 1 675 рублей, которые платили хозяину три съемщика, а в 1 250 рублей. В мастерской 21 комната. Две очень большие. Одна уже названа, вторая была столовой. В двух других, несколько меньших, работали швеи, в остальных они жили. Мебель в них была из красного и орехового дерева; в одних комнатах большие зеркала, в других — очень хорошие трюмо, кресла, диваны хорошей работы. Мебель разная, потому что покупалась постепенно и за выгодную цену. Комнаты производили впечатление, что в них живут чиновники средней руки. Девушки жили в них в основном по двое, в несколько больших по трое и лишь в одной — вчетвером.

Когда вошли в рабочие комнаты, Катерина Васильевна увидела работниц, которые были одеты «как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников». Лица у всех мягкие и нежные. Те из них, которые были в числе первых швей мастерской, отличались от новичков. Они «говорили уже совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературою, как наши барышни, имели порядочные понятия и об истории, и о чужих землях, и обо всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе; две были даже очень начитаны».

Пока шло знакомство, настало время обеда. Он тоже был необычен. По будням обед состоял из трех блюд. «В тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина», затем «явились чай и кофе». Общее впечатление о виденном Катерина Ивановна выразила подруге такими словами: «Вместо бедности довольство; вместо грязи не только чистота, даже некоторая роскошь комнат; вместо грубости порядочная образованность». На свои вопросы «Что же это такое? и как же это возможно?» сама ответила: девушки «работают на свой собственный счет, они сами хозяйки; потому они получают ту долю, которая оставалась бы в прибыли хозяйки магазина»; работая на себя, «они гораздо бережливее и на материал работы и на время». Бережливость и расчет во всем, что приобретается для работы, жилья, одежды, питания. Одно более дешево закупается оптом, другое с большим разбором и расчетом поштучно. 25 швей живут вместе. Из дома в дождливую погоду они выходят далеко не все, потому что имеют только пять зонтов, но хороших. За столом было 37 человек. Весь он обошелся в 5 руб. 75 коп., на одного, следовательно, по 16 коп., тогда как в кухмистерской он стоил бы по 40 коп. Затем Кирсанов арифметическими расчетами показал, что в мастерской швеи зарабатывают в два раза больше, чем рабочие у частного, а покупают на них вещей, при указанной бережливости, в полтора-два раза больше. «Вот какое чудо я увидела, друг мой Полина, и вот как просто оно объясняется». Но «старая швейная, — заключала Катерина Васильевна, — развилась еще больше и потому во всех отношениях выше той, которую я тебе описывала» (XI. 285–290).

Остается дорисовать общую картину новой жизни описанием личной жизни и отдыха героев романа. Чернышевский и на это не пожалел ярких красок. В начале романа Вера Павловна поет французскую песню конца XVIII в. «Дело пойдет»: «Мы бедны, но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться, знание освободит нас; будем трудиться, труд обогатит нас... Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других... Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, это дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его...» (XI. 7).

Новые люди «Что делать?» еще не создали «рая» на земле, но своим развитием и трудом уже обеспечили себе вполне счастливую и радостную жизнь. Вот Кирсановы и Бьюмонты поселяются рядом. Каждая семья живет по-своему, но видятся они, как родные, «иной день по десять раз». У них частые «сборища» гостей, все это молодые, свои люди. В этих случаях оба рояля из их квартир сдвигались вместе, за них садились Вера Павловна и Кирсанов, молодежь по жребию делилась на два хора и начинались песенные состязания. Придумывались другие развлечения. А то устраивали зимние пикники. Вот они компанией покатали на двух саниах за город. Одни едут тихо, отстают, потом «вдруг пускаются вскачь, обгоняют с криком и гиком... бросаются снежками в веселые, но не буйные сани». Затем начинается отчаянная скачка наперегонки. Наконец, все оказываются у Полозова, отца Катерины Васильевны. Веселье продолжалось. «Болтали, играли, пели» (XI. 326, 327, 328).

С теми же непринужденностью и весельем совершались загородные прогулки и со швеями. Однажды это была компания человек в 50 или больше. Кроме швей и их родных, были женихи или просто молодые люди университетские и медицинские студенты, два офицера. «Взяли с собою четыре больших самовара, целые груды всяких булочных изделий, громадные запасы холодной телятины и тому подобного». Со всем этим уселись на шести больших яликах и отправлялись отдыхать. Чем только не занимались: танцевали, играли в горелки, слушали спор Лопухова со студентами, романтиком и ригористом, и с офицером, уличенном в огюст-контизме. Затем пили чай, снова танцевали, играли, мужчины устраивали борьбу... В 11 часов с шутками и смехом отправлялись домой (XI. 138, 139).

Новые люди «Что делать?» живут спокойно. Живут ладно и дружно, и тихо и шумно, и весело и дельно... работают и отдыхают, и наслаждаются жизнью, и смотрят на будущее если и не без забот, то с твердою и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет (XI. 327). Так подвел Чернышевский итог своему рассказу о новых людях, решившихся начать новую жизнь. Все выходило ладно, просто и заманчиво.

В то же время он не мог обойти и затруднений, испытываемых строителями этой новой жизни. Предупреждая читателя, Чернышевский рассказывал, как ~~через три месяца~~ после открытия магазина Кирсанова навестил «один отчасти знакомый, а ~~последователи его идеи должны были себя вести при встрече с ними. Так, месяца больше незнакомый собрат~~ его по медицине», рассказал ему о многих медицинских казусах, а всего более о своем методе врачевания. Затем вдруг сказал, что один из его знакомых хочет познакомиться с Кирсановым.

Знакомство состоялось и оказалось «приятным». Говорили о многом, в том числе и о магазине. Кирсанов объяснил, что открыт он с торговой целью. Но больше говорили о вывеске, в названии которой было слово «труд» — «Au bon travail». Оба «рассуждали... не лучше ли было бы заменить такой девиз фамилией». Сошлись на имени «Вера», что по-французски пишется «foi» (верование, доверие) и новая вывеска «A la bonne foi» — «добросовестный магазин» — имела бы «самый невинный смысл» и, «рассудивши, увидели, что это можно». Знакомство состоялось в «присутственном месте», которым, несомненно, было III жандармское отделение.

Домой Кирсанов возвратился «очень довольным», однако, замечал Чернышевский, «Мерцалова и Вера Павловна значительно поурезали крылья своим мечтам и стали заботиться о том, чтобы хотя удержаться на месте, а уж не о том, чтоб идти вперед». После «охлаждения жара» в них «швейные и магазин продолжали существовать, не развиваясь, но радуясь уже тому, что продолжают существовать». Между тем новое знакомство поддерживалось и приносило Кирсанову «много удовольствия». Иначе говоря, как и в начале, ему удавалось улаживать свои дела в «присутственном месте». Так прошло более двух лет без происшествий (XI. 284, 285).

Но тревога не оставляла руководительниц мастерских. Вера Павловна незадолго до экзамена «на медика», когда работало уже три мастерских, нет-нет да заговаривала: «Жаль, что нет возможности развиваться этим швейным: как они стали бы развиваться». Катерина Васильевна молчала, но в глазах ее сверкало злое выражение. Вера Павловна пожурела ее: «Какая ты горячая, Катя; ты хуже меня». И добавила: «хорошо, что у твоего отца все-таки что-нибудь есть; это очень хорошо». — «Да, Верочка, — отвечала ей Катерина Васильевна, — это хорошо, все-таки спокойнее за сына» (XI. 327). Подруги уговаривали одна другую, что проживут «тихо и спокойно». И этот эпизод был приведен Чернышевским также в назидание будущим творцам новой жизни. Она прекрасна, но путь к ней нелегок. Чернышевский учил считаться с реалиями жизни. Ему удалось спасти созданные воображением мастерские в то время, когда те, что уже существовали в городах России, с 1862 г., когда власти обрушили свой гнев и кары на воскресные школы, закрывались вместе с ними. Роман написан по горячим следам этих событий, и наука Чернышевского, как нужно действовать в таких случаях, была весьма кстати. Метод не спорить, тем более, не возмущаться в отношениях с представителями власти, Чернышевский выработал в своей практике общения с цензорами. Случалось, что он сам, для сохранения логики изложения, давал согласие сократить в своей работе больше, чем это предлагалось цензором.

Идея мирного, законопослушного создания коллективных производственных мастерских, преподнесенная наглядно в художественном изображении жизни и деятельности героев романа «Что делать?» как пример преобразования жизни на новых началах снизу, нашла самый горячий отклик в среде молодежи, вызвала подражание. Она привлекла к себе внимание Герцена, впервые прочитавшего роман в 1868 г.; «перепახала» молодого Ленина, а в реальной жизни оказалась несовместимой с принципами самодержавия. Ишутинцам власти не разрешили открыть ни одной из замышлявшихся ими производственных ассоциаций. Они оказались первой народнической организацией, которая из-за невозможности конструктивно сотрудничать с властями самодержавной России вынуждена была отказаться от надежд на мирного преобразования страны и перейти к подготовке и осуществлению насильственных мер уже с целью ниспровержению самого режима самодержавия, оказавшегося столь холодным в отношении к их горячим намерениям помочь народу лучше жить.

Если обратиться к вопросу о периодизации Чернышевским времени строительства нового быта, то практику мастерских с оговоркой следует отнести к переходному периоду. Описание здесь коммунизма как сельской цивилизации предполагает необходимость включения в период описания и жизни деревни в переходный период. Чернышевский вроде бы и намеревался это сделать (подготовка Лопуховым из городских рабочих просветителей крестьян), но не сделал. Тому могло быть две причины. Спешка при написании романа имела, как уже говорилось, главной целью — отвлечь молодежь от идеи крестьянского восстания как средства достижения социальных целей. С другой стороны, ему еще не было вполне ясно, что будет с крестьянством в условиях, когда реформа, по его мнению, лишь видоизменила крепостное право при его «отменении». Несвободная деревня, таким образом, не могла быть базисом для перехода к новой жизни.

«Социализм» фабрики-товарищества романа «Отблески сияния»

Тема мирного общественного переустройства путем распространения производственных ассоциаций продолжала занимать Чернышевского и в Сибири. Она отражена лишь в написанном втором отделе задуманного им «громдного романа» под названием «Отблески сияния». Его написание датируется 1879–1882 гг. По мнению В. Н. Шульгина, исследователя литературного творчества Чернышевского сибирского периода, труд этот был приурочен ко второй революционной ситуации рубежа 70–80-х гг. И Шульгин, и автор диссертации о романе З. Л. Ефременко, и многие другие, кто касался этого произведения, полагали, что оно звало к революции.

И на этот раз сам Чернышевский был крайне заинтересован в скорейшем появлении этого отдела романа в печати. «Если нельзя печатать по-русски, то надобно перевести на английский и французский (на оба лучше), и напечатать в Лондоне и Париже», — наставлял он брата А. Н. Пыпина (XIII. 915).

Писался ли этот отдел романа в период 1879–1882 г. или в 1879 только, но во всяком случае он был вызван событиями именно 1879 г., когда «Народная воля» вступила в открытую войну с Александром II и стала осуществлять попытки покушений на его жизнь. Это и встревожило Чернышевского. Нам уже известно, что скажет он позже, в Астрахани, Скорикову по поводу заговора и насилия как методов борьбы за прогресс. Принципиально отвергая их, он и теперь торопится остановить молодежь, отвлечь ее от них и и в новых условиях жизни страны предлагает новые формы мирных преобразовательных действий.

Здесь представлено не швейное, а кондитерское производство, называемое им то товариществом, то чаще фабрикой, которая производила «всевозможные конфетные и десертные продукты из фруктов» собственного сада. В роли Веры Павловны из «Что делать?» показана дочь обедневшей помещицы Антонины Михайловны — Аврора Васильевна (Лоренька, как зовут ее дома). Из города в «Что делать?» действия в «Отблесках сияния» возвращаются в деревню, в их имение, расположенное по соседству с селами крестьян.

Фабрика Авроры Васильевны — это оснащенное современной техникой производство. Работы в нем велись «как в химической лаборатории; каждая печь или плита была устроена с тепломерными аппаратами, показывавшими на висевших подле нее термометрах температуру в разных частях ее. Подле каждой печи, плиты висели стенные часы». По этим приборам следили, «чтобы каждый фабрикат был изготовлен с точным соблюдением температур и сроков времени, каких он требует». Тем, кто дежурил на фабрике, «надобно было все время ходить от печи к печи, от плиты к плите, записывая минуты, взгляды на термометры, отдавая распоряжения повесить или понизить пар или тепло в этой печи, под этой плитой». Огня не было видно. Топки находились в подвале. Вентиляция устроена превосходно. Работа не была утомительной.

Аврора Васильевна заботилась о расширении производства. К зданию фабрики сделана пристройка, оборудование для оснащения которой было заказано в Англии. Его только что изобрели там. На нем можно было «регулировать теплоту гораздо точнее и постоянное, чем возможно было при прежних системах». Его прибытие ожидалось днями; оно будет сразу смонтировано и пущено в дело, так как фабрика работает с перегрузкой, «не разбирая праздничных дней от будничных, без перерыва день и ночь» (См.: XIII. 712–714).

Сад, в котором выращивались фрукты для переработки, находился «в богатой обильными родниками долине». Расширять его было уже некуда. Увеличение урожаев достигалось заменой старых сортов новыми, акклиматизированными сортами южной Франции и северной Италии. Но на переработку шли более нежные плоды, «принадлежащие более южной флоре», чем Франция и Италия. Сбор этих фруктов постоянно увеличивался; они выращивались в грунтовых садах, теплицах, оранжереях, тропических залах, которые отапливались гретым воздухом, поступающим по трубам от печей фабрики (XIII. 712).

Непосредственными помощниками Авроры Васильевны, в сущности, управляющими производством, являлась спасенная ею от ссылки семья сектантов — мать и отец с детьми — два сына с женами и две дочери с мужьями. Все они помещались в Оранжерею, выучились садоводству столь основательно, что Аврора Васильевна передала в их руки заведование всеми «подробностями» садовых дел, оставив себе лишь «общее управление их трудами». Заработок их был большой, но жили они очень скромно, так как раздавали свои деньги бедным без различия вер и национальностей.

Непосредственно у печей работали сменяющие друг друга отец с матерью и дочь со снохой, но в трудные моменты их могли заменить другие члены семьи, которые имели иные постоянные занятия. Кроме семьи, на фабрике «с году на год» трудился «очень постоянный личный состав работавших». При надобности принимались новые рабочие. Все здесь трудилось по найму. В редких случаях, когда попадалась более выгодная работа или вообще менялся образ жизни, отдельные рабочие покидали фабрику. В целом же, писал Чернышевский, они были «одно товарищество».

Почти все жили близко в деревне и в своих домах, вели свое сельское хозяйство. Те же, кто не имел его и дома, жили при фабрике. Работа в выходные дни — «по особому договору». В напряженные моменты приходилось работать и по праздникам, но лишь с общего согласия рабочих. Обычно вечером, накануне праздника, устраивалось общее собрание, когда и разрешались эти вопросы. Сначала руководила ими Аврора Васильевна, потом заменил ее глава семьи приказчиков Григорий Данилович. Он и объявлял плату за работу в праздник. При несогласии рабочих плата повышалась «все больше и больше», но вот уж много лет, как все сразу соглашались на предложенную цену. Городские приглашались при большем недочете рабочих, при малом за дело брался Григорий Данилович с сыновьями и зятьями. Каждый трудился за двоих.

На фабрике был установлен восьмичасовой рабочий день. Аврора Васильевна ни при каких условиях, даже при желании самих рабочих трудиться больше времени и за много меньшую плату, не допускала

нарушения этого правила. Но, оказывается, этим были недовольны как Григорий Данилович, считавший, что платить за восемь часов работы, значит, почти половину денег отдавать даром (в сравнении с другими хозяевами), так и рабочие, которые сначала не знали, куда девать оставшееся после 8 часов работы время — «лежать на боку, ходить в кабак?» Но со временем многие в свободное время стали заниматься своими улучшенными хозяйствами, семейными делами.

Соблюдение точной дозировки сырья, температуры и времени процесса производства большинство рабочих считало глупым занятием, так как из практики знали, что и как надо делать. Однако постепенно они убеждались, что «взвешивать фрукты, сахар и другие сухие ингредиенты лучше, нежели определять их количество мерками или, что еще больше нравилось им, глазомером». Только часы и термометр не хотели признавать и потому не допускались к работе у печей.

Шло строительство новой насыпи, и многие были заняты там. Дни были жаркими, но над работающими был натянут новый «большой переносный полог», изобретенный зятем Григория Даниловича Михаилом (См.: XIII. 712–715, 729).

Товарищество создавалось Авророй Васильевной не только в целях материального обеспечения работников («крайности в деньгах нет ни у кого»), но и развития, воспитания их, в чем ей удалось достигнуть значительных успехов. Формально отец и мать продолжали распоряжаться распределением работ, в том числе и между членами своей семьи, контролировать их, но делали они это уже по совету детей, людей вполне образованных. С их старшим сыном и зятем, Сергеем Григорьевичем и Михаилом Андреевичем, Владимир Васильевич, брат Авроры Васильевны, разговаривал «о философских системах, об основных законах природы»; он много, по их желанию, рассказывал им об исторических событиях (XIII. 755). Григорий же Данилович был полуобразованным, а по «одежде и по ухваткам, по форме речи все еще оставался более похожим на мужиковатого мещанина старых обычаев, чем на людей цивилизованных сословий». Однако владел уже навыками обращения со сложной техникой.

И в этом романе на первом месте представлены женщины нового типа. Помимо Авроры Васильевны, это — дочери и снохи управляющих. Старшая дочь, Надежда Григорьевна, говорит, что она с сестрой вполне усвоили язык образованных женщин, как и многое другое хорошее, что дает людям образование и воспитание. Они начитаны, музицируют и могут объясняться по-французски, однако в них еще сильны традиции хорошего, но старого, простонародного воспитания. «Мы привыкли не чувствовать, что тяжелая работа тяжела», — говорит Надежда Григорьевна Владимиру Васильевичу. Учитывая эту привычку старших, Аврора Васильевна не позволила им загружать младших

сестер, пока не окрепнут их силы, тяжелой работой, хотя им было уже по 20–21 году. Со временем, когда наберутся сил и станут выносливыми, они дольше, чем старшие, сохранят способность много работать.

Одна из них, Машенька, красавица и умница, «думающая о себе скромно, искренняя; с желанием всего доброго, готовая на многие жертвования для пользы других», готовая, если случится, отказаться от роскоши. Она пробует и тяжелую работу, но лишь настолько, чтоб иметь о ней представление. Верят, что «она сама будет копать гряды, займется или столярством или чем-нибудь таким». По серьезной склонности ко всему честному, по благородству характера, желанию вести трудовую жизнь и всем другим ее достоинствам в ней, представительнице нового поколения женщин, Чернышевский видел последовательницу Авроры Васильевны (XIII. 732, 761).

Между тем сама Аврора Васильевна остается за сценой. Чернышевский скупко говорит о ней, хотя она и является проводницей в жизнь идей товарищества. Ее авторитет весьма высок. Даже брат, представленный как человек разносторонней учености с мировым именем, при сборах на свидание с ней после трехлетнего пребывания за границей вызывает почтительную робость.

Чернышевский счел нужным больше говорить о знании ею хозяйственных вопросов, ее практичности, знании цены всему — «и яблокам, и грушам, и всяким фруктам». Она умеет сообразить «сколько чего должно быть на деревьях ли, на кустах или в саду, на тепличных ли растениях какого сорта, на оранжерейных: у нее все сосчитано и записано, сколько этого в каждое лето». С самого начала весны она ходит по саду, «смотрит все то, что цветет, и записывает, как что цветет, и потому знает, какого урожая в этом году можно ожидать». Потом по завязям определяет, как они повлияют на урожай. Все это дает ей возможность заранее предвидеть и определить все, что нужно будет потом предпринять для снятия и переработки урожая.

Аврора Васильевна знает и строительное дело; цену «и материалам, и привозу; и плату рабочим знает сама... Всякий документ проверяет сама; книги ведет сама... Даже балансы умеет сводить!» С повышением урожайности и расширением производства постоянно пристраиваются или строятся новые хозяйственно-производственные помещения, чем она сама и руководит. Вот она отправляется в поместье своих друзей, «чтобы сделать распоряжение о постройке новой плотины и чтобы самой определить направление и размеры плотины... самой руководить началом работ, вообще обеспечить хорошее и быстрое исполнение дела» (XIII. 705, 706, 759).

Приведенные факты жизнедеятельности нового товарищества свидетельствуют о том, что и теперь Чернышевский неизменно стремится утвердить идею возможности мирного и легального общественного

преобразования с помощью развития производственных товариществ. Но за прошедшие годы его представление о них существенно изменилось. Работницы мастерской Веры Павловны постепенно становятся ее совладельцами. Хозяйство Авроры Васильевны представляет собой частное производство с вольнонаемным трудом и формально органически вписывается в общий процесс развития пореформенной товарной капиталистической промышленности. Это — разные типы производства: социалистическое и капиталистическое, однако служат они единой цели. В мастерской и на фабрике-товариществе решительно сокращен рабочий день, обеспечен высокий уровень материальной жизни работников, они высоко образованы и воспитаны, дышат воздухом свободы, дорожат чувством личного достоинства. Однако у Авроры Васильевны они, и это естественно, более образованы и воспитаны, значительно шире и их политический кругозор. Во всяком случае это определенно можно сказать о молодых членах семьи сектантов. Они в центре повествования, тогда как рабочие-крестьяне оставлены, как и сама Аврора Васильевна в стороне.

Кроме того, работницы Авроры Васильевны обладают более высоким уровнем общественного сознания, шире их политический кругозор. В поле зрения молодых сектантов находятся события политической жизни Европы — франко-прусская война и Парижская Коммуна; они настроены на радикальное вмешательство в преобразование общественной жизни страны. Чернышевский отмечает это как реальные факты жизни, но не одобряет такое их настроение, осуждает его, а Владимира Васильевича, принятого ими за важного революционера, «разоблачает» и готовится отправить в путешествие для занятий полезным для общества делом — научными изысканиями.

Итак, образованные мещане «Отблесков сияния» полны решимости идти на все во имя своих высших целей. Четко цели эти не определены, но по обмолвкам, репликам, отдельным загадочным фразам, намекам на причастность Владимира Васильевича к Парижской Коммуне исследователи романа приходили к выводу, что этим произведением Чернышевский из Виллюйска хотел «звать к революции», ставил «вопрос о необходимости насильственного изменения общественного порядка». Послушаем разговор подобного рода с ним: «Здравствуйте, Владимир Васильевич, — обратилась к нему встретившаяся Надежда Григорьевна. — Мы с Поленькою рады, что можем любить вас по-прежнему. — Она пожала ему руку... Ее глаза сверкнули... — Владимир Васильевич... — Она вспыхнула. — Владимир Васильевич; Миша давно ваш, теперь и я ваша. Я удерживала его. Теперь сказала, я и за себя и за него. Где, в чем нужны мы вам? Мы бросим детей, все, всех детей... — Говорите. Мы знаем: это идти на смерть. Говорите. Мамаша, сестра заменят меня детям. Миша давно готов. Готова и я».

После таких слов, действительно, можно делать самые крайние заключения. Но вот что ответил на ее решимость идти на смерть Владимир Васильевич:

— «Этого не нужно, Надежда Григорьевна. Это было бы более чем напрасно; было бы вредно...

Не нужно сейчас, теперь, ныне. Но через месяц, через неделю, завтра может понадобиться. Теперь или нет, скоро или нет, мы готовы всегда. — О, что я говорю! Мое ли дело говорить об этом с вами. Я должна только сказать Мише, что я согласна и говорить с вами будет он» (XIII. 711).

После этой эмоциональной вспышки разговор принял банальный характер, изобиловавший пустой и подчас нелепой многословностью и загадочностью. Но вот Владимиру Васильевичу пришлось к слову сказать, что он сторонится своей сестры, даже побаивается разговора с ней.

— «Это, — объяснял он, — началось с Парижской Коммуны. Были удары и прежде. Но те я кое-как выносил. А это было так умно, так умно, что я не вынес, и стал падать духом. И когда приехал в то лето (три года назад. — В. А.) сюда, мне стыдно было смотреть в глаза Лореньке. Этот стыд мой все рос, потому что я все больше падал духом» (XIII. 720). В нем, повторяю, хотят видеть чуть ли не легендарного революционера, а он вдруг теряет себя в глазах человека, готового идти за ним в огонь и в воду. Нельзя сразу понять связи Парижской Коммуны с утратой им духа.

Затянувшийся разговор с Надеждой Григорьевной затем продолжился с Полиной Павловной, которая намеревалась склонить его рассказать раскрыть ей свои мысли. Чернышевский придумал вычурный прием, с помощью которого ей удалось заставить его откровенно высказаться перед ней.

— «...Мне кажется, что если б я бросилась вам на шею и расцеловала вас, это не было бы для вас огорчением... — А прежде было бы. Отчего такая перемена?..

Что ж... прежде я... — Он остановился, вздохнул и покачал головою; чуть было не сказал: — Прежде я думал, что женюсь, и должен был заботиться о том, чтобы моя невеста, моя жена, узнавая мое прошлое, не находила в нем поводов к опасениям за будущее. — Прежде я ...как вам сказать... имел мысль, которой теперь не имею».

Вспомним, — то же самое в 1853 г., еще увлеченный революцией, Чернышевский говорил своей невесте накануне женитьбы.

— «...Ваше желание держать себя так, чтобы ваше прошлое не возбудало после вашей женитьбы в вашей жене тревоги за ее будущее».

Владимир Васильевич отвечал, что она ни от кого не могла слышать подобное, так как он никому не говорил что-нибудь такое.

— «...И не слышала... Но наши мысли об этом видим по характеру ваших разговоров с Сережей и Мишенькою о тех вопросах, о которых вы не говорите с ними при нас, при мне или Наденьке...»

Он снова отрицал. — «Не говорили, но вы всякий вопрос о женщинах рассматривали всегда с точки зрения равноправности людей, всех людей, без всяких различий...

Полина Павловна, простите меня... обо многом я думаю вовсе не так, как предполагают обо мне Сергей Григорьевич или Михаил Андреевич, например, я полагаю, что люди прогрессивных убеждений вредят делу прогресса, если предпринимают что-нибудь не одобряемое общественным мнением.

Она посмотрела на него пристально. — О чем вы говорите? — Об исторических событиях. Например, о Парижской Коммуне» (XIII. 753–755). Туман таинственной загадочности, сначала окутывавший образ Владимира Васильевича, начал рассеиваться, и перед людьми, готовыми идти за ним на все, предстает человек совершенно иного направления мыслей. По его убеждению, Парижская Коммуна — историческое событие, «не одобренное общественным мнением». Значит, она и вызвала уныние духа в нем.

Однако это откровение не убедило Полину Павловну, и она продолжает попытку выведать его тайну. По ее мнению, Ксения Юрьевна, по намекам в романе тоже относящаяся к лагерю демократов и будто бы возможная невеста Владимира Васильевича, «предполагает, что вы рисковали за дело добра. Она думает, что вы были в рядах немцев, когда люди добра желали победы им, и стали в ряды французов, когда друзья человечества стали желать, чтобы победа немцев сменилась поражением их» (XIII. 763).

Из описания этих бесед с женщинами выясняется, что это *они* думали о нем как о человеке со значительным прошлым, связанным с его участием в Парижской Коммуне. Это *им* представлялось, что он уклонялся от разговоров о своем прошлом в целях конспирации, потому-то и вел себя апатично, вяло, часто вздыхая, тогда как на самом деле, думалось им, все это было искусственно, являло собой особый способ скрытничать, искусственная манера держать себя, чтобы утаить от наблюдения свои истинные мысли, движения души, тогда как на деле он обладает «сильной волей», железными нервами и является человеком «кипучей душевной силы» (XIII. 768, 772).

Между тем Чернышевский вывел его в романе лишь с одной целью — его устами высказаться самому. Владимир Васильевич прежде всего ученый. Именно им он представлял себя в письмах из Виллюйска. Мать Владимира Васильевича, обращаясь к сыну, говорила ему: «...специалисты Европы по каждой из тех отраслей знания, которыми занимаешься ты, уж признали тебя одним из первых специалистов — каждый

по своей специальности... ты печатал до сих пор только небольшие статьи совершенно технического содержания в иностранных специальных журналах... Лоренька доискалась-таки отзывов о твоих статьях по разным мелким, но важным для понимания крупных, и очень трудным вопросам из различных эпох всеобщей истории, из истории философии, из других наук из человеческой и общественной и умственной жизни» (XIII. 636). Вспомним, это тот круг общественных наук, по которым Чернышевский выступал со своими статьями и, будучи в Петропавловской крепости, планировал создать фундаментальные исследования.

Как и сам Чернышевский, герой романа Владимир Васильевич страстно негодует против идеи Дарвина о плодотворности борьбы за существование и бичует себя за то, что сблизился «с ученым отделом этих пошлых людей» (XIII. 636).

А вот дальше пути автора романа и его героя расходятся. У Владимира Васильевича родилась идея отправиться в кругосветное путешествие с целью проведения климатологических исследований, изучения быта народов тропических и экваториальных стран, в результате чего должен был явиться «труд очень большого ученого значения». Был намечен грандиозный план путешествия с остановками в райских уголках юга Ост-Индии, долины Кашмира, на Филиппинских островах «и вообще, где хочется матери», которая согласилась быть его спутницей. Сообщить Лореньке об этом своем решении и шел Владимир Васильевич. Все его переживания, эти «конспиративные» охи и вздохи, так характерные для его разговоров со встретившимися на пути Надеждой Григорьевной и Полиной Павловной, и были вызваны этим решением.

Итак, Владимир Васильевич, как и Чернышевский, далек от революционных методов борьбы. Мысленно говоря с сестрой, своей учительницей, он цитировал Некрасова:

«Я гибну и ради спасения
Я твою призываю любовь...
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».

(XIII. 636, 637)

Он, как видим, просил ее вывести его на дорогу «тернистую», но не ту, где ликуют, праздно болтают и обагрят руки в крови. Да, Лоренька, размышлял он, ты надеялась, «что я буду честным деятелем, заботящемся о том, чтобы быть полезну людям, а не об удовлетворении своего самолюбия. Желал я быть таким. Но — теперь не то. Мысли о благе людей сменились мыслями о личной славе. Влечение к друзьям

блага людей заменились порицанием ошибок этих энтузиастов, порицанием самого энтузиазма; порицание энтузиазма привело к одобрению рассудительного образа действий пошлых людей; с ученым отделом этих пошлых людей я даже сблизился» (XIII. 636).

Что же произошло? Раздвоение личности самого Чернышевского? Неужели сам он решил уйти в мир личных интересов, чтобы добиться личной славы и тем удовлетворить свое личное самолюбие? А оно, как уже известно, всецело владело им с молодых лет и до старости. Нет, разумеется. Сама спешка с написанием романа, забота о его срочном появлении в свет говорят о том, что он по-прежнему идет по тернистой дороге служения «великому делу любви». Все гораздо проще. Чернышевский осуждает как тех, кто ликует, праздно болтает и обагрывает руки в крови, так и тех, кто готов покинуть «друзей блага людей» ради удовлетворения личных интересов. Высказав все это устами Владимира Васильевича, он решил, за ненадобностью в дальнейшем, удалить его со сцены романа.

При сравнении коллективов персонажей двух романов нельзя обойти еще одного важного обстоятельства. При всей благотворности влияния Авроры Васильевны на молодых управляющих Чернышевский счел нужным обратить внимание на отсутствие равенства в их положении. Это неожиданно раскрывается в беседе Полины Павловны, старшей снохи управляющих, с Владимиром Васильевичем. «Кто мы? — ставит она вопрос и отвечает, — мещанское семейство, находящееся на службе у вашей сестры, в частности, кто я? — одна из горничных вашей сестры... Мы — только приказчицы Авроры Васильевны в оранжереях, теплицах и на фабрике, служанки в ее будуаре. Мы — не равные ее знакомым, мы знакомы с этими дамами и девушками высшего здешнего круга только как бывают горничные знакомы с гостями их госпожи» (XIII. 771, 772).

О чем все это говорит? Создание Авроры Васильевны в социальной плане весьма значительно, но еще не завершено. Литературоведы определили, что в первом, ненаписанном, отделе романа Чернышевский хотел показать время своей деятельности, 60-е годы, а последующее — как отблеск их сияния, который должен найти свое полное отражение в картинах третьего отдела романа. Как видим, он и теперь неизменно держится принципа триады развития. Результатом деятельности героев первого отдела романа должна быть разработка в 60-х гг. социалистического идеала. Время написания романа на рубеже 80-х гг. — начало цикла ускорения развития, когда в обществе еще сохраняются остаточные явления социальных противоречий (в данном случае это показано на примере жизни семьи и коллектива работников предприятия Авроры Васильевны). На уровне высшего цикла развития (третий отдел романа) следовало ожидать полного воплощения в жизнь идеалов 60-х гг.

Однако и эта, новая, конструкция социализма в целом, как и прежняя, осталась неосуществленной.

Как таковой, социализм лишь теоретически определен Чернышевским, но к описанию его строительства он так и не приступил.

Коммунизм

Видение Веры Павловны в четвертом сне озадачило литературоведов: коммунизм ли это или все же не он? — заспорили они. Борцы за «чистоту марксистско-ленинского мировоззрения», не допуская и тени сомнений, твердо заявили «нет!» В самом деле, какой же это коммунизм, если, скажем, за улучшенный обед надо платить деньги? Другие, будучи пораженными открывшимися Вере Павловне картинами труда, быта и отдыха при столь высоком уровне развития и технических способностей людей этого далекого будущего, брали «трех» на душу и соглашались, что такое возможно только при мыслимом коммунизме. Спор этот легко разрешить, если просто сказать, что так представлял себе коммунизм он сам.

Развив через 100–150 лет до чрезвычайности производительные силы общины, социалистическое общество «уравновесит» свои потребности с наличием природных средств настолько, что каждая из потребностей людей «будет удовлетворяться досыта», а сам труд «из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физических потребностей». При производстве изобилия продуктов потребления их распределение станет обходиться без специальных экономических законов и вообще отпадет необходимость в регулировании «экономической деятельности и производства ценностей». Развившиеся просвещение и здравый взгляд на жизнь сведут «до нуля разные слабости и пороки», ликвидируют общий корень большинства «слабостей и пороков — тщеславие» (V. 609). Таковы общие принципы высшего уровня развития общественных отношений, которые Чернышевский мыслил как коммунистические.

Следует обратить особое внимание на то важное обстоятельство, что в 1863 г. эта идиллия представлялась Чернышевскому на фоне сельскохозяйственного, а не городского производства и быта новых людей, которые, которые начинали закладывать фундамент новых общественных отношений в городе. Исследователи не обращали внимания на этот факт, а он, между тем, весьма красноречиво свидетельствует о тогдашней вере Чернышевского в коммунистическое будущее именно русской деревни.

В самом деле, «безгранично независимый от всяких стеснений» индивидuum живет в громадных, стоящих среди нив и лугов, садов и рощ,

зданиях. Хлеба на его нивах «густые, густые, изобильные, изобильные... Сады, лимонные и апельсиновые деревья, персики и абрикосы» в раскрытых на лето оранжереях. Роши — «дуб и липа, клен и вяз», за ними очень заботливый уход, среди них нет ни одного больного дерева.

Деятельность людей будущего общества обрисована в средних (район Оки) и южных местах России (Крым) и мельком — в городах. Первый из указанных районов является житницей страны. Показаны моменты уборки хлебов. В поле, в основном, молодые люди. Стариков и детей мало, больше половины их занимаются домашним хозяйством. Работа на ниве спорится: «Почти все делают... машины, — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами». Зной им нипочем: над частью нивы, где идет работа, «раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он», обеспечивая рабочим прохладу. Звучат песни. Все они новые, незнакомые Вере Павловне. Но вот зазвучала и «наша»:

«Будем жить с тобой по-пански;
Эти люди нам друзья, —
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...».

(XI. 277, 278)

Среди нив и лугов, садов и рощ стоит громадное здание, «которых теперь лишь по несколько в самых больших столицах», или даже «ни одного такого!» Нет теперь и такой архитектуры строений. Вся его внешняя оболочка из чугуна и стали и служит футляром, покрывающим настоящий дом, и «образует вокруг него широкие галлерей по всем этажам». Внутри же дома архитектура легкая. Окна огромной ширины и высоты во весь этаж. «Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галлерею». А какие полы и потолки, двери и рамы, какая мебель! И все это из алюминия, заменившего собой дерево. Там, где играют дети, алюминиевый пол матовый, чтобы они не подкальзывались. Повсюду ковры. Их нет лишь на месте игр детей и танцев взрослых. Повсюду «южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад».

Дом этот — не единственная постройка среди нив. Есть много и иных, где размещаются приезжающие сюда с юга на помощь в работе «разноплеменные гости».

На поле работа ведется только первую часть дня, после чего все возвращаются в описанный дом и принимаются за обед. Столовая — самое огромное помещение, половина которого уставлена множеством накрытых столов. За ними умещается больше тысячи человек. Те старики, старики и дети, которые не выходили в поле, вели уборку

помещений, занимались другими хозяйственными работами; они же приготовили и обед.

Стол великолепно сервирован: «Все алюминий и хрусталь». По середине широких столов вазы с цветами. Уже расставлены и блюда для еды: общий обед состоит из 5–6 блюд. Все — работавшие в поле и дома — занимают места за общим столом. Прислуги нет. Кто хочет, ест дома. За лучший обед надо платить. И вообще «за каждую особую вещь или прихоть — расчет». Тут-то в литературе и возникал вопрос — разве это коммунизм?

На сцене обеда сон Веры Павловны прерывается и видение переносится на юг, куда с наступлением осени — за исключением десяти-двадцати «оригиналов», которым оказывается «приятным» полюбоваться «северной осенью» в унылой глуши, — отправились всей массой в 2 000 человек. Но зимой они будут возвращаться сюда для прогулок небольшими сменяющимися группами.

Южную область Чернышевский назвал «Новой Россией». Это — край когда-то голых, а теперь покрытых толстым слоем земли и заросших рощами самых высоких деревьев гор. В долинах под ними устроены кофейные плантации, поля пшеницы и ржи, но больше риса. Выше — финиковые пальмы, перемешанные с плантациями сахарного тростника виноградники. Все это на полуострове, по описанию, повторяю, в Крыму, пустынная территория которого уже стала осваиваться с северной его части. Огромные машины возили сюда глину для связывания песка. Машины устраивали оросительные каналы.

Как и на севере, здесь высились большие дома, закрытые от жары полами. Стоят они в 3–4 верстах друг от друга. Вере Павловне показывают один из них. Это — громадный хрустальный дом с белыми колоннами. Его окружают высокие столбы, на которые натянута в радиусе полог полверсты. Он постоянно обрызгивается водой из фонтанов, устроенных в каждой колонне, поэтому летом здесь всегда прохладно, температуру держат, какую хотят. Те же, кому нравится зной и яркое солнце, живут в стоящих вдали павильонах и шатрах.

Живущие здесь люди стройны, грациозны, цветут здоровьем, потому что «ведут вольную жизнь труда и наслаждения». Развлекаются в зале, где может поместиться тысяча человек. Постоянно сменяя друг друга, одни играют в оркестре, другие поют или танцуют. И в театрах каждый может быть актером или оставаться зрителем. Те кто настроен на серьезный лад, сидят в библиотеках, посещают музеи. «Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля».

А вот города, где и должны были производиться машины, способные покрывать голые скалы гор толстым слоем плодородной земли, в представлении Чернышевского сохранились лишь для того (их

«осталось меньше прежнего»), «чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров у лучших гаваней». Но и они, конечно, выглядят крупнее и великолепнее нынешних. Для «разнообразия» или непродолжительного труда туда на несколько недель ездят все, постоянно же в них живут по одному человеку из ста (См.: XI. 277–283).

Вот и все. Начав с подробного рассказа о жизни новых людей, строителей первых мастерских-товариществ, затем, минуя собственно социализм, считавшийся им сложной для понимания массами и реализации системой, Чернышевский нарисовал увлекательный и радужный мир жизни при коммунизме. Пропагандируя это будущее, он обращался к молодежи с призывом: «Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете переносите: настолько будет света и добра, богата радостью и наслаждениями ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего...» (XI. 277, 280–278).

Молодежь поняла суть романа «Что делать?» и горячо откликнулась на призыв Чернышевского. Его первые и наиболее горячие последователи, ишутинцы, отнюдь не схватились за оружие и не бросились делать революцию, а с энтузиазмом и настойчивостью, рисуя для себя широкие и серьезные планы деятельности, принялись за устройство разного рода ассоциаций...

Описанные Чернышевским новые формы общественной жизни представляли собой лишь одну сторону мыслимого им будущего строя жизни. Это, так сказать, материальная, базисная его основа. «Но форма владения, — писал он в 1857 г., — не есть единственное основание» для успехов сельского хозяйства и национального благосостояния: «нужны другие условия, о них-то и должны хлопотать в каждой земле люди, желающие успехов сельскому хозяйству». Какие это условия? От человеческой воли, продолжал он, зависит «водворение законности, справедливости и правосудия, водворение хорошей администрации, предоставление каждому простора для законной деятельности, предоставление каждому трудящемуся обязанности содержать своими трудами только себя и своих близких, а не паразитов, ему чуждых или враждебных». Когда это будет осуществлено, то есть будут созданы соответствующие политические условия управления страной, последует «пробуждение промышленной деятельности, развитие городов (в сне Веры Павловны их меньше и они вовсе не представлены центрами промышленного производства. — В. А.), увеличение удобств сообщения производителей с рынком» (IV. 13). Без создания этих политических условий, писал он позже, новая экономика развиваться не сможет. Ему, как и Герцену, они представлялись в образе анархо-федералистского самоуправления.

Самоуправляющаяся федеративная республика России

Представление Чернышевского о будущем политическом устройстве России в историографии получило двоякое освещение. В количестве абсолютно подавляющей части работ, основывавшихся на студенческих дневниковых записях 1848 и 1850 гг., к тому же совершенно вольно, выборочно пересказываемых, он — сторонник и централизации, и диктатуры народного правительства земледельцев, поденщиков и рабочих, будто бы явившейся следствием крестьянской революции. Делались робкие попытки назвать или, отчасти, показать его приверженность федерализму. В то же время никто, несмотря на очевидность этого, не относил его к анархизму. Появление в 1991 г. моей статьи в «Родине» (№ 3) под редакционным названием «Анархизм по Чернышевскому» (мое название «Анархия по Чернышевскому») с изложением системы его анархо-федералистского самоуправления не вызвало ни осуждения, ни одобрения.

Здесь представляется возможным обстоятельнее разобрать этот важный вопрос общественно-политических взглядов Чернышевского. Прежде всего, следует обратиться к его студенческим дневниковым записям. Они свидетельствуют о том, что среди многих деятелей демократии эпохи французской революции 1848 г., оказавших влияние на формирование его мировоззрения, в конечном счете оказались трое: Л. Блан, П. Прудон и Л. Фейербах. Блан — его первый учитель социализма, сторонник использования помощи государства в строительстве коллективного хозяйства трудящихся; Прудон во время революции 1848 г. страстно проповедовал анархическую идею замены государства самоуправляющейся федерацией; Фейербах, рассматривая в своей «новой философии» (антропологизм) природу как единственную реальность, а человека как высший ее продукт, привлекал его высказываниями о свободной и приверженной разумному эгоизму личности и прогрессе, осуществляемом силами нравственности. Все эти положения учителей Чернышевского стали составными частями его мировоззрения.

Демократическая самоуправляющаяся федерация, а не диктатура, централизм и бюрократия — вот что было воспринято Чернышевским от Прудона и стало сущностью его взглядов на принципы безгосударственного управления страной. Диктатура, деспотизм, как форма правления, по его мнению, были несовместимы «с необходимыми условиями для народного блага», ибо, говорил он, эта система основана

«на порабощении», а нация «не может быть руководима одним насильем», делающем все здание «похожим на железную клетку» (V. 399).

Но демократия, несовместимая с диктатурой, противоположна также бюрократии и централизации. Последняя и демократия представлялись ему как «два явления разных периодов и совершенно разных тенденций» (V. 652–653; VII. 688). «Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации» (V. 653).

Эти краеугольные положения Чернышевского о формах управления требуют пояснений. В политических статьях он показывал нелепость централизованно-бюрократического управления страной. В литературе это оценивалось как критика им самодержавия, тогда как на самом деле он различал понятия «государство» и «централизация». В споре с Б. Н. Чичериным, который в работе «Областные учреждения России в XVII веке» (М., 1856) писал, что с введением в стране воеводства распространилось государственное начало и на областное управление, Чернышевский решительно возразил ему и предложил заменить термин «государственное начало» словами «централизация в областном управлении». И при этом он пояснял: «понятия “государство” и “централизация” совершенно различны. В Англии, в Северной Америке централизации нет; а государства эти и сильны и благоустроены». Для него понятие «государственное начало вообще» связано со стремлением «к постоянному, прочному, легальному порядку». В воеводстве же он видел диктатуру, которая по своей сущности считалась им противоположной «этой идее постоянства и определенности». Он полагал, что воеводы, обладая огромной властью на местах, управляли подведомственными им территориями по своей прихоти и произволу (III. 570, 572–574).

Таким образом, Чернышевский стремился доказать, что сложившаяся в России централизация ей была совершенно не нужна. Он признавал ее необходимость лишь в тех странах, где существовал и существует партикуляризм, а в России тенденцию к независимости проявлял лишь один Новгород. В таком случае он говорил, что «централизаторы были в тысячу раз лучше феодалов», стремившихся к обособлению (IV. 823).

Все это позволяло ему заявлять, что сложившаяся в России централизация была ей чужда и потому не нужна, если лишь один Новгород решился жертвовать ради областного интереса национальным единством. В сознании своего народа Чернышевский видел постоянное преобладание идеи национального единства над провинциальными стремлениями. Образование же в период феодальной раздробленности отдельных земель он объяснял отнюдь не желанием их обособиться. По этому поводу он писал: «распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями, делом потомков Ярослава или, пожалуй, и самого Ярослава, но не следствием стремлений самого русского народа» (III. 570). Это было сказано в 1856 г. Позже, в 1861 г.,

им давалось иное объяснение причин феодальной раздробленности. По его мнению, это случилось из-за малочисленности и грубости народа. Мелкие его группы рассеивались и бессвязно селились на большом удалении друг от друга, грубость же не позволяла «установить таких форм администрации, которыми удобно соединялись бы области, далекие одна от другой». Обширные государства для обеспечения своей прочности «требуют некоторой цивилизации народа». Поскольку народ Руси тогда не обладал ею, его единство могло быть обеспечено размножением и цивилизацией. Последняя зависела от успехов первого, так как увеличиваясь численно, народ освобождался от ига татар и получал возможность для развития. Здесь, как видим, дано объяснение вопроса о концептуальном значении роли количества и знаний в историческом процессе. Причем оба эти условия возникали, по его мнению, сами собой. «Централизация ничем тут не помогала судьбе России» (VII. 703). Не имея корней в сердце народа, удельная раздробленность, по его мнению, не оставила о себе никаких следов в его понятиях. Народ, думал Чернышевский, «только подчинялся семейным распоряжениям князей» и потому, когда Москва стала собирать земли, тверитянин и рязанец будто бы сразу становились москвичами и даже не помнили, что были в разрозненности с Москвой. Они — русские и этого достаточно. «При такой силе национального чувства, государственное единство нисколько не нуждалось в поддержке централизациею управления».

Тогда возникает вопрос: почему же в России все-таки сложилась централизация? Чернышевский находил этому одно общее объяснение в «стремлении власти к расширению своих границ», которое замечалось «во всех странах и во всех веках» (III. 570, 571).

И еще одно замечание для выяснения причин особого отношения Чернышевского к самодержавию России. «Монархическая власть, — писал он в 1858 г., — может существовать в двух формах: самодержавной и конституционной». Исходя из фактов истории Греции, Рима и Западной Европы, он объяснял возникновение неограниченной монархии в древние времена борьбой «между аристократией и демократией». Так, полагал он, в Греции «тираны были представителями демократов и получали свою власть низвержением аристократического устройства. Императоры в Риме также вышли из представителей демократической партии». Впоследствии всю свою силу, например, короли Франции приобретали в борьбе с феодалами лишь при опоре «на массу народа. Людовик XI и Ришелье, наиболее содействовавшие утверждению самодержавия во Франции, оба ненавидели аристократов не меньше, чем Робеспьер, и казнили их с такой же беспощадностью. Сам Людовик XIV, пока еще сохранял умственные силы, держал аристократов под очень суровым ярмом» (V. 261).

То же он видел и в свое время. Например, Австрия после событий 1848—1849 гг., благодаря поддержки славянами своих восточных областей, сохранила монархию свободной от конституции. Славяне, считавшиеся Чернышевским по внутреннему устройству их стран демократами, не были заинтересованы в усилении аристократических венгров, которые, говорил он, составляли главную силу конституционной партии (V. 261, 262).

Выясняется вообще отрицательное отношение Чернышевского к ограничению монархии конституцией. Дело вот в чем. Раз конституционные монархии возникали вследствие победы аристократии в ее борьбе с абсолютизмом, то конституции, таким образом, ограничивая монархию, отражали интересы лишь одной аристократии, этого сохранившегося звена феодализма, и потому он находил, что «история конституционных правительств показывает, что они держатся преимущественно силой аристократии». Стараясь быть убедительным, Чернышевский в качестве классического примера, будто бы подтверждающего его точку зрения, привел Англию. Там, полагал он, неограниченная власть могла бы лишить аристократию ее богатств и личного достоинства. Подобное утверждение было жертвенной данью опять же концептуальному выводу его о феодализме как системе, не заключавшей в себе ничего развивающего. Между тем именно в Англии в середине 90-х гг. XVII в., когда господствующее положение в политической жизни страны принадлежало тори, была отменена цензура.

Однако, справедливости ради, следует сказать, что Чернышевский имел и другой довод против конституционных порядков. Как социалист, он не соглашался с цензовыми ограничениями прав народа конституциями западных стран. Правда, говорил он, пожертвований от народа требуют и самодержавные, и конституционные правительства Англии и Соединенных Штатов, и законы они издают «независимо от народного желания и участия». Это так, но Чернышевский полагал, что самодержавие требует от народа меньше жертвований и потому считал, что «союз династии с народом приносил и наиболее выгод». Этого не учли Бурбоны эпохи реставрации во Франции и не стали покровителями народных интересов, оставили народ без своей защиты, а сами, пойдя на союз с феодалами, допустили тем самым гибельную для себя ошибку (V. 261, 262, 265).

Однако не всякое самодержавие было идеалом Чернышевского. Оно должно было быть таковым не только по форме. «Самодержавное правление, — читаем у него, — предполагает твердую волю и самостоятельное знакомство с государственными делами в короле или гениальность в первом министре, который, пользуясь непоколебимым доверием короля, может действовать независимо ни от кого». К числу таких королей он относил упомянутых Людовика XI, Людовика XIV

и первого министра Ришелье. Качества сильных правителей они приобрели в борьбе с феодалами за упрочение своей власти. В таких условиях правитель, лично заинтересованный в результате борьбы, сам «серьезно занимается делами и развивает в себе мужественный характер... Только в таких обстоятельствах являлись истинно великие самодержавные государи и великие министры самодержавия, как показывает история» (V. 313).

Но вот форма, за укрепление которой боролись монархи, упрочена, вследствие чего меняется характер дел, а с ними и характер людей. Напряжение борьбы сменяется отдыхом, усиленная деятельность — ослаблением энергии. Наступает время царствования, наслаждения формой. Беспокоиться больше не о чем. Как бы дела ни шли, престолу ничто уже не грозит. Они «ведутся не в духе необходимости, без строгой последовательности... Твердая воля исчезает, знание дел становится ненужным». Оказывается удобным вверяться людям уступчивым, действующим «по воле минутного расположения». Так постепенно наступает время «владычества камариллы, которая скоро так опутывает волю (монарха. — В. А.), что она лишается своей самостоятельности». Имя остается тем же, а прежнего духа уже нет.

Во Франции «камарилла» в начале XVIII в. овладевает всей дворцовой жизнью. Она становится между королем и делами, все скрывает от него, а чего скрыть не может, «показывает в извращенном свете». Она занимает его «мелочными развлечениями, обольщает житейскими удовольствиями», все делает, исходя из личных расчетов и превращает монарха в «личность, около которой вертятся ее мелкие хлопоты» и которая становится «лишенной и знания и воли во всем серьезном».

В конечном счете это дорого обходится стране. Наступило время восшествия на престол Людовика XVI (1754–1793). Все дела при нем шли дурно. «Ни порядка в администрации, ни правосудия не было... Финансы находились в расстроенном положении», но «камарилле» не о чем было хлопотать — она уже имела много денег. Возрастал государственный долг, но «проценты увеличивались при помощи новых займов и новых податей». Все это не смущало «камариллу», она ничего не хотела менять.

Положение мог бы изменить новый король. Людовик XVI, писал Чернышевский, был человеком, желавшим добра, но мог ли он «взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти?» Оказалось, не мог, так как сам был воспитан в ее среде «сообразно с ее правилами и расчетами», о чем она сама заранее позаботилась. В результате он, не зная государственных дел, не понимая своего положения, не мог опереться на людей, не похожих на «камариллу», и стал править страной по заведенным до него правилам (V. 314, 315).

Однако при нем оказался непохожим на «камариллу» А. Р. Ж. Тюрго, занявший должность контролера финансов (1774–1776). Он сумел провести ряд преобразований буржуазного характера. Его намерения шли весьма далеко: «...отменить феодальные права, уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить большую часть монастырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. В довершение всего хотел ввести во Франции нечто очень похожее на конституцию». Это всполошило «камариллу». Она добилась его отставки и отмены проведенных преобразований. Между тем, писал Чернышевский, соверши Тюрго все, что им было задумано, «не было бы революции» (V. 317).

Однако, имея в виду укоренившиеся в стране порядки, Чернышевский посчитал эти планы Тюрго либерально-мечтательными, неосуществимыми даже и в своей сотой части. Но, говорил он, нельзя не уважать таких странных людей «за чистоту намерений, за преданность общей пользе» и все же нельзя не улыбаться, слушая их. Великолепные идеи привели лишь к «забавному разочарованию» (V. 317). И в результате из-за нарушения нормального хода дел, бывшего при сильном самодержавии, страна зашла в тупик и разразилась революция.

Это обращение Чернышевского к истории Франции не было случайным. В ней он черпал аргументы для разговора с современниками о своей стране с ее самодержавной формой правления. В каком состоянии он находил ее? На что, с его точки зрения, способно было отечественное самодержавие?

Так вот, российское самодержавие XVIII–XIX вв., о представителях которого выше уже шла речь, по мнению Чернышевского, было на подъеме: оно, следовательно, понимало задачи времени и имело волю их решать, о чем свидетельствовало показанное им его законотворческая деятельность. Оно и развивалось прогрессирующе — от совершенствования «учреждений» управления к первым попыткам Александра I заняться освобождением крестьян и провозглашением Александром II повсеместной отмены крепостного права в стране. Последнее Чернышевский воспринимал как свидетельство общности интересов самодержавного царя и народа потому, что в соответствии со своей концепцией самодержавия, всячески поддерживал намерения Александра II.

Прежде всего это, как показано выше, выражалось разработкой «технической» стороны реформы — как освободить крестьян и какие в связи с этим должны быть издержки народа, помещиков и государства. Кроме того, абсолютно веря в добрые намерения Александра II, Чернышевский все же тревожился за судьбу начатого им дела из-за наличия в его окружении «камариллы». Надо было оградить его от их опасного влияния на ход разработки реформы или ее судьбу, с одной

стороны, и в то же время помочь ему делать самому верные шаги в принятом им направлении, с другой.

Уже с первого номера «Современника» 1858 г. он начал систематически публиковать статьи, которые и должны были играть роль политической педагогики, школы высшего политического образования. За примерами Чернышевский обращался к опыту той же Европы, ее политических деятелей и политических партий. При этом для своих обзоров он выбирал такие исторические события других стран, такие факты, решение там таких задач, которые были схожи с российскими. Такую роль и играли статьи «Кавеньяк», «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», — в 1858 г.; «Франция при Людовике—Наполеоне», «Вопрос о свободе журналистики во Франции», статьи в разделе «Политика» — в 1859 г.; «Июльская монархия», «Нынешние английские виги» — в 1860 г.; «Граф Кавур», «Русский реформатор» — в 1861 г.

В них разбиралось не только поведение таких деятелей, как Кавеньяк, Гизо, Тюрго, Наполеон III, Кавур, в России Сперанский и многих других, но и партий Франции, Италии и Англии. Весь этот материал мобилизовывался Чернышевским для того, чтобы создать достойный подражания образ «государственного человека». Наиболее четко он изображен в первой и последней из указанных выше статей — «Кавеньяк» и «Русский реформатор». В первой указано, какими принципами должен руководствоваться государственный человек в своей деятельности. Во второй он предостерегался от опасности загубить любую хорошую программу преобразований стремлением приняться за ее осуществление в исторически неподготовленных условиях жизни страны.

Политическая педагогика Чернышевского учила, что те государственные деятели и партии, которые в крутые часы истории своих стран думали только о себе, о своих интересах и не заботились о народе, его нуждах, ничего не давали ему, неизменно терпели поражение; хороши ли, дурны ли поставленные цели, но «имени государственного человека заслуживает единственно тот правитель, который умеет располагать свои действия сообразно этим целям». Но тот «плохой государственный человек, кто работает во вред себе, в выгоду своим противникам». Старая пословица говорит, «что непредусмотрительность и нерешительность в государственных делах гибельны бывают и для государства и для людей, не умеющих пользоваться властью». Государственный человек должен думать о том, на кого ему в своей деятельности следует опираться. «Нет ничего гибельнее для людей и в частной и государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами». Честный человек должен быть уверен в том, «что ни от кого, кроме людей, действительно сочувствующих его намерениям, не может он ждать опоры, что недоверие к ним и доверие

к людям, желающим совершенно противоположного, не приведет его ни к чему хорошему». Никакими потворствами не может он «смягчить партию, которая не одобряет его коренных желаний, — вражда этой партии к нему останется непримирима, и для того, чтобы удержать за собой свои мнимые выгоды, она всегда готова будет погубить человека, намерения которого ей противны, с ними вместе готова погубить государство, — конечно, погибнет потом и сама..., но, ослепленная ненавистью, она не разбирает средств и не предвидит будущего».

Эти весьма назидательные поучения Чернышевский заключал еще более значимым советом: государственный человек «не должен вверять ведение дел, не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений. Только при этом условии дела пойдут так, как он того хочет» (V. 7, 48, 62).

У Чернышевского было более, чем достаточно, оснований беспокоиться по поводу надежности и пригодности для великого дела раскрепощения крестьян людей, окружавших царя. Как известно, и в Секретном комитете, и в Главном комитете по крестьянскому делу, и в Губернских комитетах большинство принадлежало крепостникам, во всяком случае деятелям, не желавшим успеха начатому им делу. Герцен называл их по именам, Чернышевский ограничивался общими наставлениями, также имея основание надеяться на силу их воздействия. Нравственная сила политических уроков Чернышевского столь живуча, что может быть вполне полезной и для современных строителей жизни России.

Во второй из названных работ указывалось на причину неудачи даже хорошо составленной программы реформ. По мнению Чернышевского, «Сперанский желал... изменить не одни второстепенные подробности и не одни внешние формы прежнего государственного быта, а и некоторые существенные черты его»; он был «отчасти приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозглашала равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство». За это враги называли его революционером. Значение преобразований имело бы этот смысл, но «Сперанский был искренно предан и преобразовать государство хотел не низвержением его, а именно его властью» (VII. 804).

Но ему не удалось исполнить свои замыслы. Почему? Чернышевский видел противоречие между колоссальной громадностью его планов и мизерностью средств, которыми он располагал для их осуществления. При этом он «думал провозгласить реформу в полном составе за один прием». Однако обстоятельства заставили его, оставляя главное, начать с частей — стали «появляться только уставы учреждений, которые не изменяли прежнего порядка» и могли иметь значение могли иметь значение не «при старом, а задуманном новом быте» (VII. 805).

Сила и возможности преобразователя сразу гасли и исчезали, как только возникала мысль о Государственном совете, который должен был рассмотреть его планы. «Он, — писал Чернышевский, — сам говорил, что выбор людей не зависел от него: членами государственного совета, по его собственным словам, назначены были не те лица, которые соответствовали бы его намерениям, а те, которые имели официальное право занимать почетные должности. Уже из этого видно, как ограничены были силы преобразователя» Поэтому-то он принужден был сохранять прежний дух управления, а реформистские труды его должны были «остаться бесполезными и безвредными листами и тетрадами писаной бумаги». Не понимая совокупности этих противоречивых обстоятельств, он, говорил Чернышевский, остался мечтателем (VII. 807).

Сперанский говорил, что составлял план общего преобразования по «собственной мысли государя». В этом не может быть сомнений, так как в своих мечтаниях царь шел едва ли не дальше реформатора. «Но, — писал Чернышевский, — отвлеченная мысль, неопределенное стремление и подробный и систематический проект — вещи совершенно различные... думать о реформе только как об отдаленной возможности, отсрочивающейся до неопределенного будущего и увидеть близость ее — опять-таки вещи совершенно разные».

Итак, Сперанский, как Тюрго, пренебрегая затруднениями, спешил сделать все сразу, а император, полагал Чернышевский, видимо, «находил какие-нибудь очень важные неудобства, которыми удерживался от осуществления своей мысли». Каковы эти «очень важные неудобства»? Почему Александр I порвал отношения со Сперанским и сослал его, а после возвращения из ссылки не привлек к делу? Чернышевский справедливо видел причину этого в несовместимости убеждений царя и реформатора: сам Сперанский обнаружился перед императором как человек вредного образа мыслей. Сперанский же мог состояться и иметь силу «только как реформатор».

Интересно и назидательно заключение статьи. Обольщение в серьезных делах, писал Чернышевский, вредно обществу. Такие люди в своей «восторженной хлопотливости на ложном пути», кажется, «добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем, не приводящим ни к чему, кроме фантасмагорий». Эту сторону деятельности Сперанского Чернышевский назвал вредной, так как своими «ошибочными увлечениями он увлекал многих к такой же напрасной трате сил на употребление средств, не соответствующих делу». Его работы поэтому придали нескольким годам российской истории «фальшивый оттенок» (VII. 804, 805, 807, 815–817, 826, 927). К такому заключению пришел Чернышевский о деятельности человека «необыкновенных дарований, человека, с которым никто не мог равняться

способностью быстро и легко исполнять труднейшие задачи»: человека думающего, «кроме своего личного честолюбия, также и об исправлении коренных недостатков, об удовлетворении глубоким государственным потребностям» (VII. 816, 824).

Так с момента открытого провозглашения начала подготовки крестьянской реформы Чернышевский старался предупредить прежде всего Александра II об опасности загубить начатое им великое дело, указать ему, что недопустимо вверять его исполнение людям, чуждым этому делу, то есть «партии» крепостников, которых в таком случае следовало бы удалить от себя. И Герцен тоже советовал ему не брать с собой старых людей для начатого им нового дела. Царю следовало отбросить все сугобо личное, мелочное, стать предусмотрительным и решительным, вникать во все самому, опираясь при этом на друзей своих намерений, и, не останавливаясь, энергично идти до конца, без колебаний используя для довершения задуманного свою неограниченную власть. Только следуя этим правилам, он мог стать истинным государственным деятелем и с честью завершить объявленную им реформу.

Статья о Сперанском, была опубликована после реформы (Современник. 1861. № 10), когда Чернышевскому уже стали ясны допущенные царем ошибки — не проявил качеств государственного человека, когда вверил дело реформы бюрократии, привлек к ее подготовке только одну сторону из заинтересованных сторон, помещиков и при этом не посчитался с интересами крестьянства. Поставив задачу — не только освободить, но и «улучшить» их быт, он в ходе реформы отступил от объявленного, разошелся с реформаторами и, по мнению Чернышевского, окончил дело почти ничем, незначительным изменением положения крестьян, имеющим формальное значение. Смысл публикации статьи о Сперанском после реформы заключался том, чтобы — прежде всего — подвести итог реформы, указать на допущенные просчеты и тем самым предупредить от повторения их при наступлении нового цикла «усиленной работы», к подготовке к которому общества он, как уже сказано, приступил с начала 1862 г.

Цели реформы, по мнению Чернышевского, не были достигнуты не только из-за указанных ошибок власти, но и вследствие несовершенства (плохой) администрации, в силу чего теперь на первый план была поставлена задача проведения политических реформ, что и нашло отражение в статье «Русский реформатор», а затем в «Письмах без адреса». Как известно, в «Письмах» Чернышевский требовал изменения «общего законодательства», в частности — основания «администрации и суда на новых началах» и провозглашения «свободы слова» (X. 90, 100, 101).

Это было тезисное представление Александру II Чернышевским своей программы, указание направления реформирования централизованно-бюрократической системы административного управления

страной. Она должна была быть заменена системой самоуправляющейся федерации. Она сформировалась в его представлении постепенно. Ее исток, как говорилось, идет от Прудона. Будет ли она осуществлена при Александре II (ему было тогда только 44 года) или при каком из его преемников, не столь важно (история движется чрезвычайно медленно), но Чернышевский был абсолютно убежден, что именно федерализм должен придти на смену централизации, а самоуправление — диктатуре сверху.

С годами отказавшись от студенческого революционаризма, Чернышевский, однако, в то же время возвратился к юношеской идее 1848 г. (отвергнутой в 1850 г.) о прогрессивной роли просвещенного абсолютизма. В образе такого монарха и предстал перед ним Александр II. С ним он пошел на крестьянскую реформу, а теперь, когда она споткнулась о несовершенство государственного аппарата, на него же уповал и в реформировании политической системы страны.

Идея этой системы была проста. В своем несовершенном виде она существовала в первобытном обществе. Руководствуясь формулой развития Шеллинга—Гегеля, Чернышевский устанавливал, что в начале развития это была самоуправляющаяся федерация общин и племен, которая затем (ускорение развития) сменилась централизацией и бюрократией, а на высшем цикле развития возвратится, но уже в своем совершенном виде.

Вот как в представлении Чернышевского шел исторический процесс развития форм управления. Вспомним причины, побудившие людей создать самые первые и самые простые органы управления. На самой ранней стадии своего развития люди, являясь беспомощными перед подавляющими их силами природы, не могли в полной мере удовлетворять свои материальные потребности и жестоко враждовали между собой из-за средств к существованию. Понадобилось вмешательство рассудка, чтобы придти к согласию. Разум помог им выработать правила, законы, определившие их отношения между собой в разных случаях жизни, в том числе и при распределении материальных средств к существованию. Первоначально это согласие достигалось в пределах небольших племен и представляло собой примитивное самоуправление.

Внутри племен связь людей устанавливалась и скреплялась по родству, знакомству, соседским и личным выгодам. Каждый соплеменник активно участвовал в деле всего общества. Время от времени мелкие племена соединялись «с другими однородными племенами» в общий союз на случай войны, разрешения иных вопросов жизни, требующих больших общих усилий.

Государства с централизованным управлением появляются на следующем цикле развития — в эпоху Греции, Рима и феодализма. Это произошло вследствие постепенного слияния племен до таких размеров

общности, когда каждое из них исчезает «в громадных государствах», какими Чернышевский считал Францию, Австрию, Пруссию и др. В них самоуправление сменяется бюрократической централизацией в лице чиновников и полицейских, которые по происхождению и личным отношениям уже не имеют никакой связи с местным населением и переводятся по службе из округа в округ решением центральной власти. «Житель округа по отношению своему к администрации есть лицо чисто пассивное» (V. 371, 372).

Однако административные округа государства, скрепленные только силой, не имеют «живой связи между своими частями» и потому «при первой возможности производится реформа, какую успела уже осуществить Франция разделением на департаменты, лишенные органического единства, взамен прежних провинций».

Но на «этой степени общество не может остановиться... Швейцария и Северо-Американские Штаты по административной форме представляются совершенным возвращением от бюрократического порядка к первоначальному быту, какой имели люди до возникновения обширных государств» (Там же). Возвращение первоначальной формы управления свидетельствовало о готовности передовых стран Запада к переходу на высший цикл развития.

Своеобразно положение России. Несмотря на свое отставание от Запада, она в сознании людей не изжила традиции первоначального федерализма и самоуправления, что Чернышевскому представлялось весьма благоприятным обстоятельством для превращения страны в самоуправляющуюся демократическую республику. По его мнению, сущность ее заключалась в следующем: «Демократическое государство есть, — писал он, — союз республик или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких округов, — таково устройство Соединенных штатов» (V. 653). Эта организация управления создавалась постепенно и снизу вверх, тоже как в Соединенных Штатах. «В них каждая деревенька есть особенная республика; из соединенных нескольких деревень образуется приход, который опять-таки составляет самостоятельную республику; из соединения нескольких приходов образуется новая республика — графство; из нескольких графств — республиканский штат; их союза штатов — государство» (Там же).

Эта система тем именно и привлекала Чернышевского, что, во-первых, она складывалась по воле народа снизу и, во-вторых, в ней, по его мнению, нисколько не было бюрократии. Идеальной в этом отношении представлялась ему и швейцарская федеративная демократия. Там «каждый кантон может иметь у себя даже особенное войско» (Там же). Этот порядок самостоятельности частей в целом, едином он и выразил

формулой: «Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации» (Там же). Федерализм для него, таким образом, был логическим следствием требования свободы и самоуправления частей в целом.

Тот же, что и в Соединенных Штатах, восходящий порядок образования управления снизу вверх, по его мнению, был возможен и в России по схеме: человек—село—город—округ—область—республика. Принцип их отношений — свобода и независимость в разрешении внутренних дел. По мнению Чернышевского, необходимо, «чтобы каждый гражданин был независим в делах, касающихся только ~~с~~ его одного; каждое село и каждый город независимы в делах, касающихся его одного; каждая область — в своих делах».

Администрация села, города, округа, области и республики подотчетна народу и зависит от него. «Демократия, — высказывал Чернышевский свой взгляд на взаимодействие народа и власти в системе самоуправления, — требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела» (V. 653). Только при таком соотношении прав народа и ответственности перед ним депутата и можно говорить: «депутат — слуга народа». Если же его избранники, оказавшись у власти, лишат его этого права, они просто узурпируют власть. Это показал опыт почти 75-летнего господства в нашей стране партократии; но и депутат современной Думы позаботился о том, чтобы отгородить себя от народа: ни президент, ни прокурор, ни даже сам народ не могут его отозвать из Думы, пока сама Дума не даст на это согласие, чего она практически и не делает. Что же, и Чернышевский, как Сперанский, оказался мечтателем?

Правда, в утешение нам он сказал, что вековые «привычки исчезают не легко и не скоро», а сама демократия «не имеет такой волшебной силы, чтобы один звук этого слова мог перерождать нравы народов в несколько лет» (Там же). Рождается она «с формами бюрократии» и чрезвычайно слабой, что не позволяет ей «отвергнуть вьевшуюся в нее старину, противную ее собственной натуре» (V. 666).

Образец местного самоуправления Чернышевский, как и Герцен, находил на казачьем Дону. «Ничего не может быть почтеннее того принципа, — писал он, — на котором основано устройство козацких племен. Каждый мужчина из козацкого племени соединяет в себе воина с мирным гражданином. Он привык владеть оружием и сражаться не хуже регулярного солдата. Но в то же время он земледелец или промышленник... Принцип этот превосходен». Но он видел в нем и обременительный элемент, по его мнению, не соотносящийся «с потребностями материальной и гражданской жизни». Ему казалось слишком «тесным

понимание воинских обязанностей козака». Чернышевский имел в виду строгую обязанность молодых казаков нести воинскую службу. Поэтому он приветствовал решение царя от 8 июня 1857 г. об освобождении от воинской службы тех из них, кто получил образование (IV. 820). В каждом случае даже малейшее препятствие развитию образования воспринималось просветителем-демократом как тормоз прогрессу.

Восходящую снизу вверх систему самоуправления венчал центральный орган. Чернышевский, останавливаясь на выяснении его роли и значения в новых условиях жизни, говорил о нем следующее: «С той поры, как явилась в экономической науке школа, доказывающая недостаточность, разрозненность индивидуальных интересов и усилий для водворения благосостояния в обществе и доставления обеспеченной жизни индивидуальному лицу, получили важность в науке споры о степени участия, какое должна иметь общественная сила в экономической деятельности». По его мнению, Д. С. Милль рассмотрел этот вопрос «только в одной из частных его форм — в той форме, когда общественная сила является с характером правительства». С высокой научной точки зрения такая постановка вопроса Чернышевскому казалась узкой и слишком односторонней, так как со временем могут возникнуть «такие формы быта, в которых или не будет вовсе ничего соответствующего нынешнему понятию о правительстве, или этот вид общественной силы и деятельности будет иметь гораздо меньшее значение, чем теперь». Его не устраивали существующие отношения, когда «всякий факт экономической деятельности общества принимает правительственную форму, если достигает серьезного значения». В то же время, продолжал он, есть и теперь другие государства, «в которых индивидуальная деятельность менее подчинена правительственному влиянию, чем в других». Так ставился вопрос о двух формах управления — правительственной, как, например, в Англии, где индивидуальная зависимость от власти очень велика. (там «никакой контракт не имеет силы без предъявления правительству») и иной, со значительно меньшей зависимостью индивидуальной деятельности от власти, например, в США и Швейцарии. Естественно, Чернышевский, как противник государственной формы власти в будущем обществе, предпочитал последнюю. Ее, писал он, придерживаются и представители «прогрессивной экономической школы», тогда как первая является идеалом «рутинных» толкователей их взглядов. Здесь в качестве «прогрессистов» он имел в виду социалистов. «Когда, — писал он, раскрывая их взгляд на этот вопрос, — прогрессисты или так называемые утописты, говорят о расширении круга общественной деятельности в экономической жизни, не следует воображать, будто бы они рекомендуют расширение того, что ныне называется правительственной деятельностью». Ему не нравится, что некоторые из них употребляют слово «правительство», хотя и не соединяют с ним тот

смысл, «какой имеет оно в обыкновенном языке». Это разговорное слово они используют «для обозначения их специальной идеи, различной от понятия, принадлежащего ему в обыкновенном языке». Недовольный всем этим, он продолжал: «метод обозначения новых понятий старыми словами», не соответствующими «сущности нового взгляда», по его словам, «ведет к недоразумениям», ибо слово «правительство» «вводит в заблуждение своим привычным административным бюрократическим и централизационным оттенком», тогда как предполагаемые прогрессистами формы общественной деятельности существенно различны от правительственных форм. «Дело, — читаем далее, — должно идти собственно не о правительстве, а вообще о коллективной деятельности» (IX. 658, 659, 660).

Так Чернышевский обосновывал свое отрицание в будущем государства, свой анархизм. Отрицая привычное, он, к сожалению, не показал, как должно было быть устроено «коллективное управление». Мы знаем лишь то, чем оно должно было заниматься. Круг его деятельности был весьма широк. Он определен Чернышевским со ссылками на обсуждение этого вопроса Миллем. Так, соглашаясь с ним, он писал, что эта «общественная сила» должна устанавливать правила пользования землей с ее лесами и водами, другими богатствами над ней и под ней (IX. 662); она будет заниматься железными дорогами, почтовой связью (IX. 705); чеканить монеты, устанавливать нормальные веса и меры, устраивать или улучшать пристани, строить маяки, проводить топографические работы для составления верных карт, возводить плотины для сдерживания морских и речных наводнений (IX. 664). Если всем этим и иным ему подобным не будет заниматься верховное управление федерации, если никто не будет думать об «общей пользе», тогда, цитирует Чернышевский Милля, «не будет ни дорог, ни доков, ни каналов, ни пристаней, ни работ для орошения, ни больниц, ни первоначальных, ни высших училищ, ни типографий, если не устроит их правительство... Хорошее правительство будет содействовать публике так, чтобы ободрялись и развивались все находящиеся в ней зародыши частной самодеятельности» (IX. 723).

Если в принципе ясно, чем должно было заниматься центральное коллективное управление, то, к сожалению, Чернышевский по сути и не коснулся его отношений с местными органами управления вплоть до общины. Скажем, если общий интерес требовал в таком-то направлении и там-то провести новую ветку железной дороги, то как будет разрешаться вопрос об отчуждении для этого той же общинной земли? Правда, логика проблемы подсказывает, что в таком случае предписание свыше исключено и, следовательно, остается лишь добровольное согласование, например, на основе выделения общине взамен отчужденной земли нового ее участка и т. п.

Как определялось Чернышевским соотношение власти и свободы? «Рутинные» политэкономы раздражали его своими утверждениями, что существенным назначением правительства является охранение людей лишь от насилия и обмана. Он возражал им, так как считал, что тогда «не останется никакого уголка для независимой частной деятельности, все должно стать под правительственную опеку, и за правительством будет признано право, даже обязанность совершенно уничтожить свободу личности. Свобода мысли прямо отрицается этим принципом». Логика его рассуждений такова. Допустим, говорил он, человек, высказавший ошибочное мнение, ввел других в обман. Чтобы предотвратить подобные случаи, правительство, выходит, должно «следить за каждым печатным и даже изустным словом, чтобы предотвратить обман». Связывая таким образом мысль, правительство будет связывать и всю общественную жизнь. «Например, правительство должно будет наблюдать за выделкою всяких товаров, чтобы не было в ней обмана. Все должно будет делаться под надзором правительственного надсмотрщика» (IX. 660, 661). На этот случай Чернышевского устраивал общий вывод Милля: «невмешательство должно быть общим правилом, а вмешательство только исключением». Сам Чернышевский говорил о недопустимости правительству «заниматься такими делами, которые хорошо идут без его содействия или контроля» (IX. 708).

Но, кроме вопроса о вмешательстве, есть еще и вопрос о содействии, и в этом случае Чернышевский говорил, что «с частной точки зрения экономической науки правительственное участие требуется во всех тех случаях, когда оно полезно для материального благосостояния людей» (IX. 664). Считая вопрос о «правительственном ведении экономических дел сообразно с принципами науки» новым, в силу чего «еще не приобретено достаточно опытности для хорошего практического его решения», он ограничился указанием лишь на несколько практических примеров этого рода:

«...деньги для правительственного вмешательства доставляются налогом; из этого, конечно, следует, что необходима бережливость... Правительство не должно тратить денег на такие дела экономического вмешательства, которые не стоят требуемого ими расхода... и вообще на всякие другие дела правительство не должно тратить денег, если цели не стоят расходов»;

— необходимо направлять средства на здоровье, образование, развитие в людях стремления к устройству самобытной и оригинальной жизни, самостоятельности;

— «Правительственное содействие в экономических делах может быть направлено прямо к тому, чтобы отдельные люди приобретали возможность самостоятельного действия» (IX. 710, 712).

В 1861 г. Чернышевский, как уже говорилось, предусматривал и необходимость проявления правительственной заботы об ограждении общины от ее возможного разрушения извне. «Мы, — писал он по этому поводу, — хотим только сказать, что, если это учреждение на самом деле полезно, то для его сохранения нужна правительственная забота, потому что без законодательного охранения оно не может удержаться против частных интересов». Желание превратить свой надел в частную собственность и быстро обогатиться «может иметь столько соблазнительности, что приведет к разрушению выгоднейшего для всех порядка» (IX. 725).

Рассматривался им и вопрос состояния прав личности и общества. Человек — венец природы — в храме самоуправления свободен, его права гарантированы. Во всех своих личных делах он независим от общества, однако это не означало, что он мог ни с кем и ни с чем не считаться, как «Я единственный» немецкого анархиста М. Штирнера. Чернышевский соглашался с Миллем, когда тот говорил: «всегда есть около частного человека круг, который не может переступить никакое правительственное вмешательство ... есть в жизни каждого взрослого человека часть, в которой должна царствовать личность этого человека, без всякого, чьего бы то ни было, частного или общественного контроля... вопрос лишь о том, — продолжал Милль, — где поставить границу этого пространства, как велика в человеческой жизни область, которая должна находиться в этой недоступной другим территории». Миллю казалось, «что она должна обнимать всю ту часть внутренней и внешней жизни человека, которая касается только самого этого человека, не затрагивая интересы других или затрагивая их лишь через нравственное влияние примера». Не оправдывается та запретительная регламентация, которая не одобряется и общим сознанием: одной ее полезности еще недостаточно (IX. 704).

Чернышевский никак не мог согласиться с подконтрольностью в делах интимных, в делах мысли, свободы ее выражения, но в то же время хотел уберечь и общество от необузданного поведения личности. Последнее обстоятельство он иллюстрировал примерами семейной жизни — отношениями мужа с женой и родителей с детьми. В принципе он был за сохранение «до высочайшей степени» их неприкосновенности, недопустимость «постороннего вмешательства» в них. Но вот случай — посторонний человек входит в комнату и видит, что муж таскает жену за волосы. Ясно, что не будет преступлением, если он вмешается и укроит драчуна. Официальное же лицо просто обязано будет прекратить побои. В семье, продолжал Чернышевский, бывает много других обстоятельств, требующих вмешательства извне. Но, замечал он, это вмешательство «должно тут ограничиваться случаями крайней необходимости».

Жена может обратиться к закону, чтобы отделиться от мужа. Закон же защитит и детей от жестокого обращения с ними родителей. «Правительство, — писал Чернышевский, — берет на себя заботу о воспитании детей и управлении их имуществом». Вмешательство правительства в интимную жизнь людей, если «требуется польза людей», «коренным образом изменяет существовавшие отношения» между ними (IX. 709).

Поскольку в анархии Чернышевского сохранялось управление (местное и центральное), возможному злоупотреблению новой администрации своим положением должна противостоять гласность. Ее состояние в свое время Чернышевский находил жалким и прискорбным. «Всему свету известно, — давал он в 1861 г. яркую и образную зарисовку ее положения в России, — что с русскою гласностью, несмотря на юность и невинность этой скромной институтки, а может быть по причине ее чрезвычайной стыдливости, произошло немало неприличных историй, конфузящих бедняжку до слез. До сих пор ее все еще экзаменуют и находят — не то, что она мало знает и почти ничего не говорит, нет, находят, что она держит себя непристойно и ставят ей дурные баллы за поведение». Ничего подобного нет в образованных странах — «гласность там уже не девица, стыдящаяся всего на свете, робеющая каждого упрека, а очень бойкая дама, которая не даст спуска никому». Там она «сживет с белого света того, кто вздумал бы хоть заикнуться против нее». В России же «всякий наворит обидеть бедную девушку: и сплетница-то она, и нахалка-то она, и скандалезница-то она, — чуть кто посильнее, прямо зажимает ей рот, да еще дает пощечины», что считается хорошим средством примирить ее с собой и заставить полюбить себя. Тот же, кто не может отстегать ее по щекам и зажать ей рот, «подбивает других на это криками о том, что гласность зазорно держит себя, что надобно обуздать эту гадкую девчонку» (VII. 953).

Степень гласности Чернышевский ставил в прямую зависимость от общего благосостояния дел в стране. «Общее отношение правительства к стране, — писал он в 1859 г., когда уже действовал запрет Александра II обсуждать в печати вопросы готовящейся крестьянской реформы, — характеризуется его отношением к печатному выражению мнений. Свобода, которою пользуется публицистика, бывает соразмерна с уверенностью правительства в том, что коренные учреждения государства соответствуют желаниям населения. Стеснительные меры против журналистики служат выражением того, что правительство чувствует шаткость оснований, на которых держится» (VI. 486). Строки эти, несомненно, были адресованы Александру II. Из-за его запрета обсуждать важнейший вопрос жизни страны Чернышевский, как и вся конструктивная журналистика, лишался возможности открыто влиять

на ход реформы и бороться за соответствующее его идеалу освобождение крестьян.

Поскольку самоуправляющаяся федерация будет создана «только для блага частных лиц», она и откроет полный простор гласности, без которой просто нельзя будет обеспечить того влияния на деятельность органов народных избранников в органах самоуправления. Без свободного обсуждения всех сторон жизни общества и деятельности людей в нем невозможно осуществление самой идеи демократического самоуправления, как она мыслилась Чернышевским.

В будущем обществе должны установиться правильные отношения не только людей между собой, но и человека со средой. Он как часть единой природы, естественно, взаимодействует с ней; они взаимно влияют друг на друга и потому на высшем цикле развития между ними, полагал Чернышевский, должны установиться отношения полной гармонии. Каждый порядочный человек будет заботиться о чистоте воздуха и поддерживать чистоту не только в своем доме, но и в квартале, где живет, и в самом городе. Пока же этого уважения человека к среде Чернышевский не наблюдал и сокрушался, что не создавались и соответствующие обычаи, без чего, говорил он, «мало будет на свете хорошего» IX. 680). С тех пор, когда Чернышевский писал эти строки, прошло 137 лет, но хорошего во взаимоотношениях человека с природой не только не прибавилось, а значительно, часто до катастрофического состояния, убавилось.

Как видим, Чернышевский, довольно подробно представивший новый экономический быт страны, о ее будущем политическом строе высказался значительно скромнее. По сути дела он определил лишь существенные принципы, которые должны были стать основой управления и жизни в будущем; обозначил лишь контуры будущего. И это не случайно. Он, как и Герцен, был сторонником приоритетности экономического начала при переходе к социализму, поэтому-то и назвал его «новым экономическим бытом».

Итак,

историография Чернышевского, сначала терявшаяся в догадках, кто он, но все же пытавшаяся найти ответ на этот вопрос, примерно с середины 30-х гг., так и не разобравшись в нем, вынуждена была подчиниться идеологической политике партии и на многие десятилетия успокоиться, приняв к руководству его ленинскую концепцию. Она-то, насквозь политизированная, но строго охраняемая цензурой, и заморозила исследовательскую мысль, поощряя лишь поиск в творческом наследии Чернышевского таких фактов, которые служили бы доказательством ее верности.

На помощь приходит его историческая концепция. Она не оставляет никакого сомнения в том, что Чернышевский не принадлежал к тем общественным деятелям, которые избирали средством прогресса социальное насилие. В силу этого от его сочинений не могло веять духом классовой борьбы, а сам он не мог заниматься ни созданием революционной организации, ни подготовкой крестьянской революции. В эпоху крестьянской реформы он выступил как просветитель-демократ, как деятель начавшейся в стране «усиленной работы». Главной целью его была ликвидация крепостного права и бюрократической системы управления страной.

Он был социалистом, в силу чего стал бороться за такое освобождение крестьян, которое сохранило бы коллективное общинное землевладение как основу будущего общественного строя. При этом несовместимая с социализмом система бюрократии должна была заместиться системой демократии.

Коллективное землевладение и демократическое управление становились базисными положениями для формирования Чернышевским общественного идеала будущей России. Его конечное воплощение — коммунизм, но путь к нему долг, примерно 100–150 лет. Сначала страна должна была прожить переходный период лет в 20–25–30, когда будет осуществляться принцип «общинного владения», и крестьяне подготовятся к совместной обработке полей (принцип «совместного владения и производства»), к строительству собственно социализма, который на уровне производства изобилия продуктов завершится отмиранием общины и формированием общества свободного труда и отдыха, живущего по принципу «совместного владения, производства и потребления».

С особенным усердием Чернышевский пытался разобраться в условиях общинной жизни крестьянства в переходный период, когда должна

была решиться судьба общины, а значит, и самого коммунизма в России. Дело в том, что внедрение капитализма в страну из предположений явственно переходило в область реальности. Герцена это обстоятельство сильно озадачивало, даже пугало; Чернышевский воспринимал его как явление неизбежное. Боялись, что, ворвавшись на свободные просторы огромной страны, капитализм, обладая мощными силами прогресса, разрушит общину. Чернышевский, отнесясь к этой проблеме хладнокровнее, в конечном счете пришел к выводу, что, если капитализма не миновать, значит, надо использовать его в целях развития России. По его мнению, в короткий переходный период он поможет ей преодолеть прежде всего экономическое отставание, а тем самым и преобразить быт народа. Но как в таком случае оградить общину от пагубного и соблазнительного для ее членов влияния успехов фермерского хозяйства? Выход общинников с наделом в надежде быстро разбогатеть при самостоятельном ведении хозяйства казался ему весьма привлекательным для них и в то же время весьма опасным для судьбы общины. Задача состояла в том, чтобы найти средства, которые обеспечили бы сохранение общины и мирное сосуществование двух систем. Решалась она двояким способом. Прежде всего он рассчитывал на законодательную государственную защиту общины от распада. Но, пожалуй, с еще большей надеждой смотрел на способность общины к саморазвитию. С карандашом в руках садился за арифметические подсчеты. Делая при этом даже некоторые уступки в пользу фермерского хозяйства, показывал, что труд общинников по сравнению с трудом вольнонаемных рабочих фермера оказывался неизменно и существенно более выгодным: общинники трудятся на себя и весь произведенный ими продукт принадлежит им, тогда как значительная часть продукта труда рабочих фермера в качестве ренты отчуждается в его пользу. Это обстоятельство позволит общине устоять в соревновании с фермой в переходный период, а в дальнейшем, с переходом к общественной обработке земли уже в период строительства собственно социализма, постепенно и окончательно вытеснить ферму с лика российской земли.

Однако как это произойдет за время 100–150 лет, отведенных им для периода социализма, Чернышевский так и не показал. Зато, забегая вперед, познакомил современников со своими представлениями о радужной жизни людей коммунистического времени (4 сон Веры Павловны). Развившись до способности давать изобилие продуктов производства, община к этому времени постепенно отомрет, и на смену ей придет система свободного сельскохозяйственного труда. Этого, видимо, не хотели замечать те исследователи, которые утверждали, что после реформы 1861 г. Чернышевский отказался от общины и связанными с ней своими надеждами на будущее. Он-де переориентировался на пролетариат города.

Сбивало с толку появление в начале 1863 г. на страницах «Современника» написанного в заключении романа «Что делать?», где действия перенесены в город, а его герои занялись строительством швейных коллективных мастерских.

Спешка с написанием романа в советской историографии связывалась со стремлением Чернышевского будто бы подхлестнуть молодежь, так сказать, подлить масла в огонь в момент ожидавшегося ею весной 1863 г. крестьянского восстания. Не хотели принимать во внимание совершенно иного намерения автора — не подогреть, а охладить молодежь, отвлечь ее от безрассудных надежд на использование средств насилия якобы во благо России. Заводите мастерские-товарищества — вот, указывал он романом, ваша, новые люди, устремленные в будущее, цель! Строительство Верой Павловной и ее друзьями коллективных швейных мастерских, а позже Авророй Васильевной, героиней романа «Отблески сияния» (который также писался спешно в момент уже начавшейся схватки «Народной воли» с самодержавием) фабрики-товарищества, в книге условно названо «мещанским социализмом». Так как в «Что делать?» коммунистический труд показан как труд сельскохозяйственный, следовательно, эта система явилась результатом развития общинного социализма. Значит, не мастерские, а село, община должны были стать базой строительства неопisanного им социализма. Задача теперь осложнилась для села тем, что реформа, как говорилось, по мнению Чернышевского, лишь видоизменила крепостное право и тем самым, оставив крестьянина несвободным, лишила его возможности развиваться. Помощь ему в этом должна придти из города. Чернышевский сказал, что, работая на заводе, Лопухов уже начал готовить из рабочих «развивателей» крестьян, но почему-то прервал рассказ об этом. Во всяком случае в «Отблесках сияния» фабрика-товарищество действует в сельской местности. Таким образом, крестьянство неизменно оставалось главной заботой Чернышевского. В зависимости от складывавшихся обстоятельств жизни он стремился найти то или иное разрешение именно его судьбы...

Несмотря на признание Герценом и Чернышевским первостепенности экономического преобразования, оба они были убеждены в невозможности его осуществления без провозглашения в России политических свобод. Когда и как это произойдет? Во всяком случае, не с помощью топора, но должна быть создана новая по форме и содержанию политическая система управления страной *негосударственного типа*. К началу 60-х гг. Чернышевский возвратился к отвергнутой им в 1850 г. идеи о мессианской роли просвещенного абсолютизма и всецело уповает на самодержавие, которое, пойдя на реформы, и доведет народ до такого уровня развития, когда он станет способным принять от него бразды правления страной и превратит ее — по замыслу Чернышев-

ского — в самоуправляемую федеративную республику. Она должна формироваться всем народом страны снизу вверх — от общины до центрального органа управления. Чернышевский особенно подчеркивал полную зависимость депутатов от воли народа, который в любой момент мог отозвать любого из них, если он начинал действовать вне пределов полномочий, данных ему при избрании. Начиная от общины, каждая последующая (город, округ, область) ступень самоуправления самостоятельна в устройстве своих внутренних дел. Чернышевский не описывал их жизнедеятельности, но довольно подробно остановился на обязанностях центрального органа управления при решении им задач общегосударственного значения — от вопросов образования, финансов до устройства морского маяка. В федерации царствуют демократические свободы. Свободна и равноправна женщина. Социализм, несовместимый с централизацией и бюрократией, мог развиваться только в этих условиях.

Насколько был утопичен общественный идеал Чернышевского? Он, как показано, базировал его на реальных основах жизнедеятельности народа и представлял себе как развитие свободной деревни в условиях политических свобод и народного самоуправления. Значит, вопрос состоял лишь в том, могла ли община устоять в реальной жизни перед натиском капитализма? Как показало пореформенное развитие страны, она устояла перед его естественным развитием, не поддавшись попыткам насильственно разрушить ее в период столыпинской реформы; отчаянно сопротивлялась сталинщине, но была ликвидирована в 1930 г. Трагическую судьбу колхоза предопределила его изначальная внутренняя и внешняя несвобода.

Формы разного рода коллективного хозяйства сосуществуют и теперь с частнособственническим производством и вполне выдерживают конкуренцию с ним. Об этом свидетельствует опыт «социалистических» Австрии и Швеции, коллективные производства в США, полукommунистические киббуцы Израиля. Но коллективное производство в этих странах не доминирует, а лишь сосуществует — в более или менее значительном числе и объеме — с частновладельческим и порой, как в США, в балансе экономики занимает ничтожное место, тогда как Чернышевскому оно, в конечном счете, представлялось сельскохозяйственным и социалистически-одноукладным. В таком одностороннем виде экономика развиваться не могла. Однако на полях будущего работали сложные машины, они осуществляли грандиозные строительства, засыпали безжизненные скалы гор плодородным слоем земли. Ясно, что их должен был создавать город, но ему Чернышевский не отвел должного места в картинах созидания новой жизни, а в результате и созданный им общественный идеал утрачивает реальное значение...

Как административно политическая форма государственного устройства, федерация имеет довольно широкое распространение в совре-

менном мире. Федерацией является и Россия. В этом смысле желание Герцена и Чернышевского видеть свою страну именно федеративно устроенной осуществилось. Внедряются в нашу жизнь демократические свободы и гласность. Заквашенные на централизме, наши органы власти никак не решаются осуществить местное самоуправление. Значительными правами обладают регионы страны. Это не значит, что мы идем к реализации политического идеала великих демократов, но в то же время нельзя отрицать той пользы, которая может быть извлечена нами из этого идеала, содержащего и общечеловеческие демократические ценности.

История уже знает попытки осуществить полное самоуправление, которые были предприняты сначала анархистами Франции — Парижская Коммуна в 1871 г., затем Украины под руководством Н. И. Махно в 1917–1921 гг. и Испании в 1936–1939 гг. Об анархо-синдикалистском опыте самоуправления на Украине и в Испании недавно рассказано А. В. Шубиным в книге «Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания. 1917–1939 гг.» (М., 1998).

* * *

А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский явились, что литературой признано как бесспорный факт, основоположниками общественно-политического освободительного движения пореформенной интеллигенции, получившего название народничества. Они теоретически обосновали это движение как систему анархо-социализма. Это был классический, не похожий ни на одну его западную разновидность, русский анархизм.

Отвергая необходимость государства при социализме, Герцен и Чернышевский показали, что лучшей формой административно-политического устройства страны должна быть федерация, основанная на самоуправлении независимых в своих внутренних делах и формируемых снизу доверху самим народом субъектов этой федерации.

Ими отвергнута идея насилия как средства общественного преобразования. Старые общественные отношения должны быть реформированы сверху. Герцен допускал это лишь как начало преобразования, после чего должен был последовать созыв Земского собора как высшего органа управления при социализме; Чернышевский в этом деле целиком полагался на просвещенного и проводящего реформы монарха.

Таким образом, народничество возникло как мирное, реформистское анархо-социалистическое движение. Однако уже первые практические последователи Чернышевского — ишутинская организация, возникшая в 1863 г., — бесплодно помыкавшись в попытках создания ассоциаций на законной основе, через два года, в 1865 г., пришла к выводу, что с российским самодержавием необходимо говорить только языком силы, и в следующем году один из ее лидеров, Д. Каракозов, сделал первое покушение на жизнь императора Александра II...

Именной указатель

Александр I 60, 61, 137, 184, 187
Александр II 11, 27, 61, 62, 91, 95,
101, 102, 105, 106, 116, 137, 149,
166, 184, 188, 189, 196, 202

Анна Ивановна, имп. 51

Анненский Н. Ф. 12

Антонов И. Ф. 11

Антонович М. М. 12, 39–41, 44

Аргиропуло П. Э. 17

Базилева З. П. 146

Баллод П. Д. 14

Бастиа Ф. 55

Безобразов В. П. 57

Безобразов Н. А. 103

Белинский В. Г. 12, 19, 33, 49

Бельчиков Н. 32

Бергер-Тартаковская Е. Е. 33

Беркова К. Н. 24

Бисмарк О.-Э.-Л. 114

Блан Л. 15, 19, 23, 47, 82–84, 87, 126,
127, 130, 179

Бланки О. 18, 110, 111

Бокль Г.-Т. 25, 53, 85

Бочкарев Н. И. 52

Брайт Д. 76

Брокгауз 46

Бунге Н. Х. 57

Бурбоны 43, 75, 182

Бушуев С. 33

Быкова М. А. 156

Вебер Г. 108

Вернадский И. В. 57, 133

Вико Д.-Б. 85

Водолазов Г. Г. 32, 33

Волк С. С. 32, 52

Володин А. И. 36, 38

Воробьева М. 33

Гакстаузен А. 136

Гегель Г.-В.-Ф. 19, 26, 64, 70, 116,
123, 189

Герцен А. И. 12, 13, 27, 31, 92–95,
100, 118, 130, 165, 178, 186,
188, 191, 197, 199, 200, 202

Гизо Ф.-П.-Г. 85, 185

Голосов В. 24, 25, 94

Гольцев В. А. 85

Горев Б. И. 24, 28, 29, 31

Грахи Т. и К. 65

Гуревич Х. С. 34

Дарвин Ч. 108, 109, 173

Деборин А. 24, 28

Денисюк Н. 12, 14

Диккенс Ч. 124, 152

Добролюбов Н. А. 24, 32, 33, 36, 40,
43, 49, 50, 52, 68, 95

Дудзинская Е. А. 96

Екатерина II 60

Ефременко Э. Л. 33, 165

Заичневский П. Г. 17

Занд Ж. 152

Зевин В. Я. 36, 37

Иванов С. С. 36

Иванов-Разумник (Разумник Васи-
льевич Иванов) 12, 13

Ивановы Е. Л. и А. Л. 146

Иллерицкий В. Е. 33–35

Иллерицкий Н. Е. 32

Иовчук М. Т. 32

Ишутин Н. А. 146

Кавелин К. Д. 49, 94, 97

Кавеньяк Л. Э. 79, 81, 185

Кавур К. 185

Каменев Л. Б. 24, 30, 31

Кант И. 26

Каракозов Д. 202
 Карамзин Н. М. 69
 Карл Х. 185
 Кирпотин В. Я. 24, 27, 28
 Коган Л. А. 33
 Констан Б. 79
 Константин Николаевич, вел. Кн. 98
 Корнилов А. А. 12
 Корнилов Ф. Д. 24, 26, 27
 Короленко В. Г. 87
 Коссидьер М. 82
 Костомаров Вс. 101, 102
 Котельникова С. В. 146

Лавров П. Л. 13, 24, 50
 Ладоха Г. 24, 25, 27
 Ламарк М. 109
 Ланской С. С. 92
 Лебедев А. 31
 Левин Ш. М. 33
 Ледрю-Роллен А. А. 82, 83
 Ленц Э. Х. 85
 Ломоносов М. В. 69
 Людовик XI 181, 182
 Людовик XIV 181, 182
 Людовик XVI 80, 81, 183
 Людовик XVIII 185

Мальтус Т. Р. 118, 151, 155
 Марий К. 65
 Маркс К. 15, 18, 21, 25, 27–29, 31,
 45–47, 49, 50, 64
 Маслин М. А. 52
 Махно Н. И. 202
 Мацкевич Д. И. 154
 Мельгунов Н. А. 94
 Милль Д. С. 41, 118, 126, 144, 151,
 192–195
 Милютин Н. А. 149
 Мирабо О.-Г. 79
 Михайловский Н. К. 13
 Монтескье Ш.-Л. 79
 Морозов А. И. 34, 35
 Мотлей Д.-Л. 46
 Муравский М. Д. 49
 Муравьев-Апостол С. И. 49

Наполеон Бонапарт 75, 79, 80, 114,
 145

Наполеон Л. 79, 81, 185
 Некрасов Н. А. 43, 145, 173
 Непомнящий Павел 34
 Нечкина М. В. 32
 Никитенко А. В. 11
 Николаев П. Ф. 39, 44–47, 110, 111
 Николай I 60, 61, 87, 91, 93, 95, 137
 Николай II 97
 Никоненко В. С. 32, 52
 Новиков М. И. 33
 Новиков Н. И. 49, 69

Обручев В. А. 14, 39, 41–44
 Огарев Н. П. 100
 Оуэн Р. 15, 19, 43, 144

Пажитнов К. 22, 23
 Панкратова А. М. 33
 Пантин И. К. 32
 Пестель П. И. 49
 Петр Великий 48, 61
 Петр III 60
 Писарев Д. И. 24, 32, 52
 Плеханов Г. В. 12, 15, 18–20, 22, 23,
 26–28, 32, 62
 Победоносцев К. П. 94
 Покровский М. Н. 24–26
 Покровский С. П. 35, 36, 68
 Постников А. С. 12
 Потапов А. Л. 42
 Приленский В. И. 33
 Прудон П. Ж. 15, 82, 179, 189
 Пугачев Е. И. 84
 Пыпин А. Н. 145, 166

Радищев А. Н. 49, 69
 Рау К.-Д.-Г. 118
 Рейнгардт Н. В. 39, 43, 44
 Рикардо Д. 118, 151
 Ришелье А.-Ж.-Д. 181, 183
 Робеспьер М. 79, 181
 Розенталь М. 32
 Розенфельд У. Д. 32
 Рошер В.-Г.-Ф. 118
 Руссо Ж. Ж. 57, 79
 Рылеев К. Ф. 40, 49

Самарин Ю. Ф. 149

Сераковский С. И. 50
Серно-Соловьевич Н. А. 43
Скориков Н. Ф. 39, 44, 111–116, 166
Смирнов В. Б. 33
Смит А. 60, 70, 118, 151
Соколовский С. К. 34, 50, 107
Соловьев Я. А. 149
Сперанский М. М. 185–188, 191
Стасов В. В. 146
Стасова П. С. 146
Стасовы 146
Стахович С. Г. 39, 47–49
Стеклов Ю. М. 12, 15–18, 20, 23, 25, 27, 28
Столон Л. 65
Струков Д. М. 133
Сулова Н. П. 156
Сэ Ж. 55, 118

Таубин Р. А. 32
Тома Э. 81
Трофимов В. Г. 33, 34
Трубникова М. В. 146
Туган-Барановский М. И. 12, 14, 26
Тулин М. А. 33–35, 68
Тупикин В. М. 33
Тюрго А. Р. Ж. 184, 185, 187

Федоркин Н. 52
Федоров В. А. 96
Фейербах Л. 21, 46, 179
Филатова Е. М. 34

Филина М. А. 34
Фридрих Вильгельм III 61
Фридрих П 61
Фролов Ив. 24, 25
Фурье Ш. 15, 19, 22, 43

Хало В. Н. 33
Ханыков А. В. 84, 87
Хессин Н. В. 34
Хованский Н. Ф. 39, 44
Христофоров А. Х. 146

Цезарь Ю. 65
Циммерман Э. Р. 46

Чернышевский Н. Г. 11–84, 86–89, 91–93, 95, 97–116, 118–157, 159–167, 169–175, 177–202
Чичерин Б. Н. 94, 180

Шабанова А. Н. 156
Шаганов В. Н. 49–51, 111
Шапиро А. Л. 33
Шеллинг Ф.-В. 64, 70, 116, 123, 189
Шлоссер Ф.-Х. 46
Шмаков И. М. 36–38
Штирнер М. 195
Шторх А. К. 137
Шубин А. В. 202
Шульгин В. Н. 32, 165

Энгельс Ф. 15, 18, 21, 28, 46